Wiener Slawistischer Almanach · Sonderband · 35

(eBook - Digi20-Retro)

Андрей Н. Егунов

Собрание произведений

Verlag Otto Sagner München · Berlin · Washington D.C.

Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“
der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch
den Verlag Otto Sagner:

http://verlag.kubon-sagner.de

АНДРЕЙ НИКОЛЕВ
(АНДРЕЙ Н. ЕГУНОВ)
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Под редакцией
Глеба Морева и Валерия Сомсикова



WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
SONDERBAND 35

АНДРЕЙ НИКОЛЕВ
(АНДРЕЙ Н. ЕГУНОВ)

СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Под редакцией
Глеба Морева и Валерия Сомсикова

WIEN 1993

WIENER SLAWISTISCHER ALMANACH
SONDERBAND 35
LITERARISCHE REIHE, HERAUSGEGEBEN VON
AAGE A. HANSEN-LÖVE

EIGENTÜMER UND VERLEGER

Gesellschaft zur Förderung Slawistischer Studien (e.V. Wien)

ANFERTIGUNG DER DRUCKVORLAGE

Tatjana Zaotschnaja

TITEL

A.N. Egunov 1927

REDAKTIONSADRESSE

Institut für Slavische Philologie, Universität München
Geschwister-Scholl-Platz 1, München (Telefon: 06089-2180)

DRUCK

Pannonhalmi föapátság
H-9090 Pannonhalma Vár 1
Ungarn

VERTRIEB

Kubon & Sagner, Buchexport-Import GmBH
Heßstraße 39/41, Postfach 34 01 08
D-8000 München

ISSN 0258-6853

СОДЕРЖАНИЕ

o

Андрей Николев

ПО ТУ СТОРОНУ ТУЛЫ

Издательство Писателей в Ленинграде

№ 153

Отпечатано для Издательства Писателей в Ленинграде, тип. „Светоч", Б. Пушкарская, 18, в количестве 3.200 экз. 7 п. л. Заказ № 3030. Ленинградский Областлит № 70349. Рисунок переплета М. Кирнарского.

1931

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Те не успели ответить, как были оттеснены стремительным натиском. Утренний Федор одной рукой повис на шее Сергея, другой потрясал увесистым Сергеевым чемоданом. Кусты смородины в палисаднике просияли, и с листочка, задетого локтем, пролилась полновесная капля росы.

— Звезды блестят, светит луна, звуки летят, пробуждают от сна. Но при луне горестно мне — прежних ночей вспоминаю блаженство с ней. Воротить бы дни былые, счастья радостны мечты, испытать бы огневые ласки страсти и любви.

— Что за чорт, — сказал Сергей, — причем тут луна? Сейчас утро и довольно жаркое. Кто это там играет на гитаре?

— Да, все время стоит жаркая погода. Пройдемте в комнату, не будем мешать им. Видите?

Три добродушнейших собачьих морды выставились из-под балкона. Старушечий голос, исходивший из кухни, звал:

— Лобзай... сюда...

„Полуденные страсти, — подумал Сергей, — лобзай меня, твои лобзанья мне слаще мирра и вина“.

— Остальные двое, — говорил Федор, — это, позвольте вам представить, Фингал и Оссиан, древние псы, паразиты трудящих масс, остатки проклятого прошлого. Который вам больше нравится, Сережа?

— Вот этот. Он прыгает космато и тычется незрячей мордой мне в колени.

— Ему выстрелили дробью в морду, когда он воровал яблоки. Теперь он исправился и присмирел, дружит с Оссианом и отучил его лаять. Но вы, Сергей, все-таки не туда смотрите.

— Задремал тихий сад, от цветов аромат льется, никогда так, милый друг, мила ты еще не была. Для тебя, для тебя, мой кумир, я забуду презренный мир, пусть свидетелем мне ночь и сад и луна, что душа вся тобою полна, полна!

Из-за кустов, в самом деле, выглядывал округлый край гитары, а вдалеке у ограды сада, слушая гитару, стояло белое батистовое платье. Оно то отворяло калитку, то закрывало ее на себя, от чего шел неистовый скрип.

— Вот наш с вами приют,— вводил Федор Сергея в комнату,- не правда ли, уютно наше убежище Монрепо?

— Я не читал Салтыкова-Щедрина, — возразил Сергей. — А кто эта девушка у калитки, в белом платье? Какая Россия — прямо хоть отбавляй.

— И имя какое поэтическое: Леокадия! А привезли вы мне трусики и бумагу от мух?

— Вот они, синие, красные, зеленые, выбирайте, какие вам к лицу. Вот бумага. А вот в качестве принудительного ассортимента и мои стихи.

— Спасибо, бросьте это все куда-нибудь сюда.

На столе было тесно от сковороды с уже съеденной яичницей, от бутылки, стенки которой хранили след недавнего молока, и от рассыпанных всюду папирос.

— Нельзя сидеть в комнате в такую погоду, располагайтесь, Сережа, лучше здесь в холодке, под елкой, а мне пора на работу. Вернусь, тогда и по-

говорим обо всем,—и Федор стал впрягать лошадь. Ремни шлепали, уздечка бренчала среди утреннего безмолвия.

— Как у вас здесь тихо, Федя. А где же ваши женаты, о которых вы мне писали?

— Вероятно, собирают малину. Прислушайтесь хорошенько, они слышны.

По дорожке к дому семенила в меховых туфлях маленькая старушка. Старомодный большой кожаный кошелек, привешенный на ленточке к ее шее, был раскрыт и, видно, до отказа наполнен собранной малиной. В такт маленьким шажкам старушка старательно напевала безжизненным голосом: „Ветерочек чут-чуть дышет, ветерочек не колышет в чистом поле ни листа, в темном лесе ни куста, ля-ля, ля-ля“.

— Ах ты, мой ветерочек восьмидесятилетний, пес тебя дери,—запустил Федор руку в кошелек.

— А ты по чужим кошелькам не лазай, негодяй веселый. Да чего ты сияешь? Дождался-таки приятеля?

Подойдя к Сергею, бабушка протянула сморщенную ручку и представилась.

— Стратилат. Очень рада. Будьте как дома. Жаль, что у меня нет одеколона.

Сказавши, она прошла в дом, а из кустов появился тот, кто играл на гитаре. Он взял несколько минорных аккордов.

— И думать не моги, а лошадь мы сейчас распряжем. Какая тут, к дьяволу, работа, раз приятель приехал. Он ведь тут без вас, слышьте, в отшельничество впал: на гулянку ни ногой и не пьет ничего. Все отнекивается: вот приедет приятель, тогда можно будет повеселиться. Да и я уж за компанию сегодня лавочку прикрою, и так каждый

день торгуешь. Эй, тряхнем стариной, по-студенчески:

„Народ, народ, один удел мне дан с тобой, в очах пылает гнев, душа кипит грозой".

Чуткая лошадь повела ухом: она думала, что гитара будет ей нацеплена на голову — излишняя, непривычная упряжь.

— Ну, мы сегодня к тебе всей гурьбой, — закончил кооператор.

— Ладно. Бабуся, закупи всего, что нужно.

— На сколько человек?

— Двадцать, — отвечал кооператор.

— Господи боже, Федя!

— Бабуся, не прекословь.

— Да я не прекословлю, конечно, твои деньги, да только сам знаешь...

— А ты отдай деньги Сергей Сергеичу, он сам все и купит. Это не о вас речь, Сережа, — вы еще, кажется, не знакомы? — и он стал представлять друг другу кооператора и Сергея: — Мой приятель — Сергей Сергеич. А это тоже мой приятель, и тоже Сергей Сергеич.

Визг заглушил взаимные приветствия. Ребятишки с писком катались по траве, задирая подолы рубашонок. Из корзинки учтиво вышли две кошки, за ними выползло штук восемь котят. Они, видимо, не очень различали, какая кошка кому приходилась матерью, и равно ластились к обеим. Сергей оступился, стенанье раздалось, и искалеченный котенок пополз паралитиком, влача уже негодные задние свои лапки.

Среди неразберихи можно было понять только следующие слова приезжей:

— Я похоронена в Ферапне... неверно говорят, будто я была повешена на дереве...

Кооператор не видел этой протянутой ему руки.

— Давайте сюда деньги, бабушка, и не беспокойтесь: у нас на все казенный при-фикс.

— Федор, — прошептал Сергей, — вы знаете, я ведь не один, куда бы нам поместить приезжую?

— Что же, — отвечал Федор, — бабушка у меня добрая, она может приютить и Елену. У бабушки, помню, жила бездомная старуха, спала на стульях, а так как в комнате было тесно, то вынимали ящик из низа шифоньерки, и старуха лежала, всунув ноги в шкаф. Впрочем, еще лучше вот что. Эй, Гриша Ермолов, отведи-ка приезжую в шалаш.

Показался Гриша Ермолов в фетровой шляпе.

Раздался марш. Медные трубы играли.

Федор вскочил на телегу и уже хлестнул лошадь. Сергей на ходу прыгнул к нему.

— Можно мне поехать вместе с вами на работы, посмотреть?

Федор стал объяснять устройство буровых скважин и дудок, но встречная курица навела его на другие мысли:

— Бабушка все жалуется, что не хватает денег, как ни экономь. Я знаю, она ужасно забывчива: ей принесут курицу, она торгуется, торгуется, наконец выторгует за рубль, заплатит. А баба завтра опять придет получить за эту же курицу, и так ходит несколько дней. В результате курица нам обходится пять рублей.

— Неужели мы с вами будем разговаривать о курицах? Я бы тогда не приехал.

— А если я хочу говорить о курицах?

— А я не желаю.

— Что вы меня мучаете, как обезьяну! Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальность ребенка.

— Вы не ребенок, а дылда.

Лошадь понеслась вскачь, увлеченная происходившей на телеге потасовкой.

Подвыпивший мужичонка топтался посреди дороги. Когда объезжали его, он пустился в разговоры:

— Вы без шапки, и я без шапки, значит, вы меня не раздавите. Моя баба в Москву поехала, ее там в больницу посадили. Хотите, бычка продам.

Девочка тянула его сзади за рубаху и плакала:

— Тятька, идем домой.

— Странное дело, — сказал Федор, — в здешних краях слово „инженер" стало означать „барин". А какие же мы с вами баре? Впрочем, вы даже и не инженер. Ну, хватит, Сережка, уже приехали. Только вы, пожалуйста, молчите, а то вы с этими вашими финтифлю...

Рабочие за руку поздоровались с Федором. Сергей присел на куче песка у разведочного воротка. Канатом был обмотан деревянный вал, двумя стойками подпертый с боков. Федор продел ногу в канатную петлю.

Так катаются на гигантских шагах.

Федор сейчас оттолкнется ногой от земли и полетит, описывая круги в утреннем воздухе. На взлете увидит он всю эту, слегка всхолмленную местность, поля, колючие от уже сжатой ржи, далекие буровые вышки.

Спускай, — сказал Федор, разматывая сантиметр.

— С ветерком? — подмигнул парень, стоявший у ворота.

— Ну, давай хоть с ветерком.

Стремительно ушли в дудку ноги Федора, потом плечи и фуражка. Он исчез с земли.

„Индейцы так закапывают живьем", подумал Сергей и произнес:

— Майн-Рид!

Рабочие оглянулись. Сергей прикусил язык. Из дудки раздалось глухо:

— Молчите вы, наконец.

Канат перестал разматываться. Из глубины доносилось:

— Подымай! Так. Подошва красного песку. Кровля. Метр двадцать. Так, еще давай. Еще.

Фуражка Федора показалась из-под земли, потом рука с записной книжкой и карандашом. Потом он весь выпрыгнул наружу. Брюки его замарались красным.

— Все в порядке, — сказал он. — Ну, пока, ребята. Вы, Сережа, посидите здесь в рощице, вас нельзя брать с собой, вы все дело портите. Я осмотрю еще несколько дудок, а к обеденному перерыву подъеду тоже сюда.

Сергей был высажен у белых стволов. Ручеек радовался полуденной тени. Было приятно болтать в нем босыми ногами и чувствовать, как между пальцев струится тонкий песок.

Девушки вышли из-за берез.

У каждой в руках было по большому белому грибу. Сергей сейчас же узнал их имена. Это были: Дуня, Феня, другая Дуня, Домаша. Никому из них не было больше двадцати лет, и все они оказались сельскими учительницами.

Компания уселась на бережку. Сергей посредине, лежащий навзничь. Он видел цветочки пестрых деревенских ситцев, русые волосы на затылке, движущиеся от вольного ветерка, а повыше — зеленые листочки и очень яркое небо, покрывавшее четырех девушек.

Железнодорожники употребляли слово „путь" в женском роде: пятая путь, эта путь, на одиннад-

цатой пути. Они были правы, и это их слово попадало в один ряд со словами „жуть“, „муть“, „суть“. Не оттого ли чуть-чуть мутило Сергея вчера, когда он озирал раскинувшиеся по обе стороны от вагона рельсовые сочленения, округло сливавшиеся на стрелках друг с другом. Ему хотелось бы пожить некоторое время вон в том бездейственном вагоне, зеленеющем на одиннадцатом пути, подле канавки и травки. Взять бы с собой необходимый скарб: бритву, мыло, полотенце, одеяло, подушку, и поселиться там на нижней лавочке. По утрам бегать на станцию за кипятком и лететь стремглав обратно в вагон, боясь, что он уйдет из-под носа. Смотреть на неподвижный за окошком пейзаж: картофельный огород, железный дрязг, пятиэтажный дом с мелкими окнами, и воображать причудливые картины высоких городов с башнями на берегу океана. Ходить по коридору недвижного вагона, хватаясь за стенки, чтобы не упасть от сотрясений стремительного поезда. Читать все одну и ту же книжку, безразлично какую, — все равно она станет милой, так как была прочитана в вагоне.

Компания по-братски разделила хлеб и стала запивать его водой из ручья. Дуня ладошкой черпала и подносила ко рту Сергея, но рука эта слегка дрожала, и вся вода уходила между девических пальцев, капая на желтый подол.

Тогда Дуня провела мокрой рукой по лицу Сергея, промолвив:

— Вот вам, умойтесь.

Наконец, всех разморило, грибы были отложены в сторону, начались песни.

Дуня с Домашей принялись первые.

— На платочку два цветочка, голубой да синенький.
Про любовь никто не знает, только я да миленький.

С неба звездочка упала на душистый на сирень, проводи меня, залеточка, неужели тебе лень? Сошью платье я себе напереди стрелочкой, погонись, милой, за мной, как лиса за белочкой.

Феня и другая Дуня отвечали на это:

— На груди букет приколот, украшает грудь мою, поверь, милая подружка, не от радости пою. Расстегните белу платью, душно сердцу моему — шел ко мне, зашел к подруге, как не совестно ему? Где мы с миленьким стояли, снег протаял до земли, где мы с милым целовались, там цветочки расцвели.

Федор вошел в рощу и снял фуражку. Сергей вскочил к нему навстречу. Федор, недовольный, присел на пенек.

— Устали, Федор?

— А вы, Сережа, не устали? Вы ведь здесь тоже чем-то заняты.

— Вот эти мужчины, вечно ссорятся, — воскликнула Дуня, сорвала крапиву и начала стрекать Федора по рукам, приговаривая: — Вот вам, не будьте злыми.

Федор отстранился, Сергей протянул свои руки:

— А ну-ка меня, я тоже не хочу быть злым.

Уже целые пучки крапивы пошли в ход. Девушкам нравилось, что Сергей, не моргая и со сжатыми губами, так упорно протягивает вперед руки, уже покрасневшие и покрывшиеся белыми волдырями. Они не знали, что Сергей про себя думал в этот момент о Муции Сцеволе.

Наконец, девушки убежали, метнув всю крапиву в лицо сидящим.

— Свою работу я люблю больше всего, — говорил Федор, — вы подумайте, Сережа, ведь это древний тульский район. Урала тогда еще не было, Кривого Рога тоже, а царям нужны были железные орудия

хотя бы для пыток. Чем же было истязать народ? Вот отсюда-то и брали руду.

— А короли, — спросил Сергей, — помните тульского короля?

— Он был просто дурак, как все короли: бросить золотую чашу в воду. Это называется расточать народное достояние.

Посмотрели на замшелое дно ручья. Сергею виделся блестевший там на дне, вычищенный кирпичом, медный тульский самовар. Сергей бросил травинку в воду и следил, как она уплывает прочь, к полям, где сжата рожь и вырыты дудки.

Федор протянул руку.

— Это все мои владения.

— Значит, Федор, вы поверили моим стихам?

— Я и не помню о них. Это мои владения, потому что я здесь работаю. Мои скважины, мои дудки. Горы, раскрытые горноделием, растительные продукты природы, отыскиваемые в сыром виде, добываемые, обрабатываемые, отделяемые, очищаемые и подчиняемые человеческим целям, — вот что интересует меня. А какая красавица вот та вышка, как по-вашему, Сережа?

— Вы знаете, Федор, это глупо, но я не могу отделаться; вы говорите: дудки понастроены, выходит, что это музыкальный инструмент.

— Что же! Мы на них и заиграем скоро. Вся страна запоет. — И Федор хлестнул крапивой Сергея по лицу, но уже поблекшие, съежившиеся ее листья не были жгучи.

— Заметили вы того парня, который крутил ворот? — продолжал Федор: — Он мне очень нравится. Когда этот Федя спускает меня в дудку, я спокоен: канат разматывается равномерно. Сейчас, должно быть, Феде принесли завтрак — квас, как

здесь говорят. По-нашему это скорее окрошка. Я вас потом представлю его невесте, Марьянке, чтоб вам не было у нас скучно. Вообще вы должны, Сережка, приезжать теперь ко мне каждое лето, где бы я ни работал — на Алтай, в Сибирь, в Танутивинскую республику.

— Нет, — сказал Сергей, — в Танутивинскую не поеду: там много комаров.

— Не больше, чем в вашем Петергофе. Или у вас там и комары воспитанные?

— Скажите, Федор, верно ли, что у вас здесь чай продают без карточек?

— Да, если только кулачье не скупило его, чтобы устроить кризис. Здесь ведь, в Мирандине, — кулак на кулаке. Сперва, когда я приехал сюда на работу, никто не хотел сдать мне помещение. Пришлось поселиться поодаль от деревни, во флигельке. Кооперация вот там, видите, подле церкви. Идите все прямо, а потом направо.

— А вам, Федор, купить чего-нибудь? Мыла? Зубную щетку, одеколон, хлородонт? Отчего вы вообще не моетесь?

— Мыло купите, только не духовитое. А одеколон мне ни к чему, то есть я его, конечно, всегда пью с политурой. Ну, пока, пора мне на работу.

Выйдя из рощи, Сергей заметил, что пыль на дороге побелела от полуденного жара. Собака выскочила на Сергея из развалившейся избы. Обгоревшие бревна, обуглившиеся доски окружали уцелевшую, торчащую трубу кирпичной печки, в которой пищали щенята.

— Как звать тебя? — стал разговаривать Сергей с собакой, — должно быть, Дамкой? Эй, Дамка, Дамка, ну чего ты, милая?

Сергей сюсюкал, посвистывал, причмокивал, но Дамка приподняла губу над краем своих зубов, показав крепкий оскал.

— Глупая, — продолжал Сергей, — чего ты беспокоишься? Я люблю твоих щенят не меньше, чем ты, то есть, конечно, даже больше. Сейчас мне не хочется брать их на руки, а то бы я повозился с ними.

Дамка прочитала любовь в глазах Сергея, и, зарычав, исчезла в печке.

Сергей с падающим сердцем и ослабевшими коленями вбежал в кооперацию и упал на стул.

— Милости просим. Для Федоровой вечеринки пакет уже готов, а вам чего прикажете?

— Чаю, — воскликнул Сергей, — как можно больше чаю и потом мыла.

Кооператор обрадовался:

— Понимаю. Хомуты да деготь — это у меня для декорации; гвоздей не держу. У меня и товар и покупатель тонкий: инженерия. Да ты меня не бойся, я рецепт знаю: когда испугался чего-либо или огорчение, тотчас выпить стакан холодной воды, намешав три чайных ложки сахару. А еще лучше пива.

Свет проникал в лавку только через отворенную дверь, так как никаких окон не было. С мыльных обложек улыбались красавицы, снабженные роскошными бюстами и надписями: роза, ландыш, гиацинт. На стене зеленая нимфа выникала из воды с драгоценным снадобьем в руках. Серая толстовка висела на распялке. Сергей пририсовал к ней продолжение: снизу босые ноги, сверху бороду, в ее кармашки поместил сморщенные руки, — такой старик мог бы обучать княжну геометрии.

Кооператор тем временем закрыл дверь наглухо. Все исчезло. Осталась теплая, немного потная рука

кооператора, который тащил куда-то робкого своего покупателя.

Сергей почуял, что от кооператора пахнет свежей обувью, печеньем „Новый быт“ и дыханием человека, который не употребляет для зубов пасты хлородонт. Ее выдавливают белой душистой колбаской на щетину зубной щетки. Паста пенится во рту вместе с теплой водой, и когда полощешь горло, то видишь потолок ванной: он меньше и темнее, чем в остальных комнатах.

— Сюда, сюда, — тащил кооператор Сергея в соседнее помещение, освещенное мутным окошком наверху, — это вы правильно поселились не в самой деревне, — там бы к вам ходили под окна смотреть, что вы делаете. А ведь у нас с вами тайны — я понимаю. Вот она говорит, будто уже теперь вечерний свет ей больше к лицу, будто жить ей всего три года осталось, потому что после сорока на лице лишь обломки проклятого прошлого, тогда будто ей и пригодится ее невинность. А я ей говорю: мы еще поживем, не волнуйтесь. Только не волноваться. Я тайком и вычисления сделал. Митенька говорит: куплю револьвер, надо на всякий случай научиться стрелять без промаха. Это он не верно. Нужно все в тишине, — я ведь понимаю. Вы не сродственники его будете? Не из одного учебного заведения? Я сам, брат, слышьте, окончил Московский коммерческий институт.

Когда глаза Сергея привыкли к полумраку, он различил ободранную, но, впрочем, красного дерева мебель, которой была уставлена комната. Все это было с неприютными спинками, рассохшееся и частью развалившееся, но самого дворянского пошиба. Над диваном висела застарелая таблица с портретами вождей. Кооператор подвел Сергея к противо-

положной стене, тоже к таблице, старательно вычерченной.

Учет людей по профессиям, переваливших за восемьдесят лет: Мамки — 2. Пастухи — 3. Гофмаршалы — 3. Кардиналы и епископы — 6. Купцы — 11. Живописцы — 3. Матросы — 2. Музыканты — 2. Экономы — 10. Офицеры — 21, из них 3 фельдмаршала. Папы — 1. Философы — 18. Ученые — 23. Школьники — 4. Солдаты — 12. Государственные министры — 4. Могильщики — 1. Врачи — 6. Кооператоры — ?

Кооператор переводил взгляд с Сергея на портреты вождей и приметно подхихикивал.

— Понял насчет командных-то высот?

Вошла Дарья Федоровна и спросила, подавать ли обед, но кооператор мечтательно ходил по комнате. В углу под киотом висело фарфоровое пасхальное яичко, бумажные розаны, уже очень ветхие, были густо натыканы за образа.

— Скучное положение, — жаловалась Дарья Федоровна, — сын от скарлатины помер, так запретили вскрывать гроб. Что же обедать-то будете?

— Что обед, до обеда ли тут, когда Федоров приятель приехал. А потому скучное положение, что жить не умеете.

Вошедший Алексашка облобызался с кооператором и стал рассказывать:

— Друг милый, вот уже третий день уезжаю в Москву, да никак не могу уехать — все работа по культпросу, — молодой инженер подмигнул.

На столе появилась еще пара пива, пенистая, как светлые кудри инженера. Все чокнулись, и Алексашка продолжал свой рассказ:

— Румыния — дрянь-страна. В каждом доме, в окне, понимаешь, продают гадость, в каждом доме непре-

менно адвокат, а жена его занимается гадостью. У меня там все белье украли. На постелях тысячи подушек, стопкой, наверху самая маленькая, но ложиться на них считается неприличным. Одно слово — боярская дрянь. Ну, да что вспоминать фронт, дело прошлое. Ну-ка, за здоровье нынешнего просветительного фронта!

Выпив, Алексашка ушел.

Кооператор плеснул остатками пива в таблицу с портретами вождей.

— Мне, слышьте, все известно. Как Федор Федорович сюда приехал, пошла Домаша к его хозяйке, якобы в гости, засиделась и заночевала. В той комнате, что у Федора между балконом и его чертежной, постелила себе Домаша на полу, у самого порога. И что же вы думаете? Федор перешагнул, понимаешь, через нее вежливым таким манером и отправился чертить чуть что не всю ночь. Домаша от обиды тоже всю ночь глаз не сомкнула. Ну, а я, слышьте, сразу понял: отшельник и чертежник... Я ведь и сам, понимаешь... я на твое честное студенческое слов полагаюсь.

— Я не студент, — возразил Сергей.

— Рассказывай! Да ты не стесняйся: на то у меня и красный уголок оборудован.

Сергей повернулся на диване красного, помещичьего дерева и пребольно ущемил себя рассохшимся его сиденьем. Пока проходила боль и пока Сергей украдкой потирал ущемленное место, он успел совершить с Федором маленькую прогулку. Впрочем, сперва Сергей шел один и глядел на колеи дороги. Они были наезжены многочисленными крестьянскими телегами.

Сверху на снопах сидели ребятишки, шавки тявкали на лошадей, высунув язык как можно больше,

потому что собаки вовсе не потеют, и в жару язык служит им единственной отдушиной. Федор подошел сбоку и взял Сергея под руку. Сергей потащил его вперед, Федор сперва застыдился и не хотел двигаться дальше, хотя итти было очень удобно: славно подметенная дорожка вела к дому. Клумбы с цветущими розанами расположились по обе стороны. Но ярче розанов алело что-то другое, как раз то, чего и устыдился Федор.

Появились розги, и уже от первого их хлестанья проступили полосы, на мгновенье белые и сразу же затем багровые. Лица парня, лежащего ничком на скамейке, не было видно: подол рубахи навернулся ему на голову. Криков тоже не раздавалось; порка протекала благолепно и не мешала Зюзи ходить в тени лип с французской книжкою в руках. Округлые листики лип образовывали подвижную тенистую сетку на барежевом ее платье. Она всем сердцем, девическим и невинным, погрузилась в раздумья Лелии, чья неутомимая любовь заставила Адольфа броситься в водопад.

Приметив Федора с Сергеем, двигавшихся по дорожке прямо на нее, Зюзи сдвинула хорошенькие свои бровки:

— Куда прешь, — воскликнула она, — людям не велено ходить по парку.

Тут Сергей понял, что, действительно, они с Федором явились в неподходящих костюмах. Хорошо еще, что они были не в трусиках, а в брюках, но все остальное никуда не годилось: Федор был в безрукавной, спортивной майке; голые его подмышки золотились русым пухом, босые ступни едва прикрывались продырявленными сандалиями.

Уже Зюзи готовилась с криком „ах“ упасть бездыханно на желтенький песок, как вдруг Сергей нашелся:

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь, — сказал он по-французски, выговаривая как можно лучше, — я и мой друг мы, конечно, люди, то есть несчастные жертвы рока: на нас напали разбойники. Впрочем, их предводитель уверял нас, что пламя неразделенной страсти терзает его. Мы оставили сэра Ральфа сидящим на опушке леса и свивающим венок из листьев дикой омелы.

— Все равно, — возразила Зюзи, — согласитесь, я не могу разговаривать с молодыми людьми наедине. Это неприлично. Если вы просите моей руки, обратитесь к папа.

Все трое миновали место экзекуции. Спина парня уже не походила на человеческое тело, и Федор перестал стыдиться. Это было крошево из прутьев лозняка и мяса, брызжущего кровью.

— Папà, папà, как это мило, — воскликнула Зюзи, подымаясь по ступенькам балкона, — к нам нежданные гости из Мирандина, очаровательный визит.

Она упорхнула оправить туалет.

— Милости прошу, — вынул старик фуляровый платок из кармана. — Пойдемте, я покажу вам скотный двор и псарню. Надеюсь, вы ночуете у меня?

— Нет, мы на сеновале.

— Да, бывают охотники. Вот и покойный Анемподист Палыч тоже... Эй, Прошка, подать сюда...

Приветливый старик засуетился. Подслеповатый, не заметил он костюма Федора и Сергея.

Те захотели ответить любезностью, поэтому сказали:

— Мы могли бы вам показать, если вы приедете к нам в Мирандино, фотографию вашей правнучки с надписью на обороте „Memento mori“. Серпухов, 13 сентября 1903 года.

— Прошу прощения, я несколько туг на ухо. Что вы изволите мне показать в Мирандине?

— Фотографию вашей внучки.

— Я, конечно, не получил такого блестящего образования. Зюзи, пойди-ка сюда, что значит по-французски „фотография“?

— Это, папа́, наука такая.

— А да, конечно. Но внучки у меня нет, Зюзи еще рано думать о свадьбе, Вольдемар тоже молод, — нынче осенью определился в Петербург, в дворянский полк. Впрочем, пожалуй: Володьке ведь уже шестнадцатый годок минул. Сами понимаете, дело молодое. Почем знать, быть может у меня и есть петербургская натуральная внучка, но только таких-то фотографиям, извините, не обучают; всех обучать, так никаких наук на них не хватит. На деревню их, там пускай на толокне и растут. Хе-хе, потешили старика. Сам был молод, знаю: „Люблю разгульный шум, умов, речей пожар и громогласные шампанского оттычки... Вы не из гусаров ли? — оттирал старик выкатившуюся из красного омертвелого века слезинку.

— Нет, — отвечали Федор и Сергей.

— Как нет? Но, надеюсь, вы дворяне?

— Благодарю вас, не очень.

Негодующий старик вскочил и пошатнулся. Федор протянул руку поддержать его. Подслеповатым глазам старика явилась золотистая подмышка Федора, и он упал замертво на натертый воском пол.

— Папа́ папа́, он умер, боже! — кричала Зюзи, бросаясь на труп отца.

Федор запел:

— ... До основанья, а затем...

Все зашаталось. Мелькнул тонкий запах воздуха под сводами вековых лип, траченый молью судейский

мундир, белая фуражка с дворянской кокардой, пестреющая сетка солнечных кружков на песке аллеи, все это вперемежку с унылой песнью: „Нашу бедную Параню хочут с барином венчать — две собачки впереди, два лакея позади".

— Ничего себе стишки, — заметил кооператор,— но нынче их уже не поют. Знаете, двадцатый век— век пара и электричества! У нашего брата теперь тонкость чувств дошла до точки: „Эх, помнишь, я пришел к тебе больной, ты ласк моих ждала — и не дождалась".

— Да, — продолжал кооператор, — жаль, что Лёв Николаич не писал стихов, а бывают прекрасные, так и проникают в сердце, особливо девичье. Позавчера Домаша пришла строгая да сумрачная. Я ей и подпустил: „Почему это грусть в прекрасных чертах молодого лица?" — „А потому грусть, — отвечала она, — что жрать охота". А я ей опять: „Мне безумно мучительно хочется счастья и слез и люблю без конца". И что же вы думаете? Ведь осталась обедать со мной, ну, я из кооперации банку шпротов прихватил, чтоб ей за обедом не обидно было.

Сергей посмотрел на брюшко кооператора, на румяные его щечки и произнес отчетливо:

— Я тоже пишу стихи.

— Ура, — завопил кооператор, — люблю студентов и поэтов. Да настоящий студент всегда поэт: „Через тумбу, тумбу раз, .через тумбу, тумбу два". А позвольте запомнить вашу фамилию?.. Очень приятно. Вы потомок того, великого?

— Как же, родной сын.

— А вот Лёв Николаич в Ясной Поляне наплодил детей кучу, и все бесталанных, прямо хоть плачь. Стало быть, не всегда талант передается. Ну-ка, брат, читай свой стих.

— Сейчас, — сказал Сергей, — одну минутку. Вот, готово...

Кооператор, полез целоваться:

— Вы — оазис в Аравийской пустыне. Смотри, береги себя, для будущего мы с тобой еще доживем. Ну, брат, раз доверие, так доверие. Ну-ка, подвинься. Раз, два, три...

Сергей соображал: сейчас будет показан карточный фокус, и загаданная карта окажется лежащей сверху колоды. Потом начнут играть в фанты. Проигравшему покроют голову платком, он станет оракулом. Все будут подходить к нему, касаться пальцем его макушки и спрашивать, что делать этому фанту. Он назначит одного зеркалом, другого зажигальщиком фонарей, а третьему прикажет вертеться на одной ножке.

— Вот, — сказал кооператор и отодвинул увесистый стол, единственная ножка которого, начинаясь колонкой, потом расширялась в красный овал, меньший, чем доска стола, на все-таки большой и удобный, как скамеечка для ног.

На полу обнаружилось кольцо, лежащее в выдолбленном углублении, словно ювелирная вещь в своей коробочке. Кооператор раскорячился толстенькими ляжками. Схваченная за кольцо, поднялась потайная дверка. Стали видны две-три верхние ступеньки деревянной лестницы, уходящей в черную, эту дыру.

— Это могила? — полюбопытствовал Сергей.

— Нет, там все, что нужно для жизни. Не бойтесь. Я тебе доверяю. Ну-ка, брат, спускайся в склёп.

Зажженная свеча оплывала сбоку, обдаваемая кооператорским дыханием.

Внизу оказался цементированный пол и воздух, лишенный времени года: он пахнул не летом, не

зимой, а вечностью: салом, конфетами, керосином. В подвале было прохладнее, чем при спуске по лесенке, когда живот сзади наседал на Сергея, а свеча в воздетой руке угрожала закапать ему макушку горячим стеарином.

Медный подсвечник был поставлен на боченок.

— Вот здесь я уединяюсь среди дефицитных продуктов. А в этой плетенке – мараскин, я выписал его из Москвы. Мой священный принцип: дефицитное для дефицитных. Все равно на всю деревню не хватит, так стоит ли отпускать по восьмушкам да по щепоткам? Народу лучше страдать, это возвышает душу, а нас мало, мы должны поддержать себя для будущего. Здоровый желудок — залог пищеварения. Погодите, мы потом окажемся всего полезнее: доля народа, счастье его... Хотите колбаски? Довольно жирная, — вертел кооператор ножом.

— На чем это я сижу? — спросил Сергей: — подо мной что-то твердое, с острыми углами.

— А вы встаньте и полюбуйтесь.

Кооператор развязал мешок и извлек оттуда кусок колотого сахара, похожий на Казбек.

— Разве не красота?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— А вот тут — сахарный песок, глядите.

Он бросал пригоршнями песок на пол. При свете свечки казалось, что идет снег.

— Ну что, хрустит? — расхаживал кооператор по подвалу. — Понимаешь, стосковался я по красивой жизни. Знаешь, морозный такой денек, воскресенье, утром чаек в прикуску, филипповские калачи, бла-

говест, тянешь китайский настой сквозь кусочек сахарку, потом в Сокольники на санках. Бубенцы, узорная ковровая полость, сияет на ней и в январе розан. А рядом с тобой тоже розанчик. С ней под ручку гуляешь среди сосенок, под ногами хруст.

— А я видел северное сияние, — сказал Сергей, — это было на углу Невского и Садовой. Над огнями „Павильон де Пари" свивались лиловые и синие полосы. Было очень холодно, и я сел в трамвай.

— Что сахар! — вопил кооператор, — это презренная проза, топчи ее, брат, не стесняйся и верь, что погибнет Ваал и вернется на землю любовь!..

Сверху в самом деле раздалось игривое щебетание.

Кооператор, держа руки так, как играют на гитаре, запел призывную песнь, аккомпанируя себе на мнимых струнах: „Поцелуй — это миг наслажденья, поцелуй — это миг торжества".

На лесенке показались французские каблуки — светлые туфли на босу ногу. Кто-то спускался, пятясь задом и напевая. Кооператор припал к этим ножкам и, несмотря на отбрыкивание, успел влепить несколько поцелуев в плоскую ступню. Потом белые батисты взметнулись в его руках, и незнакомка гулко спрыгнула на пол.

— Ах, кто это?

— Ничего, ничего, это мой лучший друг, он не выдаст... Слышьте — не рой другому ямы.

Кооператор на мгновенье посмотрел на Сергея с таким же выражением, как только что на сахарный песок.

Сергей поцеловал протянутую ручку и сказал:

— Мне кажется, я уже видел ваше платье сегодня утром: оно стояло и то отворяло, то затворяло калитку. Вы — Леокадия, не правда ли?

— О, так мое имя уже дошло до вас? Ах, вы — шалун! Мы только знакомы, как странно... Скажите, вы тоже такой отшельник, как Федор Федорович? А я сюда на минутку — прохладиться. Жарища адова, так мало интеллигенции, не с кем общаться.

Она разглаживала руками эфирное свое платье, пострадавшее при стремительном этом спуске. Колечко с бирюзой проголубело на закорузлом мизинце.

— Ах да, — вспомнил Сергей, — мне уже пора.

И он начал взбираться по лестнице, провожаемый словами кооператора:

— Деликатность — это я всегда уважал. Ну, до скорого. Слышьте, подожди меня у ворот.

Наверху оказалось совсем светло. Мебель красного дерева стояла скучная, портреты вождей еще не высохли от пива.

Среди пола зияла освещенная изнутри яма, оттуда слышалось:

—... Богиня...

—... Сумасшедший безумец...

После этих вскриков свет погас, — осталась молчаливая дыра. Откидная дверца лежала с ней рядом.

„Захлопнуть дверцу, заставить увесистым этим столом, — тогда через месяц найдут там в подземелье два скелета, сплетенные в смертельной любви! А я буду ходить по деревне и хранить загадочное молчание при вопросах: куда же девался наш кооператор? Где прекрасная Леокадия?.. Ах, я дурак, — хлопнул себя по лбу Сергей, — ведь там все дефицитные продукты, там можно прожить годы и годы! Впрочем, кооператор говорил, что он больше года нигде не засиживался... Писк новорожденного младенца зазвучит из-под пола.

Взломают половицы, и из подземелья выйдет Лев Толстой, обросший длинной бородой, и Леокадия выскочит эдакой Мадонной с младенцем на руках. Младенцу нарекут имя „склеп“, или, как здесь говорят, „склёп“... Ах, я дурак, но ведь воды там нет. Они будут умирать медленно, мучительно, пересохшие уста напрасно станут искать поцелуйной влаги. Мараскин не прохладит их. Несомненно, в подполье молчаливая Леокадия разучится говорить. Но кооператор ножом станет рыть подкоп, и кроты вылезут, щурясь от' солнца, где-нибудь на хлебном поле, среди жнущих беременных баб. Или вдруг подземный источник до смерти напоит их, и они будут плавать, запаянные в подвале, как рыба в консервах... Вообще я на краю гибели, — думал Сергей, глядя на черное, затихшее отверстие, — не успел я приехать, как уже готов совершить преступление. О, Лев Толстой, спаси меня, ведь это твой уезд!“

Сергей выбежал прочь из комнаты на вольный воздух.

Но на крылечке стало еще тоскливее. Лошадь без всякого интереса щипала запыленную траву. Бессмысленные, отвратительные куры пили воду из помойной плошки. Но дальние поля сияли, затопленные солнцем. Федор сейчас там, он работает и, вероятно, утирает пот рукавом. Там аллеи, с решетчатыми деревянными стенками и сводами, покрыты частыми побегами и густыми листьями виноградных лоз, так что ходишь в них, словно у себя в квартире по коридору; громадные виноградные кисти, спустившиеся со сводов внутрь, манят к себе глаза и уста, а устроенные цистерны, с разливающейся по каналам водой, благодетельно освежают расслабленные дневною жарою члены.

Сергей сел на приступочке, вынул из кармана книжку. Среди окрестного округлого пейзажа готический шрифт показался особенно мелким, острым и крытым черепицей.

Баба плюнула, заметив, что кооперация заперта, и попросила Сергея прочитать бумажку, висящую на дверях.

— Закрыто на обед? Управы на него нету.

Между тем в воротах кооперативного дома показалась на телеге Леокадия. Она сидела на чем-то, довольно внушительном и прикрытом соломой. Сергей поспешил помочь ей и придержал скрипучие створки ворот.

— Нет, нет, не смотрите на меня: я сейчас не в авантаже — солнце неприличное, — Леокадия натянула себе на лицо косынку и обдернула короткое платьице, прикрывая солому и выставляя напоказ голые свои ляжки.

— Вы прекраснее Маргариты на соломе.

— Шутки в сторону, я вам не Маргарита. А, понимаю, это из ваших стихов, — мне Сергей Сергеич говорил. Дайте, дайте мне почитать, я люблю веселое. Но сейчас некогда, прощайте! Н-но, тварь! — подхлестнула Леокадия лошадь.

— Умоляю вас, скажите, как мне вернуться домой?

— Однако вы какой-то дорогой пришли же сюда в лавку? Комик вы противный.

— Да, но меня до смерти напугала там собака.

— Молодой человек, вы, я вижу, не промах: и собаку как ловко приплели. А меня вы не боитесь? Ну, так и быть, подвезу, но только я рассчитываю на вашу скромность.

Леокадия вытянула голую свою ногу, указывая Сергею местечко на краю телеги.

— Люди злы, я уже с четырнадцати лет никому не верю. Н-но, тварь! Почем знать, может быть, и у вас есть тайные замыслы. Ведь не для того же, чтобы стынуть в одиночестве, приехали вы сюда? Да что вы так упорно смотрите на меня, безумец?

— Я смотрю, на чем вы сидите. Вам не колко?

— Я не понимаю ваших двусмысленностей. Еще одно слово, и я сброшу вас с телеги.

— Да нет, мне показалось, что вы сидите на том же, на чем недавно сидел я... там, в подземелье...

Глазам Леокадина мужа, вышедшего на крылечко встречать подъехавших, представился Сергей, сталкиваемый с телеги острым каблучком Леокадии.

— Ну, что, уже вернулся с работы?

Тот утвердительно кивнул головой и удалился обратно в комнаты.

— Где ты, Моя невинность? — кричала Леокадия. — Поди сюда, мне одной не управиться. Ну, прощайте, идите все прямо, а потом направо. Постойте, я видела из окошка, как вы шли в кооперацию, но нарочно не остановила, — думаю, пускай пройдется. В Минске говорили, что мне свойствен легкий демонизм, как по-вашему? — загадочно усмехнулась Леокадия и протянула руку Сергею так высоко, что явно она предназначалась для поцелуя.

— Ах, да, — припомнил Сергей, — сегодня у Федора Федоровича вечеринка. Может быть и вы придете?

— Чтобы я пошла в гости к молодому человеку? Да вы с ума сошли! За кого вы меня принимаете?

Уходя, Сергей видел, как Моя невинность вышла из дому, подошла к телеге, вытянула из-под соломы увесистый куль и, предшествуемая Леокадией, скрылась во внутренних покоях.

00064771

Церковь — куб семнадцатого века, с приткнутым к нему ампиром колонн, осталась позади. Сергей вступил в фруктовый сад, окружавший Федоров флигель.

Тени мало было и здесь от невысоких и редко рассаженных яблонь, но как раз в таком саду могли бы тянуться полновесные дни. Вдобавок здесь было полное уединение, так как деревенским запрещено было вступать в эти пределы.

Сравнивая с Петергофом, Сергей находил, что средняя Россия, по которой он сейчас гулял, страна гораздо более южная. Можно было без опаски прилечь на несырую землю. Вереска и брусники не было, рос здесь бурьян, и кружками чернела почва под яблонями.

Сергей прогуливался среди стволов, обмазанных белым. Отягченные ветви яблонь расчертили небо затейливыми голубыми фигурами. Посредине питомника водоем был обсажен волосистою ивою.

Когда Сергей опустил руку в воду, она оказалась нагретою и пахнущею яблоками. Два-три плода, словно вареные, плавали в ней. Это походило на компот. Поодаль в желтолознике был устроен шалаш. Там, в уголке, постелено тряпье, пропахшее не только Еленой, но еще и веселым кисловатым запахом, потому что кучки пестросортных плодов душно тлели там рядом.

Хорошо сидеть и перебирать бумажонки — выписки, вырезки, когда в ящике письменного стола лежат загнивающие яблоки.

— Уважаемый, здесь ходить нельзя. — Сергей проснулся от руки, обнимавшей его.

— Может, я не так говорю, как надо; ты, конечно, старший, — продолжал садовник, — но с нас взыскивают. Сам понимаешь, у нас тут суислеппер,

розовки разные, плодовитка, барвинка, коричник, свинцовка — соблазнов много.

— Но, товарищ Ермолов, как же иначе мне ходить в шалаш, не по воздуху же летать? Это умеет только крылатый лукавец. А почему у тебя, Гриша, фетровая шляпа? Для деревни это редкость.

Гриша близко подсел к Сергею.

— Эту шляпу принесла девушка из Долгого.

— Из Долгого? Это туда был продан яснополянский дом?

— Да, но его уже разобрали на кирпич. Так вот, принесла к сапожнику и велела из нее сделать сапоги на зиму. А сапожнику стало жалко. Он меня любит, вот и подарил мне, а девушка ругалась, да с головы уж не снимешь. Деревенская ломь смеется, а, по мне, хорошо. Жаль, что ее в церковь нельзя надевать. У баб-то платочки яркие, а нашему брату приходится с непокрытой головой стоять. А поп у нас строгий: когда подходят девки к кресту, он, которую заприметит, возьмет да по голове крестом как стукнет и начнет браниться на всю церковь: По-городскому стали одеваться! Юбки по колено, ноги, как полено. Тварь! Богородица не так ходила.

— Спать хочется, Гриша, — отвечал ему на это Сергей, — не знаю, куда приткнуться, везде жарко. Скучаю я, а Федор все еще на работе.

— А ты иди на сеновал, там удобнее, чем в шалаше.

— Ну, прощай пока.

Сергей прошел мимо балкона. Бабушка сидела, окруженная хозяйкой и еще какой-то старухой. Они разговаривали разговоры, впрочем, старуха молчала. Очевидно, это было старая, побиравшаяся по дерев-

не дворянка, которую Федор называл „Исчадием ада“. Название привилось, бабушка тоже именовала ее Исчадием, и слово это стало казаться нежным. Исчадие отправлялось с утра по домам, приходило, садилось и моментально засыпало. Ее будили и заставляли рассказывать, что она видела во сне. Она гадала и на картах, суля исполнение желания, письмо и небольшие деньги.

— Федоров приятель приехал, — слышалось с балкона, — и как будто воспитанный. Не то, что буровой мастер, — тому предложишь: не угодно ли вам еще тарелочку окрошки, — так прямо и говорит: „Да, угодно“. А мы сегодня без обеда, так уж извини, Исчадие, завтра приходи.

При слове „обед“ Исчадие проснулось, стало отплевываться и уверять, что видело во сне свадьбу: бабушку венчали с церковным старостой.

Хозяйка заметила мимоидущего Сергея.

— Ты бы лучше вот кому посулила свадьбу.

— Ему-то? Дурак, кто женится. Умница, которая замуж выходит, — поджало губы Исчадие. — Ну-ка ты, молодчик, покажись. Хочешь на мне жениться? Ты не смотри, что у меня зубов нет, зато валетов у меня в колоде много, самый мой нелюбимый — червонный. Всегда с трефовой дамой ложится. А я его возьму да отложу прочь. Лежи-ка здесь, голубчик, подальше; вот оно — исполнение желания. С дамой-то, может, кто другой ляжет.

Исчадие внезапно заснуло перед опешившим Сергеем и негодующей Макаровной. Разговор перешел на другие предметы.

— Макаровна, нынче вы горох сеяли?

— Самую малость. Да к вам давеча Ариша приходила, масло предлагала по девяносто копеек. Гривенник надбавила. Говорят, шитовская хозяйка

всю масло возьмет, — как муж яблоки продаст, так, говорит, расплачусь.

— Шкура.

— Да разве с нашим бабьем сладишь? Бабы и есть. Что ваш Федор здесь не женится, правильно делает. Покойный муж тоже с осмотрительностью действовал, — купит невесте ландрину, угощает: „А ну-ка, прикиньте три фунта изюмцу по тринадцати копеек. Да вы не волнуйтесь, кушайте, пожалуйста. А ну-ка, пять аршин ситчику по одиннадцати копеек". А копеечки-то где? Извините, нам не подходит. Тогда все дешево было: пуд мяса за рубль за двадцать. Нынче где он, ландрин?.. А с вами договориться надо, — обратилась она к Сергею, — долго рассчитываете пробыть?

— Три дня.

— В Туле бы с вас в гостинице по пятерке запросили, ну, а я с вас недорого возьму.

— Да ведь он у Федора в гостях, — вмешалась бабушка.

— Все равно. Вот он по балкону ходит, пол снашивается, в комнате ночевать будет.

— Нет, Федор писал мне, что на сеновале.

— Эх, вы, петергофские, во всем у вас экономия. Счастье ваше, что у меня живете.

При слове „бабы" Исчадие снова проснулось и сказало:

— Ничего не помню.

— Как так, — полюбопытствовал Сергей, — говорят, под старость память, наоборот, обостряется? Неужели действительно надвинется непонятная ночь?

Исчадие брызнуло слюной, в ее рту не оказалось не только зубов, но и десен: это была коричневая дырка, не окаймленная губами. Из нее исходили

звуки: „Оля и Поля бегали в поле, а Лидочка Воронцова давно уж в могилке".

— Ты чего мне здесь перед глазами вертишься? Полезай-ка в мою колоду, — я вас всех живо стасую, — накинулось Исчадие на Сергея.

Тот ощутил себя тонким, состоящим из картона, с синей рубашкой сзади, и немного потрепанным, с ободранными углами, так как в него часто играли.

Сергей опустил глаза. Как всякий настоящий валет, он вместо ног повторялся в опрокинутом виде и в нижней своей половине — словно отражение в воде или антиподы, живущие на округлом, как двойное, сросшееся брюшко валетов, земном шаре. Ему стало ясно, что сейчас в Америке живет его валет, такой же безногий, как и он.

Бабушка объяснила:

— Уйдите, не раздражайте ее понапрасну.

Сергей прошел к сеновалу и повалился на сено.

Соломенная крыша сенного сарая поддерживалась разными балками и палками. Иные не были обстроганы, и на них белела кора. С одной балки свешивалась вниз ветка с листиками. В прорехи виднелось небо, и весь сеновал снаружи был охвачен солнечным жаром.

В полутьме мухи теряли ярость и довольствовались мирным расхаживанием по лицу лежащего.

Если в Эрмитаже, в шатровой зале, лечь на пол, то лощеный паркет, который обычно всего белее там бросается в глаза, перестанет быть виден. Картины, размещенные на боковых перегородках, тоже станут невнятными, со своими низинами, болотами, мельницами и ручьями. Можно вдоволь наглядеться на потолок, пока музейный сторож не попросит встать.

Послышалось шамканье туфель, и бабушка появилась со свежими, сложенными вчетверо простынями.

— Слезьте-ка, дружочек, на минутку: надо вам с Федей постелить постель засветло. Да, чтоб не забыть: побожитесь-ка мне сейчас же...

— Как, бабушка, вы требуете клятвы? Но в чем?

— Что вы не будете здесь курить. Долго ли до беды! Хозяйка потом тысячи три спросит, сами видите.

В самом деле, сеновал был заполнен, кроме сена, еще необмолоченным хлебом и соломой. Все это золотилось в тех местах, куда падал через плетеные стенки свет.

— Вспыхнет, так и выбежать не успеете, — продолжала бабушка, хлестко набрасывая белый полог на высокое сено.

Сергей поставил на днище перевернутой бочки зеркало, мыло и бритвенницу.

— Скоро ли вернется Федор?

Бабушка вышла из сарая, заслонилась скелетной рукой от света. Прозрачная прожелтела кожа между косточками.

— Теперь уж скоро, всегда в шестом часу возвращается. Пойду насчет самовара, а вам спасибо за подарок.

Сергей присел у подножия сенного ложа. Тульский пейзаж виднелся через растворенные ворота сарая. Дети копошились у канавки. Пятилетний мальчик плевал в лицо трехлетней девочке. Та после каждого плевка начинала реветь, но затем, утершись, с любопытством ждала следующего. Белобрысый настойчиво махал над головой длинющим кнутом. В воздухе свивалась петля, и раздавалось хлопанье. Неосмотрительно задевал он близстоящую яблоню, и плоды шлепались оземь. За стеною сеновала

слышалось чмоканье — это стреноженная лошадь, свободная от полевых работ, колченого скакала, вздыхая о более свежей траве.

Сергею стало страшно. Он перебирал бабушкины рассказы о злых людях и о Мотеньке: лицо, испещренное рябинами; он мажется и пудрится пудрой „Джиоконда“. Ездит в Тулу и торгует там шинами. Не пьет, не курит, не ругается, зато „жаждет новых ощущений“, для чего исполняет роль мясника на деревне. Когда режет теленка, то сперва, приставив нож к его детской, нелепой шее, запевает:

Ты жива ль еще, моя старушка?
Жив и я, привет тебе, привет? —

и при этом слове вонзает нож. Придя в лавку, Мотенька потребовал себе какао.

— Разбогатели, Митрий Петрович, пить будете?

— Дурачье, это только деревенские пьют, а в городах его нюхают, — и Мотенька тут же раскупорил коробку, взял понюшку какао и вдохнул. Коричневое чиханье наполнило лавку. Все посторонились. Мотенька торжествовал:

— Вот он — хмель для кудрей, ощущение новое!

С тех пор он постоянно носит с собой коробочку. Предлагал девицам. Те, послюнявив палец, пробовали на вкус темный этот порошок, но находили, что горько.

— Так вам уже до свадьбы горько? — лез Мотенька целоваться.

Лихо пляшет в присядку „фоксторт“, но последнее время стал отламывать коленца, и девки наотрез отказались с ним плясать, несмотря на го-

родские его прибаутки: „Мне сказали на вокзале, что девчонки дешевы, самые хорошие. Все пижоны наряжены в пиджачишки джимые, все девчонки обольщены, которые любимые“.

— О чем мечтаете, Сережа? — говорил Федор, входя в сарай.

— О Мотеньке, Федя.

— Вот была охота. Ведь это социально-чуждый элемент.

— Я хочу с ним познакомиться.

— Ну, нет, не компрометируйте нас на всю деревню: вы-то скоро уедете, а мне потом придется расхлебывать.

— Я боюсь за вас, Федор.

— Нет, уж вы лучше за себя бойтесь. Все это у вас от безделья. Не могли даже свои вещи как следует прибрать: в чемодане у вас полнейшая геология — грязные носки рядом с зубной щеткой, между пластами — расселина, заполненная обломками различных пород. Посмотрели бы вы, как почтительно обращается со своими вещами Фильдекос: с уважением вдевает он запонки в рукава рубашки, ценит зажимку для галстука, с достоинством завязаны у него шнурки на сапогах.

Федор хворостинкой дразнил толстого Фингала, который приплелся его встречать.

— Федор, бесстыжий гад, что вы делаете с моими стихами?

— Я хочу научить пса петь эту песенку, — говорят, у слепых очень тонкий слух. А что я бесстыжий, это верно. Спросите-ка на деревне. Я по приезде прошелся как-то в белых московских брюках, так все встречные плевались.

— Погодите, Федор, прежде всего мы должны выработать программу дня. Две экскурсии: на

Куликово поле и в Ясную Поляну; потом основательное ознакомление с деревенским бытом, остальное время — отдыхать.

— Хорошо. До Куликова здесь верст шестьдесят. Я достану пижонку, — так здесь называют мотоциклетку, — вас посажу в пристяжную лодочку. Но только отдыхать вам сейчас не придется. По случаю вашего приезда я решил вымыться. Идите-ка работать; надо и вас приспособить.

Федор указал на свое лицо и руки, запыленные и грязные. Глина облепила жесткую его прозодежду.

Началась работа Сергея, то есть обряд умывания Федора. Это происходило на лужку, подле сеновала. Сергей вытягивал из колодца звонкие ведра. Намыленный Федор плескался, отдувался. Не обошлось и без фырканья, но боязнь Сергея была смыта этой водой.

Когда Федор отнял полотенце от глаз, перед ним на бричке сидело его начальство, возвращающееся после объезда работ.

— Это мой приятель, Сергей, — отрекомендовал Федор, — а это мое Обожаемое начальство.

— Федор Федорович, голубчик, — говорило Обожаемое, — извиняюсь, сегодня обедать у вас не буду, а вот вам спешная работка, чтобы к завтрашнему дню обязательно. Дело-то плевое: выписать данные, начертить поперечный разрез шурфа, его размеры и направление квершлага. Наклонные штреки тоже.

Федор попытался протестовать.

— У меня сто пять дудок, — говорил он, — как же так все это к завтрему сделать. Что же вы, Обожаемое, раньше думали?

— Я, Федор Федорович, сам работаю до потери сознания, — возражало Обожаемое, теребя боро-

денку, — не щажу своих сил, и все для социалистического отечества. Чтоб мне в двадцать четыре часа! Мобилизуйте, кого хотите, — бабушку, приятеля, но чтоб мне это было сделано. Я, можно сказать, люблю работать, — и Обожаемое в упор посмотрело на Сергея.

Тот потряхивал ведром, глядя в сторону.

Стало ясно, что Федорово Обожаемое начальство думало так: „Что-то здесь есть; молчит, а какое-то слово, говорят, сказал по-иностранному и с Федором на работу поехал. Да разве англичанин станет стихи писать? Не иначе, как рабкор какой или селькор“.

Прощаясь тогда с Сергеем, Обожаемое сказало:

— Позвольте вашу уважаемую...

— Что?

— Вашу уважаемую руку, говорю. Не рука, а золото, как же, читал, читал!

Сергей выронил ведро с водой. Федор подскочил, босые его ноги оказались в студеной луже, впрочем, быстро впитавшейся в траву.

— Вот вам и фунт изюму, Сережка. А тут как нарочно эти гости сегодня, и обеда нет, — все деньги пошли на них... А есть хочется до смерти. У вас нет денег, Сережа?

— Только на обратный отъезд.

— Вот это идея: я возьму их у вас, вы не уедете и будете жить у меня десять лет.

— Почему десять? А если я хочу у вас двадцать лет жить?

— Вас никто в Петергофе не узнает, если вы вернетесь туда сорокашестилетним!

— Это правда, значит, мне придется уехать через три дня, — тогда узнают. То есть через два дня, — этот день уже кончается.

— Быстро, увы, проходят дни счастья, — заголосил Федор, хлопая Сергея мокрым полотенцем по носу.

День в самом деле был уже на ущербе. Стоящий на травке самовар розовел, озаряемый закатом. Бабушка сапогом раздувала его. Скотина мычала, возвращаясь с полей.

Из кустов появились фигуры, сорокалетние и, повидимому, уже нагрузившиеся. Жоржик Гусынкин нес за ними увесистый ящик.

— Беда, — вопили они, — все девки заняты: нынче Фильдекос уезжает, так у них какой-то там девичник. Зовут всех к себе. Но уж раз мы тебе обещали, так сперва сюда, а потом айда всей гурьбой к ним.

Бабушка поспешила укрыться в комнату. Ящик был выгружен на стол.

— Вы что ж не едите шпротов да и по части водочки слабовато?

— Я их терпеть не могу, — оправдывался Сергей.

— После обеда — оно понятно, сыты, значит. Тогда пивцом не худо прохладиться.

Кооператор старательно пережевывал маслянистые шпроты (рыбий хвостик слегка виднелся у него в углу рта), причмокивал и приговаривал:

— Кто хочет жить, тот пусть ест медленно, надо каждый кусок пережевывать двадцать четыре раза, по числу часов в сутках. „Налей бокал, в нем нет вина, коль нет вина, так нет и счастья, в вине есть страсть и глубина", — запел Алексашка.

— Ну, Федор, за Дуню! Иль за Домашу?

— За всех, — отвечал Федор.

— Всех разом нельзя. Этот стаканчик за Феню, а этот за Дуню.

Кооператор начал перечислять, и вышло восемь стаканов. Руки Федора стали дрожать.

— А ты не спорь, ты повинуйся, — подливал кооператор водку в пиво, — я уж свое дело знаю. Знаешь анекдот насчет „спокойно"? „Спокойно, снимаю!" — ничего себе, ловкач. А то вот еще...

Алексашка в свою очередь рассказал анекдот из румынской жизни. Федор покраснел. Уход его не был замечен: уже рассказывалось о том, как где-то под утро варили крюшон из гречневой каши и налили воды, в которой мылась посуда.

В темной комнате бабушка прикладывала мокрое полотенце ко лбу лежавшего Федора. Сергей достал пирамидону.

Только не говорите им, Сережка, а я сейчас.

— Ничего, полежите, они и не заметят.

— А вы вернитесь туда и займите их разговорами, а то неудобно.

На балконе уже зажглись свечи, облепленные вечерней мошкарой. Шло чоканье, и мохнатая бабочка трепыхала на столе в пролитой пивной луже.

— Тоска! — вопил кооператор, пальцем разводя Средиземное море, — ведь вот была жизнь, и не стало жизни. Бывало „Бэль Элен" в Каретном ряду, в Эрмитаже... Медынцева тогда пела, выходит вся в трико, здесь всюду стеклярус... Голос немного сиплый, но занозистый... Хорошая страна — древние греки: всюду лебедя, дамочки, синева... Орест там ходила бы без трико, со стэком в руках... Пышечка тоже хоть куда: „Дзы! Ла! Ла! Дзы! Ла! Ла!"

— Позвольте, — вмешался Сергей, — вот и в этом году в Эрмитаже производили опыт: катили по паркету, осторожно, чтобы не задеть малахитовых ваз, штанги и гири к ним, знаете, круглые такие диски, десять, двадцать фунтов: они потом навинчиваются. Вошла кучка физкультурно одетых юно-

шей. Стали глядеть на картины и выжимать штанги Ученые записывали влияние Тайной вечери на мускульную энергию. А насчет древних греков, Сергей Сергеевич, так это неправильно, — у них сахару не могло быть. Это только после открытия Америки...

— Ну, вы мне америками очков не втирайте. Я и сам кончил Московский коммерческий институт... Уж у кого другого, а у греков его было хоть отбавляй... Чувствую, что мне бы родиться на мраморе, а тут вот пропадай, да и жена меня, понимаешь, бросила. Вот, ты думаешь, я здоровяк, а, может, я сплошной комок нервов? Где Волконские, где Шереметьевы? Искалечило нас всех.

— Мне двадцать лет и ждет меня корона, — подмигнул Алексашка, — а где же Федор Федорыч?

— И меня тоже жена бросила, — заторопился Сергей. — Странный такой случай — не то я его где-то слышал, не то он со мной случился. Дело в том, что у меня есть жена.

— Это не диво, — потягивал Алексашка из рюмки, — и молоденькая, небось?

— Пожалуй, да, так, лет сорока восьми.

— То-то вы такой серьезный.

— Так вот, я и пошел в банк, вижу множество зарешетченных окошечек. Сверху плакат: „Прежде чем продавать облигацию, справься, не выиграл ли ты“. Спрашиваю: „Где у вас тут разменная касса?“ — „А вам на что? — продаете или ссуду хотите получить под залог?“ — „Да вот, хочу разменять одну сорокавосьмилетнюю на две двадцатичетырехлетних“.

Кооператор и Алексашка фыркнули пивом:

— Ну, и приятель же у Федор Федоровича! Такого никакая жена не бросит.

— А вот, представьте, бросила.

- А, так ты понимаешь, брат, что это значит? Нет, обида-то какова! ударил кооператор себя в грудь. — Ты пойми, все люди, которые дожили до девяноста лет, были, примерно, женаты. Я тебе потом статистику покажу.

— Да, да, — продолжал Сергей, — я вот сюда собрался ехать, а она возьми да брось меня.

— А с чего бы? — заинтересовался Алексашка: — Вы человек молодой, с виду интеллигентный.

— Из-за очередей бросила, — простонал Сергей, наливая собеседникам полные стаканы водки. — У нас дом — полная чаша, совершенно, понимаете, полная, всего вдосталь. Но не может она спокойно видеть очередей: ее так и подмывает... „Как же, — говорит, — ты моей работе мешать смеешь? Нужно же мне узнать, откуда в седьмом номере вчера на обед судака брали и из-за чего Шурочка своего хахаля огрела". Собрался я уезжать, она и спрашивает: „А что там, в Тульской губернии, есть очереди?" — „Нет, — говорю, — там в кооперации мой лучший друг и тезка, Сергей Сергеич". — „Ну, тогда не поеду", говорит, и, понимаешь, так-таки и бросила.

Все трое собеседников поникли над столом.

— Брошенные мы, несчастные мы, — стонал кооператор. — Фильдекос там теперь с девками прохлаждается, а Леокадия у себя дома спит с Невинностью. Положила голову на подушечку, закрыла беленькие свои глазки и спит, голубица.

Тогда запели протяжно и уныло, глядя в обступившую балкон тьму. Кооператор рывком брал на гитаре неслыханные аккорды: „Капают, как слезы, капли испарений, тени двух мгновений, две увядших розы. Счастья было столько, столько, сколько капель в море, сколько, сколько листьев на седой

земле, а остались только, только две увядших розы в синем хрустале".

— Го-го, — раздалось гиканье, жилистые волосатые руки протянулись из тьмы к столу. Бутылка опрокинулась, стеклянные дребезги зазвенели.

— Айда к девкам, — горланили буровые мастера.

Кооператор с Алексашкой были подхвачены под руки.

— Мы с Федей сейчас вас догоним, — сказал Сергей.

Все виденье исчезло в темноте.

Тогда выполз из комнаты и Федор, с полотенцем на голове. Бабушка плелась за ним вслед, став столетней от бессонного этого вечера.

— Погоди, Федя, дай убрать.

— Есть, бабушка, хочется до смерти.

— Да, есть хочется, а кто все деньги на это убухал? Чем мы завтра обедать будем? Объедками этими, что ли?

— Федор, ну что, вам легче? — спросил Сергей.

— Совсем прошло, да я и не люблю лечиться.

Федор положил руки на стол и тотчас же принял их. Липкий стол пахнул городской пивной, горохом и воблой.

Федор, размотав свою чалму, стал махать ею, чтобы разогнать недвижный воздух.

Решили выполнить приказание начальства. Керосиновая лампа была зажжена, разведочные журналы разложены на столе.

— Нет, бабуся, пес тебя дери, у тебя ничего не выходит, хоть ты и мобилизована, — нельзя проводить дрожащие линии. Иди-ка лучше, разогрей самовар.

С лучинкой в руках бабушка бормотала:

— Неужто война с Китаем?

— А вы, Сергей, совсем бездарны. Разве это похоже на дудку? Знаете что, почитайте-ка мне вслух, ведь черчение — это почти механическая работа. Какие книги вы привезли с собой?

— Только три. Одна очень страшная, там говорится, что земля надвигается. Другую вы знаете, третья — русский перевод.

— А, та самая, которую мы с вами начали читать еще тогда, в Петергофе? Желтенькая, маленькая? Но сейчас лучше читайте перевод, оно понятнее.

Оссиан, Лобзай и Фингал выползли из-под крыльца и улеглись всклокоченным ковром у ног Федора. Вертикальные линии стали появляться у него на бумаге.

— Знаете что, Федор, нарисуйте-ка и себя на дне дудки.

— Не лезьте, Сережка, не мешайте работать.

— Хорошо, — отвечал Сергей, — только скорей кончайте, а то ночи не хватит на все сто пять дудок.

— А вы тоже кооператор, Сережка. Это я нарочно тогда, чтоб подразнить Обожаемое. Я знаю его характер, у него всегда спешка, всегда гонка. У меня заранее были готовы все чертежи, а эти две дудки я сейчас кончу.

— Да ты у меня себе на уме, весь в меня пошел, — сказала бабушка, целуя Федора, и стало видно, что они действительно похожи, тем более что Федор сидел желтый от недавней головной боли.

— Хорошо читает твой приятель. Маргариту до слез жалко, а этот, как его, такой нехороший. Однако самовар поспел, детки. И я, уж так и быть, с вами чайком побалуюсь.

— Я тоже не дурак выпить, бабуся, а рассказцы такие могу загнуть, что даже Фингал покраснеет.

— Ну, паразиты, идите кушать.

Федор бросал вверх куски хлеба огромным псам, прыгавшим до потолка балкона.

Бабушка исподтишка перекрестилась, садясь за стол.

— Отчего у вас такие чортики в глазах, Федор? — спросил Сергей.

— Не знаю, от пирамидона, должно быть, а может, от гостей, от вашего приезда, от Маргариты. День-то сегодня выдался такой необычайный — с утра кутерьма. А еще, может, оттого, что на меня по вечерам нападает антирелигиозное настроение.

И Федор, прихлебывая чай, стал изображать похороны: гнусаво пел он „Господи, помилуй“ и сразу же переходил на похоронный марш. Это означало, что церковные похороны сменились гражданскими.

Бабушка при звуках Шопена оживилась:

— Вот и у нас в Козихинском переулке на Пасху артисты пели. Иной раз даже из Большого театра, и такой концерт разведут, что ничего не разберешь, потом уж только сообразишь, что, должно быть, пели „Ангел вопияше“.

— Это очень подходит к вам, Феденька, — заметил Сергей Федору, голосившему изо всех сил.

Закончив пассаж медных труб, Федор пустился рассказывать:

— В церкви передают свечи к образу, стучат по плечу, стоящий впереди ставит не к тому образу, податель свечки ругается...

— Не передавайте стакана, это вам. Нехорошо ему пить такой крепкий чай, он еще мальчик, да еще на ночь.

— Не стесняйте меня, пожалуйста, мне на той неделе двадцать два года, — пищал Федор, изображая флейту. Потом, кончив высокую ноту, на-

кинулся на бабушку с поцелуями: — Ах ты, старуха моя, пес тебя дери, а ты в екиманию веришь?

— В какую такую екиманию?

— Ну, в Иоакима и Анну.

— Как не верить, в них всякий верит.

— А я вот не верю.

— Ах ты, негодяй! Смотри, повстречаешь какую-нибудь такую Аннушку, тогда и сам поверишь.

— А вот не поверил же, хоть и повстречал здесь разных Дунь, а в городе Марусь. Значит, твоя екимания и не верна.

— А ты не спорь, твоя жизнь еще впереди. Беспременно Аннушку встретишь.

А что, если я их обоих встречу: и Иоакима и Анну?

— Замужнюю, стало быть? Только бы тебе языком трепать. Отправлялся бы лучше поскорей на сеновал, уж поздно.

— Спокойной ночи, бабушка, — сказали Федор и Сергей.

В темноте надо было миновать покатый лужок между домом и сеновалом.

Феденька, закрывать ворота? — спросил Сергей, входя в сенной сарай.

— Да, лучше, а то еще заберутся ночью сюда паразиты трудящих масс.

Сергей обеими руками потянул на себя несуразные створки ворот. Стало еще темнее, а зажигать огонь на сеновале было нельзя.

— Где вы, Федор?

— Здесь, идите на мой голос, — аукался Федор как в лесу.

Сергей полз на сено, и от его карабканья постель, устроенная бабушкой, пришла в негодность: простыня оказалась под сеном, подушка —

в ногах. Впрочем, быть может, это произошло и от того, что Федор, лежа на сене, стал делать перед сном шведскую гимнастику.

— Ну, теперь давайте лежать тихо и разговаривать. О чем бы?

— Конечно, о женщинах, так полагается: ведь мы с вами молодые люди. Мне представляется такая картина, — говорил Федор: — кожаный кабинет, мягкие, абажурные лампы. Муж сидит за письменным столом, перелистывает книгу. На диване жена, одетая по-вечернему, — они сейчас едут в театр слушать оперу, или в гости на веселую вечеринку. Длинная юбка, высокий до подбородка воротник. Ей не меньше 38 лет. Ведь молоденькие Муруси и Симочки — это все такие дурочки, я совершенно теряюсь с ними. Чем женщины больше одеты, тем лучше. Однако ужасно хочется курить.

— Да, но мы обещали хозяйке. Может быть нам лучше было бы спать в комнате?

— Нет, как можно. Вы подумайте, Сереженька, как хорошо прожить все лето и почти не бывать в комнатах. Довольно мы зимой будем заперты в коробке. А здесь, на сеновале, вы замечаете, Сережа, как воздух гуляет сквозь плетеные стенки? Лицу прохладно, а телу тепло от сена. При социализме вовсе не будет комнат. Мне кажется, я уже теперь чувствую будущий свежий воздух. Знаете, Сережа, мы как-то с Володей были на бегах в Москве. Ну, конечно, жокеи, кепки, но, главное, лошадки, крепенькие трехлетки, четырехлетки, они так и рвутся вперед. Бросили бы и вы, Сережа, ваши финтифлю, разве сено не лучше?

— Да, — отвечал Сергей, — и пахнет, и колется. Я различаю под собой стебельки клевера, тимофеевки, придорожника и антоноцвета.

— Это уже третий покос за лето,— сказал Федор.— Я бреюсь чаще, мне раз в неделю надо уж обязательно.

— А мне через день или даже каждый день, но кожа не выносит: не то порезы, не то ссадины. А скажите, Федор, что вы чувствуете на дне дудки? Отчего вы ворочаетесь? Может быть нам было бы лучше спать в саду, совсем под открытом небом?

— Нет, Сережа, я не люблю простора сверху, он меня стесняет.

— А вы замечаете, Федя, вот мы с вами сейчас не курим, и это дает особый привкус нашему разговору.

— Ну, это ваше вечное копанье, Сережа, это не по мне, я больше люблю математику.

— Что же, Феденька, ведь это тоже „теория бесконечно малых".

— Значит, это вроде вашей „теории авантюр"?

— Да, Федя, понимаете, приходится ездить из Петергофа на заседания. Спутники, коровы в окне, оттенки неба. Потом, вернувшись домой, составлять протоколы. Вот вам мой петергофский случай 21 июня...

— Проклятые бесконечно малые, их тут хоть отбавляй!..

— Что вы меня ругаете, Федор?

— Да не вас, а блох тут пропасть, никакого персидского порошка не хватит на все сено. Ну, рассказывайте да поподробнее. У вас, должно быть, каждый месяц все разные случаи?

— Так вот, заглавие: „Поездка в город и обратно". Туда: вагон почти исключительно занят не то трудовой школой, не то интернатом. Девочки и мальчики различного возраста, две учительницы. Очевидно, возвращаются с экскурсии, загорелые, голодные (говорят о столовой). У окна один из

самых старших, уже в пиджачке, сереньком, под ним летняя рубашка с открытым воротом и каким-то переплетом на груди, с продетой зеленой ленточкой, громогласно, на весь вагон, устраивает, как он говорит, диспут: „Конечно, в нашем возрасте еще невозможно серьезное чувство, так, бывают вспышки. Вот ты, например, работаешь над заданием, тебе хочется, чтобы оно вышло получше"... Девочки с довольным видом оправляют платки. Меньшие мальчики вставляют книжные замечания. У семнадцатилетнего инициатора диспута глаза бегают по сторонам, видно, он делает лицо для младшего возраста... Обратно: поезд еще не отошел. Наискось против меня рабочий-парнишка (большие загрубелые руки, довольно конопатое лицо, лет так девятнадцати, двадцати, в общем ничего особенного). Мой сосед — тоже парнишка, примерно, такого же вида. Разговаривают они промеж себя с прохладцей, покупают грошовые конфеты и грызут их. Вдруг оживление... — „Смотри-ка, а ведь это твой комендант" — говорит мой сосед... Парнишка напротив оживляется, вскакивает, приникает к окошку. На перроне у окна появился человек, лет под тридцать, в затасканном френче, с потертою шинелью в руках...

— А я бы и не обратил внимания на такие мелочи, — сказал Федор.

— Феденька, авантюры на каждом шагу.

— Хороша авантюра, нечего сказать, ведь вы только зритель.

— Конечно, но с меня довольно. Я потом целую неделю сочиняю прошлое и будущее, сталкиваю друг с другом.

— Раз вы авантюрист, Сережка, вы еще, чего доброго, устроите смычку со здешним кулачьем.

— Да, Федор. Для этой цели я иногда не ем по суткам, иногда сплю весь день.

— А я люблю свою работу, все-таки и я строю будущее.

— И прекрасно, Федор. А вот вам еще одна моя авантюра: рабочий воскресный отдых в Петергофе... Конец дня. Лужайка, духовой оркестр. Некоторые пляшут „шерочка с машерочкой". Научные сотрудники презирают. Поодаль — автомобиль кооперации. Продают булки, с колбасой внутри... А, действительно, какие ядовитые здесь блохи...

— Это от паразитов трудящих масс, они залезают днем на сено.

— Так вы видите, Федор, что я люблю людей.

— У вас, Сережка, голова вообще засорена хламом. Надо вам устроить основательную чистку.

— Конечно, потому-то я и люблю, роешься в гуще, и отыщешь. А когда любишь, то весь исходишь чем-то. Поехать в незнакомый край, хотя бы всего за версту, — неизвестно, какие там будут люди и места, но какие-то будут. Терять-то нечего, а все же есть интерес не быть. И сперва по приезде бывает тоскливо, а потом привыкнешь и не замечаешь.

— Бытие определяет сознание, — вставил Федор.

Да, Федя, так и не заметишь, что когда-то умер. Сегодня днем, под яблоней, сквозь сон я чувствовал зеленый воздух, полный щебетанья.

— А я тоже задремал на телеге, когда возвращался с работы, — заметил Федор, — и проснулся, весь облепленный мухами и слепнями. Мерзавцы, что я — труп, что ли, или кусок сахара?

Сергей вздрогнул:

— Откуда вы знаете о сахаре, Федор?

— Что такое?

— Нет, нет, это так, нечаянно.

— То есть как так?

— Нет, я хотел сказать, что ужасно хочется курить.

— Это само собой, но почему вы вздрогнули, Сережа? Тут что-то есть. Вы сами говорили, что у вас нет от меня тайн, а вот такой пустяк, и не хотите сказать.

Федор отодвинулся, недовольный.

— Федя, слушайте, это скорей общественное дело.

— А вы думаете, общественное дело меня не касается? Ну, и несознательный же вы элемент, Сережка.

Сергей, ежась, рассказал. Негодующий Федор сопел и высчитывал:

— Что у нас завтра? Суббота. Значит, послезавтра воскресенье. Отлично.

— По-моему, совсем не отлично: мне уже надо будет уехать.

Федор вскочил и заршуршал по сену вниз.

— Взошла, Сережка, взошла! — кричал он, распахивая ворота. В сеновал попали белые лунные полосы. Снаружи все ходило вприсядку от лунного веселья.

Федор с Сергеем, не одеваясь, выбежали в сад и, стоя в рубашках под яблонями, стали окуривать луну. На струйки их дыма она отвечала умильными улыбками. Засмотревшись, Сергей оступился, непривычная его ступня сперва накололась на что-то, потом, подобно руке, но только не так гибко, охватила что-то круглое.

— Смотрите, Федя, сколько их здесь нападало.

— Бросьте, это понявинское, кислятина, не стоит, пойдемте вот туда.

Аркад действительно оказался сладким, крупным и белым, совсем как луна. Федор раскорякой ползал

под яблоней, рубашка его временами касалась земли. Внезапно выпрямившись, он сделал пируэт, блеснув голым коленом, и метнул яблоком в луну.

— Вот ее бы отведать, пес ее дери!

Было слышно, как яблоко шлепнулось где-то поодаль.

— Ну, а теперь спать, спать, Сережка! Вам-то хорошо, а ведь мне завтра на работу. Хватит этих финтифлю.

Снова закрылись ворота сеновала, и опять началось восхождение на высокое ложе. Но так как это происходило довольно резво, а полоски луны лишь невнятно проникали сквозь плетеные стенки сарая, то простыни окончательно перепутались с сеном.

— Чорт знает, что такое, колется отовсюду. Даже в нос попала какая-то травинка.

— Эх, вы, петергофский человек, не умеете наслаждаться сельской жизнью. Ну, однако хватит, спокойной ночи.

Федор охапкой сена запустил в лицо Сергея. Тот, фыркая и отплевываясь, таким же способом пожелал ему спокойной ночи.

Но этому не суждено было сбыться: открываемые ворота заскрипели, послышалось чирканье спичек.

— Не зажигайте, кто это? А, Гриша Ермолов. Я сейчас к тебе выйду.

Озаренный спичкой, из тьмы был выхвачен садовник в фетровой шляпе, протягивающий какую-то бумажку Федору.

— Файгиню, Файгиню едет, — воскликнул Федор, с телеграммой в руках, — отчего вы не прыгаете, Сережа? Это вас расстраивает?

— Нисколько. Я рад за вас, но согласитесь, Федор, мне нет причин плясать: я еще незнаком с вашей матушкой.

— Сейчас же едем в Тулу встречать утренний поезд. Вас я не мог встретить, так как вы не дали телеграммы. Но скорее, едем, возьмем с собой консервы, позавтракаем в поле, приправой нам будет свежий утренний дух. Эй, Жоржик, запрягай.

— А какова ваша матушка? — спрашивал Сергей, уже сидя в шарабане и застегивая пуговицы второпях натянутой одежды: — Ведь матери бывают разные: мамаши, маменьки, мамуси, мамули.

— Нет, я вам ничего не скажу о Файгиню; вот вам еще одна лишняя авантюра, — поломайте-ка себе голову, — и Федор так подхлестнул лошадь, что Сергей едва не выпал из экипажа.

— А как ее имя-отчество?

— Я вам ничего не скажу, подождите до утра. Да, наконец, вы можете ее называть — товарищ Стратилат.

— Да, но это неудобная фамилия: будет непонятно, к кому я обращаюсь — к ней, к бабушке или к вам.

— Тем лучше, ведь мы все одно и то же. А фамилия у нас не неудобная, а грузинская. У нас кто-то из пра-прадедов... Оттого-то у меня и такая тонкая талия, а нос острый.

— А вы умеете танцовать, Федор?

— Терпеть не могу. Да и всю эту вашу салонность давно пора по шапке.

— Конечно, долой гран-рон. А похожа на вас ваша ля мер?

Федор, ничего не отвечая, уверенно гнал лошадь в темноту. Впрочем, и вся-то видимая лошадь состояла из одного крупа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Она поднимала хвост, и это напоминало о подкладке пальто или пиджака, когда вдруг на груди, сквозь материю, обнаруживается торчащий суховатый конский волос.

Сергею было холодно.

Между тем, пользуясь отсутствием луны, звезды проступили ярко. Крупные светила розовели, уверенные в себе, в своем месте и в своем завтрашнем дне. Они привычно расчерчивали небо на обязательные созвездия. Мелкота, напротив, частенько не удерживалась и падала, как это обычно бывает в августе.

— Вы опять смотрите, Сережа, на звезды? А я вот не охотник до них. Это странно, потому что звезды, наряду с Советским союзом, единственное место, которым не владеет мировой капитал. Казалось бы, я должен любить их, а вот не могу себя заставить.

— Зачем же заставлять? Вы идете по улице, над пятым этажом блестит звезда. Вы смотрите попеременно то себе под ноги, — на панели следы какого-то сморканья, — то наверх, на ее подмигивание. Впрочем, вы не правы, Федя, капитал посягает и на звезды.

— Это вы насчет междупланетных путешествий на ракетках? Ну, это будет еще не скоро, до того времени капиталу капут, и наша планетка веселее побежит вокруг солнца, а, может быть, она сама станет солнцем, и все будет вращаться вокруг нее. Ее форма изменится — вместо шара она станет пятиконечной. Разные эти Марсы, Юпитеры и Венеры придется переименовать. Впрочем, уже есть планета Владилена.

— Я, вот, и хотел сказать вам, Федор, что Ротшильд купил одну из вновь открытых планет — какую-то Весту, Юнону или Цереру — и назвал ее Рахилью в честь своей дочери.

У кого же он купил ее?

— У астронома.

— Продажные твари, мерзавцы. Н-но, тварь, — подстегнул Федор лошадь.

— Смотрите, Федор, вот Малая Медведица, вот Полярная Звезда, там Петергоф. А здесь, глядите, какая ясная поляна: много частых звезд, от них светится даже темный промежуток.

— Тула тоже там, на север от нас. Файгиню сейчас, вероятно, уезжает из Москвы. Курский вокзал, носильщики, публика, кое-как приткнувшаяся на лавочках... На Файгиню пышное шелковое пальто. Она сейчас, должно быть, смотрит на медную бляху носильщика и старается запомнить его номер.

— Знаю, Федор. Я на Курском вокзале ходил за кипятком в третий класс... До сих пор говорят: „третий класс"... Все смотрели на меня, на моем пузатом чайнике виднелся яркий такой розан.

— А вам не холодно, Сережа? Наденьте-ка мою тужурку.

— Нет, нет, не снимайте ее с себя. Ведь я с севера. Мне и так очень жарко, почти как на сеновале.

— Сейчас он пуст. Не помню, закрыли ли мы ворота? Вероятно, Фингал с Оссианом забрались туда и валяются на наших простынях. Угрелись, должно быть, проклятые.

— А как же он продал? Что, он очень нуждался в деньгах? В Москве, я видел на толкучке, бонтонный старик продавал свою никому ненужную звезду. Очевидно, он раньше был сенатором.

— Нет, Федор, тут другое. Я думаю, он потому так легко продал, что не любил ее. Это понятно, ведь этот астроном был профессионал. Пишбарышня с тошнотой снимает колпак со своей машинки: она знает, что шесть часов под ряд осуждена она щелкать, и сухой этот стук лучше, чем что другое, напоминает ей о тридцати трех одиноких годах, сколько бы она ни выставляла официально, что ей только двадцать восемь. Кабинетный человек с отвращением развертывает книгу, окруженный корешками солидных словарей. Так и этот астроном где-нибудь в своей Пенсильвании повернул рычаг, крыша павильона раздвинулась — и хоть бы какая-нибудь неожиданность! Нет, участок неба именно такой, каким ему полагается быть в этот час и в это время года. Скучное, знакомое лицо. О, если бы на нем прыщик вскочил или морщинка избороздилась. Вечная, подозрительная моложавость, хоть шестьдесят лет его наблюдай. И ничего космического, а скорее что-то косметическое... Знаете, говорят, будто Марья Федоровна себе эмаль пустила под кожу и вечной куклой, согбенной, но с шестнадцатилетним отливом крепкой своей кожи, появлялась на придворных приемах. Не хватало только золотого багета с выкрутасами, чтоб она была точь в точь похожа на свою олеографию, висящую в присутственном месте или в участке.

— Не знаю, — сказал Федор, — я не помню старого режима, мне было всего девять лет, когда он кончился.

— Да и я плохо помню, но я в кино видел: на каждом углу городовой. Вот, должно быть, страшно было ходить по улицам!

— А на Западе и до сих пор так. Вы там, в Петергофе, чувствуете Запад?

— Еще как! Подойдешь к морю, бросишь окурок' вообще всякую заваль, и приговариваешь: плыви, голубчик, в Лондон.

— Ну, Сережка, вы уж, кажется... А что же насчет астронома?

— Знаете, Федор, он, должно быть, тоже любил кино. Какие там кино-звезды! Теперь астрономы редко смотрять в телескопы: привинтят к объективу аппарат, — пусть себе вдоволь снимает небо. Оно и лучше, — фотография, во-первых, не врет, а во-вторых, ей никакая физиономия никогда не надоест. Небо — механический аппарат, ну, значит, для аппаратов и сделано. А астроном идет в бар, — в Пенсильвании их много, — там и фокстроты, и все, чего душа требует, а душа прежде всего требует денег. Тут что угодно продашь Ротшильду. На утро пришел в павильон, отвинтил кассетку, стал купать пластинку в ванночке, можно вдосталь мечтать о том, что на ней сейчас появится пушистый локон Глории Свансен, ее полотняная улыбка, виденная вчера в „Космосе"... Что вы, Федор, лезете всей пятерней мне в лицо. Так можно и глаз выколоть.

— На то и темнота, Сережа: я наощупь.

— Да руки-то у вас чистые ли? Пахнут почему-то дегтем и...

— И лошадью. Это от вожжей.

— А вы бросьте их, они мешают.

— Как же мы тогда доедем?

— По звездам. До изобретения компаса всегда так ездили. Видите, вот это Близнецы, Овен, Стрелец, Козерог, Рак, Эклиптика, Бойль-Мариот, Федор Стратилат...

— Что на него смотреть, эка невидаль. Я лучше на вас буду смотреть, ведь мы давно не видались.

И Федор приблизил свое лицо почти вплотную к Сергею, так что Федоров нос показался огромным и расплывчатым.

— Хватит, Федор, смотрите на дорогу, а то мы никогда не доедем. Берите-ка вожжи.

Сергей поглубже сунул руки в карманы и старался подавить дрожь, пробиравшую его от августовской ночи. Ехали уже какими-то безлесными местами. Полустепной дух веял вокруг шарабана.

Пальто у Сергея не было не только здесь, но и в Петергофе: он его продал, чтобы поехать к Федору, и сейчас он ясно чувствовал северную студеность этого далекого края, среди которого он разъезжал уже почти целые сутки. Федор однако говорил все невнятнее. Он засыпал неприметным для себя образом, что было немудрено: с самого раннего утра он не имел ни минуты покоя.

Сергей почуял совсем близко от себя запах кожаной тужурки Федора, потом что-то отяжелевшее склонилось на него.

Это безвольное, теплое тело продолжало держать вожжи, но само колыхалось при каждом толчке шарабана, довольно мирно, впрочем, одолевавшего дорожные ухабы.

Одной рукой Сергей придерживал уснувшего Федора, другой пытался высвободить вожжи и кнут. Сергею на выбор предоставлялось или разбудить измаявшегося, или взять бразды правления в свои руки, несмотря на полнейшую теперь темень и странное смещение всех звезд: Большая Медведица оказалась уже не справа, а слева, а Малую Сергей никак не мог найти, хотя усиленно щурил глаза и задирал голову кверху: очевидно, она где-то затерялась.

„Все уже прошло, — думал Сергей, — миновал первый мой тульский день. Если бы сейчас взошла луна, от меня и от навалившегося на меня Федора протянулись бы лишь тени по дороге. Скитаться мне опять по Петергофу, как тень, думать о том, что зарплату будут выдавать еще через четыре дня, следовательно, надо как-нибудь дотянуть и утешиться другим".

Тень взглянула на облетевшие листья — желтые, красные, медные, это напоминало ей самовары. Но просветы между деревьями были заполнены нетульской влажной дымкой... И по обе стороны от Тени спутники обсуждали актуальнейшую тему, не от наварцев ли происходит название Наварин? Мнения разделились: слева настаивали, что да, справа позволяли себе усумниться. Впрочем, это сражение при Наварине вряд ли обещало быть кровопролитным, и все шли мелкими шажками. Тени было неудобно молчать.

— Вот цвет наваринского дыма с пламенем, — указала она на затуманенные дали и близстоящий красный клен.

— Да, очаровательный Петергоф, не менее прелестный, чем рубатовский Петербург, — твердили местные петергофцы. Затем последовали приличные случаю цитаты. А так как уже приближались к фонтанам и статуям, то Тень тоже привела цитату:

— „Затеи сельской простоты", — и, глядя на водометы, прибавила: — Давно пора хотя бы переименовать Петергоф, как это сделано с Петербургом.

Тень почувствовала вокруг себя ветерок, — это спутники отскочили от нее. Как луна обращена к земле всегда одной стороной, так и петергофцы бывают обращены друг к другу постоянно лишь одним боком. Тень обнажила перед ними другой,

неожиданный свой бок, но спутники не хотели последовать ее примеру.

Чтобы доканать их, Тень стала напевать:

— „Помнишь ли ты тот напев неги томной, что врывался к нам в окошко полуночною порой? Ты внимала, к моей груди прислонившись головкой!"

Петергофцы взглянули на красную от осеннего холода лапу Тени.

Все сели у моря, миновав Монплезирский садик, уже опустелый от вынесенных оттуда кадок с пальмами, стоявшими там летом. Костюмы на всех были черные, как черный хлеб, и Тени от осеннего запаха гниющей воды, на берегу заваленной валежником и листьями, захотелось есть.

— Теперь не худо бы хлебца пожевать, — сказала Тень и бросила окурок в море. Стала швырять камешки в плоское море. Один из камешков потопил плававший окурок. Телега показалась в аллее, — это возчик привез новый груз хвороста и валежника, чтобы им окаймить берег. Парк, видимо, расчищали после лета. Лошадь поводила ноздрями от сырого морского духа.

Тень думала о том, как ездят верхом, и подбирала слова:

— Веселый, Блестящий, Сияющий, Жилистый, Среброхолкий и Быстробег, Светлоногий, Златой, Легконог, Златохолкий — то коней имена, витязей носят они.

— Ну, эта лошадь вряд ли их вынесет, — поправили его спутники, — ведь это почти что жеребенок.

Сергей потянул изо всей мочи, но, лишь только вожжи были высвобождены из рук Федора, тот внезапно проснулся и снова завладел ими.

— Фу, чорт, что вы делаете? Куда вы правите? Н-но, орел, в час до неба!

Зубы Сергея стучали от тряски и стужи, он боялся откусить себе язык. Федор теперь правил, привстав с места. Он махал кнутом, но в этой ночной неразберихе большинство ударов приходилось не лошади, а Сергею.

— Раз-раз, — стегал Федор, не замечая, что Сергей корчится от нечаянного этого бичевания и не может защититься, так как вцепился в шарабан, чтобы не выпасть.

— Ну, Сережка, бодрее! Довольно дрыхнуть! Н-но, ленивая! — и разрезвившийся Федор затянул: — „И в жар и в зной, и в час ночной".

Сергей подтягивал:

— „И не грубы, прямо в зубы кроссы твои".

Раз! — удар был особенно силен. Сергей не закричал, но почувствовал себя летящим по воздуху, с крылатыми руками, простертыми вперед. Твердого сиденья шарабана под ним уже не было. Потом его лоб и нос коснулись мягкой росистой травы. Это было совсем не страшно — внезапный ласковый этот полет.

— Файгиню сейчас потягивается, подъезжает к Туле и оправляет прическу... А вы живы, Сережа? — прозвучал Федоров голос.

— Жив, а вы?

— Я тоже.

— Но где вы?

— Я под шарабаном, на травке. Идите сюда.

— Я ничего не вижу.

— Идите на мой голос, — Федор громогласно продолжал петь:

„Он незаметно точит стрелы, удары их остры и смелы"... Так, так, Сережа, приподнимите этот край.

Федор вылез из-под шарабана. Лошадь с двумя передними колесами куда-то умчалась.

— У вас нет спичек, Федор?

— Были, но куда-то вывалились.

— Плохо наше дело, вот эти проклятые финтифлю...

— Чего вы злитесь, Федор?

— Как не злиться! Файгиню подумает, что я забыл о ней из-за вас. Посмотреть бы, цел ли у нас шкворень.

— А разве она знает о моем приезде?

— Да, я писал ей, то есть, конечно, тогда только предположительно.

— Ну, это еще поправимо, мы ей завтра все расскажем.

— Да, все, только про шарабан не надо: она будет волноваться, а ведь мы целы и невредимы. Есть однако хочется до смерти...

— Федор, друже, горемыка бедный, ой, не мешкай, молви, где у нас консервы?

— Там же, где и спички.

Сергей с Федором стали ползать вокруг шарабана. Брюки на коленях у них скоро промокли, ладони рук умылись росой. Наконец, взгромоздились на перевернутый шарабан, уселись плечо к плечу, покрывшись внакидку Федоровой тужуркой.

— Хорошо сейчас на дне дудки, — говорил Федор, — тепло, ниоткуда не дует.

— А поместились бы мы там вдвоем?

— Стоя, да, да и то было бы очень тесно.

— А я вот о чем думаю, Феденька, к чему нам теперь ехать на Куликово поле? Глядите вокруг: ничего не видно. Пусть это и будет оно. Знаете: „Пасти трупу человеческому на поле, пролиться крови на речке Непрядве“. Почем знать, может быть через пятьсот лет будут представлять в театре этот наш ночлег на Куликовом поле.

— Ну, я предпочел бы на сеновале.

— А вы прижимайтесь теснее, тогда и не будет холодно. Давайте вместе наблюдать рассвет.

Сергей шел по улице, около Пяти углов. Двухэтажный дом, где когда-то был ресторан „Слон“, напоминал ему Москву, главным образом тем, что стоял против пятиэтажного башенного модерна. Сергей повстречал знакомого, и оба стали обсуждать, куда итти, на Разъезжую ли, на Ямскую, или в аллею к цирку Чинизелли. Обменивались еще и другими соображениями:

— Как живешь?

— Ничего, помаленьку.

— Ну, а как там, все в том же положении?

— Конечно, что с ним станется. Ну, прощай пока.

Сергей проснулся одетым в Федорову тужурку, а сам Федор плясал вокруг шарабана и кричал:

— Взошло, Сережка, взошло!

В самом деле, все уже просияло солнцем: шкворень, о котором говорили ночью, лицо Федора с брызгами росы на носу, словно ему пора было высморкаться, ночные овраги, грозившие смертью, канава, в которой лежал шарабан, гречишное поле, розовое в этот час, лошадь с передком экипажа, щиплющая поодаль кусты, отдаленные многоцветные холмы, ясно-синий покров неба, коробок спичек на дороге.

— Что это там так блестит в колее? Находка! Это, конечно, шлем Осляби или Пересвета. Ведь тогда тоже был август, солнце так же всходило и шестьсот лет тому назад.

Сергей поднял серебристую консервную банку. Лошадь продавила ее копытом и через пробоину вытек весь томатный соус. Зато можно было ухватить краешек жести и в раскрытой, наконец, банке

обнаружить бычки, которые Федор и стал совать пальцами то себе, то Сергею в рот.

— А теперь надо согреться. Ну-ка, Сережка, в пятнашки!

С задетых кустов осыпáлась роса, первые птицы застрекотали: „О светло-светлая и украсно-украшеная земля Русская, оле жаворонок-птица, в красные дни утеха, взыди под синие облаки, посмотри к сильному граду Москве“.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

— Извини, Файгиню, что мы тебя не встретили на Куликовом поле. Это уж так вышло.

— Что же я, по-твоему, татарин, что ли? Да отчего ты такой бледный, Федя?

— Мы провели бурную ночь, Файгиню.

— Вот, вот, — вмешалась бабушка, — я из-за них тоже глаз не сомкнула; подлинно, что очень бурная ночь. А снилась мне змея: выглядывает из щели в полу и норовит выползти. Мы туда льем кипяток, и видно, что змея склизкая, точно ее керосином облили.

- А где же твой гость, Федя?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Сергей явился, прикрытый сеткой от пчел, со снарядом для окуривания в руках. Он только что помогал хозяйке осматривать ульи. Когда приподняли крышку, Сергей увидел соты — наверху пустые, предупредительно вставленные в улей, чтобы пчелы не тратили сил на изготовление воска, внизу же — полновесные, уже отягченные медом. Осовевшее от дыма многоногое пчелиное стадо мохнато копошилось. Цветочная пыль, пережеванная и отрыгнутая насекомыми, пахнущая коричневатыми их брюшками, желтой капелькой стекала из узкой, рациональной их пасти. Сергей с радостью узнал от хозяйки, что еще рано брать мед.

— Гостей у меня нет, Файгиню, — отвечал Федор, — а вот паразитов трудящих масс — много, позволь их тебе представить: Фингал, Оссиан, Сергей, Лобзай, — все мои приятели.

С одним из этой компании мать Федора поздоровалась за руку, от остальных отмахнулась.

— Ничего, ничего, я на вас и не смотрю, — говорила она Сергею, в замешательстве сдергивавшему с себя решетчатое свое забрало.

— Но, Федя, я не понимаю, как ты меня зовешь. Что это за гадость: Файгиню?

Федор взасос целовал затылок матери и теребил ее платье:

— Файгиню, не противься злу. Сама виновата: моды и робы, шелк, никаких рукавов, платье-рубашка, платье-бебе, мне бы его носить, а не тебе, мадам Файгиню. Недаром меня зовут Федором. Я от тебя вообще унаследовал букву „ф“, а Фингал, конечно, тоже из нашей фамилии.

Мать хлестала Федора по щекам, он начал ее подшлепывать, называя это „методами воспитания“. Дело кончилось фокстротом, в котором и неповоротливый Фингал принял посильное участье, но вскоре запыхался и исчез. Федор корчил рожи, изображая элегантнейшего фрачника, чему, впрочем, немало мешала жесткая его прозодежда.

Наконец, мать оттолкнула сына.

— Знаешь, в октябре премьера. Я буду петь Маршальшу. Приезжай непременно.

— Ладно, Файгиню, так и быть, контрамарка за тобой. Прихватим с собой и Сережку.

Сергей стоял поодаль, забытый. Бабушка, кряхтя, притащила начищенный самовар, но Федор отказался пить чай, торопясь на работу.

— Ну, пока, до приятного свиданья. Сергей — мой заместитель, он расскажет тебе про нашу тихую сельскую жизнь. Ты, должно быть, устала с дороги, вот он тебя и усыпит.

— А можно мне с вами на работу? — спросил Сергей.

— Нет, нельзя. Довольно уж вы вчера опростоволосились, оставайтесь дома: на что тэбэ баран, тэбэ есть Иван тэбэ не скюшно.

Федор, захватив с собой хрусткий огурец и малость хлеба, вскочил на телегу и ускакал.

На балконе чинно сели за стол. Сергей протянул руки к стакану, но сразу же отдернул их, так как мать Федора воскликнула:

— Что, горячо? Ничего, я на вас не обращаю внимания. Только почему они у вас так вспухли?

— Это от девушек, — бормотал смущенный Сергей, — вчера еще ничего, а сегодня волдыри, и даже кончики пальцев как будто онемели — отравление. Но это пройдет.

— Конечно, все проходит, Сергей Сергеич, но только, знаете, не надо давать рукам воли. Что же, они вам очень понравились?

— Да, очень. Правда, жаль, что Дуня утирается рукавом, а Феня так сильно потеет, но в общем все хорошо, Лямер.

Что такое?

Простите, это вчера мы с Федором условились вас так не называть.

— Ну, знаете, если уж на то пошло, то и вам надо придумать прозвище, Сергей Сергеич. Как бы мне вас называть? Федор ничего для вас не придумал?

— Нет.

— А вы для него?

— Тоже нет. Проще всего какое-нибудь сокращение, теперь это вообще в ходу.

— Отлично. Я вас буду называть Эсэсом. Согласны?

Сергей помолчал с минуту, потом произнес, помешивая ложечкой несуществующий в стакане сахар:

— Да, я согласен. А Федора назовем Эфэфом?

— Нет, не стоит. Про себя я его обычно называю „неприкаянным ангелом". Заметили вы его походку? Голова почему-то свешивается вниз, словно ему тяжело от невидимых крыльев. Иногда он в задумчивости кладет руку на грудь. О чем он тогда думает? Должно быть, о преферансе. Но, однако, мы отвлеклись. Скажите, кто же из них всех красивее?

— О! — отвечал Сергей, — здесь есть одна: вообразите себе молнию, когда, изламываясь средь черных туч, она разом освещает землю, когда столетние дубы трещат и разом валятся с ног, когда белизна кудрей, смешиваясь с...

- Короче, — перебила Лямер, — как зовут эту Иннезилью?

Леокадия, мы с Федором до смерти увлечены ею.

Вот как, стало быть, вы соперники. Смотрите, чтобы не было пролития крови. Вы знаете, Эсэс, что такое обыгрывание предметов? Режиссер не должен ставить на сцену ничего, что по ходу пьесы не было бы потом обыграно. Этот балкон, на котором мы в вами пьем чай, или вот этот тульский самовар, стаканы, — все это составляет реквизит нашей пьесы... Ты что, паразит трудящих масс, хочешь хлебца? На, получай, — бросила Лямер

кусок подошедшему псу. — Если этот брюхатый Фингал появился на сцену, его тоже нужно обыграть как следует, иначе незачем ему появляться.

— Осторожнее, — сказал Сергей, — смотрите, как бы он вас не обыграл слюнявой своей пастью.

— Но интереснее всего, — продолжала Лямер, — игра с теми предметами, которых нет. У нас ставили одну пьесу вовсе без реквизита. Первый любовник искусно фехтовал отсутствующей шпагой, ее несуществующая рукоятка была плотно охвачена его рукой. Мнимое острие вонзилось в грудь поверженному противнику и, пройдя насквозь, показалось из спины. Не в силах вынести страшного этого зрелища, я закрывала себе лицо небывалым черным покрывалом, потом отбрасывала его и брала в руки полновесное воображаемое яблоко, делая хроматическую гамму вниз. Оно было отравлено, я знала это, и трепет исходил из него, проникая в меня. Смотрите: вот сейчас у нас с вами нет сахара, очевидно, у Федора паек не велик. Видите, как я насыпаю сахар из мешочка в сахарницу, беру две, нет, три чайных ложки и пью сладкий этот чай. О, каким сладчайшим становится мое лицо, — это оттого, что мне уже давно хотелось сахару. Хотите и вы? Вот и вам три ложки. Подождите, прежде чем пить, хорошенько размешайте.

— Все это так, — отвечал Сергей, — но эта сладость лишний раз напоминает мне жестокую Леокадию. Если она актриса, то у нее есть один-единственный недостаток: вероятно, она уроженка Западного края, поэтому произносит „ч“ твердо, а порою, избегая польского ударения, смещает его и вообще с предпоследнего слога: здесь так скучно, так скучно̀, не с кем общчаться, одно сплошное кулаччйо.

— Это ничего не значит, — возразила Лямер, — в старых оперных либретто частенько бывают нелепые слова... А с Леокадией я познакомлюсь непременно... Но я вижу, вы в затруднении, о чем со мной говорить. Тогда давайте помолчим, послушаем, о чем это говорит моя бель-мер с хозяйкой.

Бабушка, откушав три чашки чая, работала. Она уже успела распороть шляпу, в которой приехала Лямер, и стала шить ридикюль из ее шелкового дна. Хозяйка, положив гладильную доску на край сундука и на стул, вынимала из корзины сморщенное, скатанное белье и попутно сообщала мирандинские новости: кто неладно живет с отцом, у кого корова пала, кто с кем путается. Сравнивала со старым временем: кто к церкви на тройке подъезжал, кто из здешних помещиков тащил к себе в дом баб, кто обыгрывал своих лакеев в карты, кто картошку себе на обед выдавал счетом, у кого дочь, естественное дело, застрелилась, а другой сын служил фабричным инспектором. Оказывается, были здесь помещики и из поляков: пан Должевский ревмя ревел, когда читал польские стихи, впрочем, этой же книгой с польскими стихами бил свою жену по загривку.

Бабушка слушала, так как нельзя было не слушать, но, впрочем, не особенно разделяла радость хозяйки и больше увлекалась своим рукодельем. Сергей понял, что все это говорилось для Лямер, с расчетом на долгие с нею излияния. Но та сидела молча, задумавшись, и ничем не поддакивала хозяйке, которая настойчиво водила утюгом, а время от времени брала в рот воду и шумно прыскала на засохшее, закорузлое белье. Хозяйка бранила баб, неистовей ходил утюг в ее полных руках, и на сорочке получилось коричневое прожженное пятно.

Сидящие на балконе услыхали, что в сельсовет и ходить нельзя, потому как там сидит сельсоветчица, а с бабой всегда поругаешься. Прозвучало энергическое „не в лоб, так по лбу“, слушатели узнали, что сельсоветчица умеет хорошо искать в голове, у нее и специальный деревянный гребень заведен для разгребанья волос, но что, впрочем, хозяйка ненавидит белье и что, известное дело, молодым людям все занятно.

Наконец, Иса Макаровна, помахивая утюгом, подошла вплотную к Лямер. Та вскинула на нее голубые свои глаза, но все еще молчала. Тогда хозяйка, не выдержав, произнесла:

— Я сирота и была на воспитании у здешней помещицы, царствие ей небесное, хоть и кровопийцей была. А нынче, славу богу, церковь падает, у детей и то никакого нет почтения.

Дальше последовало много быстрых слов насчет религии: дети взгромоздили на стол табуретку, сняли иконы и стали играть ими, будто ходят друг к другу в гости. Обратная сторона икон оказалась пыльной, и ошалевшие, перепуганные тараканы метались там.

— Вот, нарочно, моя Варвара-великомученица приходит к тебе в гости и говорит: „Не взыщи, что я пыльная: прямо с поля, обчиститься не успела“. А мой Никола, нарочно, ей отвечает: „Плевать! Мы и сами пыльные, славу богу, не хуже вас“. — „Нет, я пыльнее!“ — „Нет, я пыльнее!“ И, нарочно, наскочили друг на друга и ну ругаться. А у моей Варвары оклад крепкий, она им и зацепи Николу по морде. А тараканы это, нарочно, Варварины ребятишки: семья большая, а хлеба мало; муж ее, нарочно, бросил и с богородицей путается. А Варваре жаль таракашек, она как заревет, а тут, на-

рочно, боженька приходит и на нее окрысился: „Не реви, дура, я те пореву; да нос утри, наказанье мне с тобой". Бабка ахала, умоляла оставить иконы. Тогда дети подбегали к окнам и угрожали их разбить. Ребро иконы уже касалось стекла. Бабка смирялась и тихонько плакала в уголке. Слезы ее капали на всполошившихся тараканов.

Лямер и на это ни слова не ответила хозяйке. Та в заключение прибавила:

— А только мы — рабочие люди. Нам некогда разговоры разводить. Извините, если чем не угодили, — и проследовала на кухню. Высунув оттуда голову, она крикнула: — А платье-то где стирать будете?

— Я сама, — ответила Лямер, — это работа нетрудная. До консерватории я многое испытала в жизни и не боюсь никакой черной работы. Если б у меня не было голоса, почем знать, может быть я была бы уборщицей, прачкой, курьершей. Иногда, раскрыв рот, я смотрюсь в зеркало. Мне хочется увидеть мои голосовые связки. От них у меня все: заработок, успех, даже Федор, так как модный тенор вряд ли женился бы на мне, не будь у меня голоса. Когда он пел выходную арию герцога: „Если мне полюбилась красотка, то Аргус сам не усмотрит за ней", тысячи Аргусов из зрительного зала смотрели на стройные его ноги, обтянутые белым шелковым трико. Мне завидовали, в Рязани меня даже называли „синьора Стратилато". Теперь все это в могиле: умелое филирование звука, фиоритуры и теноровые ноги. Лишь трико я храню вместе с нашими подвенечными свечами и флер д'оранжем.

Лямер понизила голос и наклонилась к Сергею:

— Вам нравится бабушка? Она о вас самого лучшего мнения: говорит, не успела намекнуть, как уже вы ей одеколон подарили. Она хорошая, моя бель-мер, но, сказать откровенно, не люблю я старух: могилкой попахивает. Нет, „быть свободной, быть беспечной, в вихре счастья мчаться вечно и не знать тоски сердечной“.

Лямер вместо бокала подняла стакан с золотистым чаем.

— Нет, — сказала она, — не подходит; для этого надо быть в длинной, пышной юбке с оборками. Я вообще против нынешних мод. Как нам холодно бывает зимой, сколько ревматизмов. Это все вы, мужчины, виноваты, вы их сочинили для нас. Понимаете, Эсэс, была империалистическая война, скопление огромных армий. Вы были, Эсэс, на фронте?

— Как будто бы нет, но можно считать, что был.

— Ну да, ваше поколение все выросло под артиллерийским огнем. Окопы, снаряды, халупы... И вот, Эсэс, посмотрите-ка на модную послевоенную парочку где-нибудь издали, например, на улице; он сохранил еще костюм девятнадцатого века: длинные брюки и прочее, оттого он и серьезен; но она-то как одета? Это трико моего мужа: у нее ноги открыты, даже колени, юбка-кургузка, почти мужское пальтишко, стриженая голова, маленькая шляпка, словом, костюм пажа, какой-то шестнадцатый век или что-то в этом роде. Мода требует плоской фигуры. Где широкие бедра, сулящие плодородие, где груди, отягченные молоком? Фокстротирует этот двусмысленный ангел, забыв о длинных, ниспадающих складках женских одежд. Но, я думаю, моды эти пройдут вместе с военным угаром.

Так рассуждала Лямер, а Сергей мысленно ходил тем временем во вчерашнюю рощу, но уже не с Федором. Когда взошли на горку, конечно, встретили девушек. Они с любопытством посмотрели на Лямер, вернее, на ее платье. Ни одного узора, никаких анютиных глазок не было на его гладкой материи. Осведомились, в каком состоянии руки Сергея, но он сунул их в карманы и перевел разговор на другое. Предлога не надо было и придумывать: девушки сидели в ряд на бревне, понурые, тоскливые. Черная Дунина челка была даже не завита.

— Уехал? — спросил Сергей, — вы грустите? Спойте по-вчерашнему — это было хорошо.

Но Феня, Дуня, другая Дуня и Домаша, вместо ответа, смотрели вдаль: за далеким бором таилась Тула, расплывчатая, так как в воздухе парило. Кулацкая деревня была зато вполне различима, с виду, впрочем, совершенно невинная: кирпичные избы, овины, хлевы, изгороди.

— „Я на горку страдать вышла, чтоб милому было слышно. Пройду Тулу, пройду город, сидит милый, вышит ворот, — зайду к милому в мастерскую“, — начала Дуня. Девушки переглянулись, зашептались: страдательные песни страдательные песни.

Разделились, как и вчера, на два стана и запели попеременно:

— „Нас страдали семь подруг, но сказали на нас на двух. Дорогой ты мой товарищ, расскажи, по ком страдаешь. Поверь, милая подружка, от слез мокрая подушка. Давай, милый, пострадаем, какова любовь узнаем“.

— Еще, пожалуйста, еще, — сказала Лямер, которая слушала очень внимательно. — Но по ком вы страдаете, кто уехал?

— По Федоре, — шепнула Дуня, закрасневшись. Лицо ее смотрело страдальнее, чем у всех.

Но он здесь, никуда не уезжал. Если вы хотите его видеть, идите пить чай к нам. Эсэс вам расскажет о красоте Леокадии.

— Вот она страдает, ей есть с чего, — рассмеялась Дуня, — а нам плевать, наше дело сторона.

Феня, подмигнув Лямер, закружилась, раздувая юбку:

— „Страдатели, страдатели, не давайте знак матери. У меня страдатель новый, мил ты мой, король бубновый, а еще страдатель Мишка — лет семнадцати мальчишка".

Феня бежала впереди всех, Лямер с Сергеем тоже понеслись вниз под горку. Все запылились. На ходу Сергей объяснял Лямер, чтоб она не запуталась, что здесь целых три Федора: Фильдекоса тоже зовут Федором, а кроме того есть и так называемый другой Федор, рабочий. Лямер в ответ только смеялась.

Конечно, здесь на деревне может быть хоть десять Федоров и десять Сергеев, неужели вы думаете, я не отличу, кто мой сын и кто его приятель?

Лямер, кончив пить чай, и в самом деле смеялась:

— Однако это забавно вышло, Эсэс: я ведь хотела разузнать все о вас, а разболталась о себе. Правда, Федор писал мне, но всего две строчки, я не могла понять, чем вы живете.

— Синьора Стратилато, — отвечал на это Сергей, — вам, конечно, известно, чем живут итальянцы: они занимают друг у друга.

— Нет, Эсэс, серьезно, какая у вас профессия?

— Я машинист.

— Неужели? В поезде, дорогой сюда, я много передумала, но этого никак не предполагала. Скажите, с вами не опасно ездить?

— Лямер, вы в заблуждении. Я восьмое чудо света, украшение нашего Союза, я единственная пишбарышня мужского пола и служу в конторе петергофских дворцов-музеев.

Лямер нахмурилась:

— Но как дошли вы до жизни такой?

— Путем образования. Оно у меня необычайно тонкое: я специалист по древне-исландской литературе, порхаю по цветочкам культуры и не могу найти себе применения. Если б еще по норвежской, было б легче, Норвегия страна крестьянская, главный город — Осло.

— Вот как, — сказала Лямер, — а со здешними крестьянами вы познакомились?

— Еще бы. Одно сплошное кулачье, как говорит Леокадия.

— Эсэс, опять обыгрывание? Погодите, Леокадию я сама обследую. Вообще имейте в виду, что этот второй день вашей тульской жизни будет женским. Вчера вы уединенно проводили время с Федором. Сегодня — оживление, все лампы зажжены, механик наводит рефлектор, и в ослепительном блеске на сцену выходим мы, женщины. В середине первого акта мы подъехали к театру, пустынными переходами прошли в свои уборные, на мгновенье мелькнула нам сцена звуками оркестра, теплом, пением, работой. Стоящий за кулисами намалеванный куст показывает холстинную свою изнанку и деревянную перекладину. Мы видим колосники, плотников и молотки. Но нам нет дела до первого акта. Мы гримируемся, одеваемся. Сейчас начнется второй акт, колоратурная ария королевы, женский хор

и балет. Светские франты приезжали обычно прямо ко второму акту, смотреть на нас.

— Не знаю, — возразил Сергей, — я лично приехал акуратно к первому действию. Вообще я не люблю опаздывать на спектакль.

— По-моему, — сказала Лямер, — я тоже поспела во-время. Да вы представьте, Эсэс, что было бы, если бы примадонна запоздала: занавес давно поднят, сыграно вступление, хор пропел, мужчины исполнили свои речитативы, а ее все нет, как нет. Томительная пауза замечается даже слушателями. Дирижер, чтобы спасти дело, дает знак оркестрантам играть то, что они знают наизусть. Публика перестает роптать и, вставши, слушает. Те, кто не успели перед театром прочесть вечернюю газету, начинают думать, что в ней сообщаются важные политические новости. Наконец, примадонна, наспех загримированная, выбегает впопыхах на сцену. Румянами замазан у нее нос, бровей вовсе нет, так как она забыла их подвести, тесный ренессансный лиф нацеплен поверх современного короткого платья. Высокий воротник болтается на спине. Все понимают, что королева действительно в страшном смятении... При получении зарплаты Маргариту Валуа штрафуют за опоздание, но режиссер хлопает себя по лбу: его осеняет мысль, — только в таком виде королевы и доходят до современного зрителя. Следующая его постановка вся выдержана в таких тонах... Ну, что, Эсэс, кажется, Федор прав: на что тэбэ баран, тэбэ есть Иван.

Лямер сошла с балкона и остановилась, освещенная солнцем.

— Как сильно бьет мне в глаза эта рампа. Я ничего не вижу. Надо мной синева, полуденный мрак неба. Это разверзтый зрительный зал, откуда

на меня несет настороженным теплом смутной толпы, ждущей первых моих экуков. Оркестр между нею и мною строит снизу из своей норы звучащую изгородь до самого потолка. Сквозь этот частокол должна я продраться туда, к тем, для кого я существую, и вот я бросаю им через забор первую свою, еще дрожащую ноту.

— Разве вы до сих пор волнуетесь, выходя на сцену?

— Еще как! Всегда. Даже сейчас. Но я люблю самый этот момент выхода на сцену.

Лямер простерла привычным оперным жестом руку, указывая на темный купол неба. Светлые ее волосы горели на солнце. Глядя воспаленными глазами прямо наверх, она взяла вступительную ноту, которая начинала мелодию, для Сергея незнакомую.

Неизвестно, остались ли довольны слушатели, сидевшие там, в темном небесном зале — конечно, в первых рядах те, у кого ставки побольше, кто уже с лысиной, хотя и про них нельзя было с уверенностью сказать, что они ежедневно обедают, а на галерке — юные, визжащие, впрочем, и те и другие с профсоюзными билетами. Чуть только в пении встречались промежутки, заполненные оркестром, сейчас же раздавались приглушенные разговоры:

— Мария Петровна чудные достала чулки из-под полы.

— Скушайте конфетку. Я случайно достал две штуки.

— Спасибо, я ее лучше возьму домой: у нас ни крошки сахара.

— В антракте, Петя, не зевай: надо первыми попасть в буфет, чтобы застать пирожные. Я нарочно и платье одела похуже: все равно изомнут

у прилавка, как ринутся к бутербродам с сыром. Коробку-то не забыл? Говорят, по три бутерброда продают. Дети ведь ждут, не спят.

На лбу певицы выступила испарина. Кончив, Лямер стояла в позе, естественной при аплодисментах. Но все молчало, даже Сергей.

Внезапно хлынул дождь, совсем летний, удивительный для августа месяца. Падали серебряные гвозди, шляпками вниз. От свежести, прохлады и веселого падения капель растерянность Сергея прошла.

Предварительно он еще раз взглянул на Лямер, поспешно взошедшую на балкон, и сказал:

— Хорошо! Браво! Теперь я вам расскажу о себе. Прежде всего — я коренной петергофец. Там есть дворец Марли́, уютный белый домик, „Домик Ма́рли", как говорят в Петергофе. Знаете, бывает „Дом Книги", так это „Дом Ма́рли". Едва я вошел в нижнюю его залу, как снаружи все затянулось беловатым мелким дождем. Гулкий каменный пол отдавал мои шаги. Никаких посетителей, кроме меня, не было. Зала эта при Петре служила для склада садовых орудий, собранных плодов и ягод. С ней рядом — голландская кухня, в которой хорошо было бы сидеть и читать пятый том неторопливого романа. Каплуны жарились бы на вертеле, тарелки с синеватыми разводами уже расставлялись бы на столе. Все садились бы и ели, каждому на завтрак полагалась бы целая курица. А потом еще и обед и ужин. Я подумал, что в наше время мне на весь день хватило бы куриной ножки или крылышка.

— Не эфирничайте, пожалуйста. При вашей комплекции вы, наверное, съели бы, ну, скажем, полкурицы, — заметила Лямер.

— Нет, уверяю вас, что потом я поднялся во второй этаж. Там тоже было пусто. Сеня Ларионов честно отбывал свое дежурство посреди петровских стульев, у шнурка, который преграждал доступ в резной кабинетик Пино. Если перегнуться через шнур, то увидишь на столике, в стеклянной коробке, лошадиный зуб, вырванный у какого-то вельможи самим Петром. Мы ходили с Сеней под руку по всем комнатам второго этажа, видели гардеробную, дырявый плащ и огромнейший халат, а на стенах потускневшие картины. „Знаете, Лесной—это под Ленинградом,—объяснял мне Сеня,—туда идет трамвай номер...“ Можно было различить беловатый, в яблоках, круп лошади, пунцовую куртку солдата, отчетливые листочки на ветке дерева, заслонявшего центр битвы... Потом мы смотрелись вместе с Сеней в зеркало. Лишенные амальгамы, темные, уже ничего не отражающие, восемнадцативечные его пятна приходились Сене среди носа. Он смеялся, отказывался от конфет, уверяя, что музейные работники уже закормили его до отвала и что сегодня он уже одолел целый фунт леденцов. Все же он сгрыз несколько шоколадных кофеинок, рассказывая об антирелигиозном спектакле у них в школе и о том, что ему, как восемнадцатилетнему, дали играть роль попа: приклеили коричневую бороду и небольшие рожки. Через открытую на балконе дверь видна была в парке белая ваза и неразборчивые деревья, затянутые смягчающей марлей. Когда же, наконец, дождик перестал, мы попробовали подняться с петровских стульев, но это оказалось не так-то легко: мы приклеились к допотопной их коже. Сеня объяснял, что это нам в наказание за то, что мы нарушили правило: на музейные предметы нельзя садиться. Я спускался по закругленной дубовой

лестнице. На потемневшем потолке ничего нельзя было разобрать, кроме вытянутых ног и розовых пяток суетящегося небесного мира. А Сеня с верхней площадки смеялся и махал мне рукой... Дома, взглянув на стену, я обнаружил, что провел не менее трех часов в этом „Домике Мàрли“, и почему-то у меня во рту было такое чувство, будто мы с Сеней, арестованные дождиком, болтали все время не по-русски, а по-голландски, или, на худой конец, по-английски.

Выслушав рассказ Сергея, Лямер заволновалась:

— Ах, Федор, Федор, он сейчас в поле. Промокнет, бедный.

— Ничего, — утешал Сергей, — Федор спустится в дудку, сверху его прикроют щитком, он будет слушать, как стучит дождь по деревянной крышке. Там хорошо петь, труба высотою в тридцать метров — отличный резонатор.

— Пусть так, но остальные рассказы еще за вами. Я буду их нумеровать. Сейчас был номер первый.

Лямер задумалась, машинально перебирая клочковатую шерсть Лобзая, где заметно бегали блохи.

— Все бежит между пальцев, все, за что мы хватаемся, распадается, все расплывается, словно пар. Ищи прошлогоднего снега! На самом деле, как это могло быть, что я была маленькой Рэзи? Скоро будут говорить: „Смотри, вот идет старушка Рэзи“. Время, Квин-Квин, это удивительная вещь; оно течет между мною и тобою, безмолвно, как песочные часы. Нередко я встаю среди ночи и останавливаю все часы. Надо быть легкой, с легким сердцем, легкими руками держать и брать, держать и отдавать... Октавиан... Бишетт... он уже взрослый — Федор... Федор...

— Я это знаю, сказал Сергей.

— Разве? Но это еще не шло в Москве, хотя оркестровые репетиции уже были.

— Нам с Федором очень понравилось.

— Ах, да, ведь вы из Ленинграда.

— Извините, из Петергофа.

— Извините, я забывчива. Повидимому, я старею. Нельзя этому поддаваться.

— А сколько же вам лет?

— Ай-ай-ай, Эсэс. А еще бабушка считает вас воспитанным. Нам никогда не бывает больше двадцати девяти: шесть лет под ряд нам двадцать шесть, столько же — двадцать семь. После того как нам исполнилось двадцать девять, счет ведется в обратном порядке — снова наступает двадцать восемь, и так до бесконечности.

— Но ведь Федору, — настаивал Сергей, — не сегодня-завтра стукнет двадцать два, как ни считайте, — и по юлианскому, и по грегорианскому летоисчислению.

— А вам сколько? — перебила Лямер.

— Мне двадцать шесть.

— Ну, значит, мы с вами ровесники.

Лямер резво закружилась по балкону, но споткнулась и упала бы с неровных досок ничем не огражденного балкона, если бы ее не поддержал подошедший. Лежа ногами еще на балконе, а плечами и затылком на том, кто ее держал, Лямер, не поворачивая головы, успела закончить свою арию. Потом встала, оправила волосы и оглянулась. Произошло обоюдное смущение. Подошедший, впрочем, бормотал:

— Ну и песня, а о чем в ней говорится, о народе?

Чтобы дать время оправиться здоровающимся, Сергей стал переводить: „Говорил я давно, под души-

стою веткой сирени стало душно невмочь, опустился пред ней на колени".

— Ах, — отвечал кооператор, — со вчерашнего дня Сергей Сергеич мой лучший друг. Неразговорчив, сосредоточен в себе, как все студенты, но с ним не скучно. Главное, чувствуется свой человек. Жесты у него скупые, а выразительно выходит, вроде как в кино, когда ей труп принесли, и она только пальцем повела, да бровью дрогнула. Не без слабостей, понятно, да ведь каждая женщина—это особый мир. Но об этом я в вашем присутствии молчу, сударыня, и присоединяюсь к вашему салону на балконе. Слышьте, я летел к вам на крыльях, с поручением.

Спина кооператора в самом деле выглядела темнее, чем остальная рубаха: видимо, он бежал, согнувшись, и дождь замочил его только с одной стороны.

Лямер взяла протянутую записку и развернула ее.

— Вы позволите?

— Читай, читай, чего там. Да я и без того знаю, что написано. Ну и женщина же, я вам доложу, — пальчики оближете. И образованная: окончила не то что какие-нибудь там ступени две или три, а по всей прошлась, так сказать, лестнице. Сам-то я, увы, не могу пойти, селедки надо выдавать.

Лямер стала читать письмо вслух, скороговоркой (Герман читает записку Лизы, сцена в казарме). Кончив, Лямер спросила:

— Далеко ли итти?

Кооператор подмигнул на Сергея:

— Он дорогу уже знает, тоже ведь не дурак. Красота, а не тяжелая, я ведь ее прикинул на вес.

Последние слова относились к Лямер, отошедшей в сторонку оправить волосы. Бабушка стала

потчевать кооператора чаем. Вскоре выяснилось, что кооператор ее отлично помнит: она ходила в церковь в Козихинском переулке, где он пел мальчиком в хоре. Стали подсчитывать, сколько кому годов, и сколько лет тому назад это могло быть. Потом разговор перешел на здешнего отца Александра и на ветхозаветных праотцев. Оказалось, что Авраам, человек великой решительной души, жил сто семьдесят пять лет, Исаак — сто восемьдесят, Яков, друг мира, — сто сорок семь, воин Измаил — сто пятьдесят семь, а прекрасный Иосиф,—всего сто десять лет.

— Красота-то, видно, даром не проходит, — заметил кооператор.

Бабушка забеспокоилась о Федоре. Кооператор утешал ее, что пророки живут и еще меньше: Илья — девяносто лет, Симеон — восемьдесят, и что вообще бывают исключения.

— Вот ваша красота еще тогда, в Козихинском, меня поразила, даром что я тогда еще мальчонком был. Крестное знамение вы уж больно красиво на себя клали, грудь пышная, чело суровое, а кругом свечи, золото мерцает, клубы ладана.

— Какая тут красота, — затрясла бабушка головой, — мне и тогда уж лет пятьдесят как минуло.

— Ничего, Сара на сто двадцать седьмом году родила сына, — протестовал кооператор. — А вы чего оживились, как о женщинах речь зашла? — похлопал он Сергея по плечу.

— Я больше насчет актрис, — отвечал тот, не замечая нахмурившуюся Лямер. — Вот Луцейа на сто двенадцатом году своей жизни еще выступала на сцене. Обнимая ее, Авраам не знал, зачинает ли он сына или входит в беззубую, пахнущую хлородонтом, могилу, а танцовщица Коппала, спустя

00064771

девяносто лет после своего первого дебюта, с букетом цветов приветствовала Помпея.

— Да, это верно. Медынцовой тогда тоже вряд ли могло быть меньше сорока, но, понимаешь, разные эти трико, сцена, а, главное, правильный образ жизни. Какая вообще, по-твоему, картина человека, предназначенного к долгой жизни? Его родители должны быть здоровы. Вот отец и мать у меня мерзавцы, а вообще сложен он пропорционально, среднего роста, цвет лица ни бледный, ни красный, волосы скорее светлые, чем черные, голова не слишком велика, округлые плечи и живот, полные щеки, полная гармония во всех частях. Он открыт чувствам надежды, в самом, что называется, соку, чужд расчета, зависти и гнева, любит тихие размышления, настроен против черни, лет сорока, значит, молод, друг наук и народа, оптимист. Что, разве не похоже?

— Похоже, — подтвердил Сергей.

— А прекрасная у вашего приятеля мать, прямо бель-мер. А что она в деревню приехала, так одобряю: жизнь в деревне, среди деревьев, продолжительнее, чем в городе. К этому тополю, наверное, еще помещик прислонялся, то-то он грустит листочками. Только бы пережить, только бы пережить! — твердил кооператор, глядя на осенние караваны птиц, треугольником черневших в небе: — Счастливые, они уже летят. „Голубка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенство“... Давайте, сударыня, улетим, — обратился кооператор к бабушке. Та отвечала на это так:

— Неужто вам не жаль ничего здесь оставить? Значит, уж не молоды, а хорошо лежать в могилке, когда сверху каплет дождик. На здоровье не жалуюсь, желудок исправен, все у нас в семье по-хоро-

шему. Мелкие неприятности не в счет: вот Федор запретил мне принимать отца Александра.

Лямер при этих словах ушла в комнату отдохнуть с дороги, видимо, полагая, что течение разговора обеспечено и без нее. Бабушка продолжала:

— Федор говорит, кого хотите, а попов не допущу. Или вот сахара нет, мухи, грязь, ребятишки сопливые. Надоело мне здесь. Хозяйка наша спит, не раздеваясь, на постели с двумя детьми и четырьмя котятами. Как она еще их не задавила во сне! Впрочем, и это ничего, а только, знаете, каждый год весна, зима, лето, осень, каждый день то ночь, то день. Одеваться надо, раздеваться, обедать. Что чай с сахаром, что без сахара — один вкус, с детства его знаю. Поесть бы чего-нибудь новенького, неиспробованного. Вот никогда не была ни лакомкой, ни обжорой, а теперь думаю: авось, на том свете поем чего-нибудь вкусненького. Полон рот наберу и начну жевать, словно в детстве шоколад. Непонятно, как можно сто девяносто лет на свете прожить. И за половину-то времени соскучишься. В церкви, как начнут читать часы, думаешь, хоть бы времени вовсе не стало и никаких часов тоже. Церковный староста хотел мне в уголке стульчик поставить, да Федор его от нас вытолкал. Не будь Федора, у нас бы жизнь была невмоготу скучная. Разве что привыкнешь жить, вот отвыкать и трудно. Я, хоть старый человек, а ко всему нынешнему из-за Федора привыкла, со всем согласна. Румяный он у нас, волосики и до сих пор пушистые. Иной раз мне хочется его, будто маленького, в корытце искупать, чтоб он глазенки зажимал от мыла.

— Да что же ты мне не сказала, что сахару у вас нет, я думал, у вас чай нарочно такой, для

здоровья. Разве сделать для вас, в память Козихинского: для милого дружка и сережка из ушка. Прикажи-ка ты Федору ко мне зайти.

Сергей, сидевший поодаль с книгой в руках, вздрогнул, услыхав свое имя.

— Дайте мне сахару хоть сколько-нибудь. Ну, например, сто десять пудов, — сказал он на ухо кооператору.

— Вот уважишь Леокадию, брат, по-нашему, по-студенческому, так я тебе, может, и двести отвалю, смотря по заслугам. Она мне сама скажет, — также шопотом отвечал тот.

„Удивительно, он совсем не ревнует“, подумал Сергей.

— Слушай, брат, вот тебе мой совет: производительные силы трать как можно больше; не считай ночей, потребляй горячащие напитки, кури; побольше огорчений, забот и горя. Запомнить легко: если хочешь пережить, поступай как раз наоборот... Однако мне пора. Норвежские селедки! Ну, господа, счастливый путь вам. Желаю успеха, — подмигнул кооператор Сергею.

Он убежал, и в тишине стало слышно мерное падение цепов: Макар и Устинья молотили на маленьком току подле дома. Устинья была примечательна своей лысиной, видимой сквозь зачесанные редкие волосы, и любовью к мужу, которому она то и дело советовала отдохнуть. Макар когда-то привык считать себя богатым. Теперь он молотил с таким видом, словно бил по ненавистным, обманувшим его керенкам. Единственные слова, слышанные Сергеем от него, были такого содержания: „Этого у нас, господин, нету: в кусты ходим“.

— Довольно прохлаждаться, идемте, — сказала Лямер, взглянув на часы.

По дороге обменялись поклонами с дьяконом, которого выгнала из дому жена. Когда он приподнимал черную свою соломенную шляпу, блеснуло на солнце золото обручального кольца. Подле кооперации повстречали вчерашних девиц. Они действительно выглядели устало. Сергей стал утешать:

— Я знаю, я сам страдаю от одиночества. А вы не думайте, Фильдекос вас помнит, велел вам привет передать: говорит, ввек не забуду, и на то лето обязательно сюда приеду, так что, видите, все хорошо.

Сергей переводил глаза с Дуни на Феню, на другую Дуню, на Домашу, стараясь угадать, к кому из них мог в особенности относиться выдуманный им привет Фильдекоса.

— Да мне плевать на него, — сказала Феня.

Дуня только вздохнула.

— Вы страдаете? — обрадовался Сергей. — Лев Толстой прав: сколько страданий на свете.

— Я страдаю оттого, — говорила Дуня, — что мне не дали командировки в вуз. Счастливица Феня: осенью она будет в Москве практиковаться с Фильдекосом. А тут оставайся, возись с сопливыми ребятишкам, настанет непогодь, распутица.

— А вы отчего не страдаете? — обратился Сергей к счастливой Фене.

— Я не страдаю оттого, что получила командировку. Хорошо, должно быть, в вузе: вечеринки, гулянки. А страдаю я, что нет у меня шелковых чулок. А еще я страдаю, что мой Николай-угодник останется здесь и будет путаться со всякими.

— Ну ты, Фенька, меня не трожь, сама ты „всякая“, — оживилась Домаша.

— Да не про тебя речь: охота ему с тобой путаться.

— А, может, и охота? Чем я тебя хуже?

— А тем хуже, что собой не вышла.

— Ай, как я страдаю, — вопила Домаша, — что у меня на губе родинка. Пробовала ее сводить уксусной эссенцией, ничего не вышло, только себя раскровянила. А еще я страдаю оттого, что всякая дрянь надо мной измывается.

Девицы уже готовы были вцепиться друг другу в волосья. Визг во всяком случае уже раздался. Под воздетыми руками протемнели подмышки: от жары пропотел узорчатый ситец. Двери кооперации внезапно с шумом распахнулись. Кооператор выбежал, отдуваясь. Его глазам представилась растрепанная картина.

— Девки, брат мой, усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой! Не падай, стерва, тебе говорю, не падай и не щиплись. Айда в лавку, конфетами угощу — „Красный флот", свеженькие, нынче получил.

Двери кооператива затворились за вошедшей гурьбой.

Лямер внимательно поглядела на Сергея:

— Я вот думаю про нашу хозяйку, ей бы игуменьей быть: локти белые, толстые. Должно быть, умелая особа. Этих девиц отдать бы ей под начало. А скажите, почему его зовут Фильдекосом?

— Здесь есть такой Гриша Ермолов, в фетровой шляпе. Федор уверяет, будто уехавший называл эту шляпу фильдекосовой, а за это его самого так прозвали. Не знаю, может быть это и не так.

— Так, так, а как хорошо стало после дождя. Прозодежда высокого качества, меня нисколько не промочило, — раздались слова Федора, вышедшего из лощины. Полотняный портфель с бумагами был в его руках.

Федор шел по середине, держа под руки с одной стороны Лямер, с другой Сергея. Его спутники принуждены были плестись по колеям проселочной дорогой, тогда как он сам резво шагал по травке. Сперва все молчали, отдаваясь легкому после дождя воздуху. Но Федор не выдержал, стиснув локти спутников, он громогласно стал петь:

— „Ратаплан, барабан, что за наслажденье, чувствую сильнее сердцебьенье! День весь я король, ночью ж мапароль".

— Федя, брось.

— Опять у Феденьки стиль бебе, ему бы детскую книжку с картинками: коровки, барабан, надо кушать суп.

— Ничуть не бебе, я хочу повеселиться хоть до прихода к Леокадии, а то у нее так „скучно̀".

— Это зависит от нас, везде можно чувствовать себя весело. Давайте распределим роли: ты, Федя, раз ты поешь про ратапланов, должен приударить за Леокадией: и тебе и ей не будет „скучно̀", да и я в конце концов хотела бы, чтобы ты „почувствовал сильней сердцебьенье".

— Ну, вот еще, что ты меня мучаешь, как обезьяну. Я здесь уже чувствовал в июне такое сердцебьенье, что хоть отбавляй. Приехали студентки измерять среднюю температуру. И, как нарочно, все высокие и тощие. Фильдекос их так и прозвал термометрами. Я одну из них как-то проводил до дому. После мне проходу не было. А я-то тут при чем? У них температура из-за Фильдекоса подскочила. Пускай Сережка займется этим, а я стану играть с Леокадиным мальчонком.

— Боюсь, что у Эсэса это не выйдет — он слишком исландец.

— Вы ошибаетесь, Лямер.

— Ну, посмотрим.

— А какую же роль вы оставите за собой?

— Я сброшу с себя все роли, явлюсь сама собою, буду молчаливой, трагической матерью Федора.

— В таком случае жаль, что вы не в черном, закрытом платье.

— Файгиню и Сережка, — воскликнул Федор, — надо, чтобы вы подружились. Будем жить тихо и мирно, установим разделение труда: я буду работать в поле, бабушка — готовить обеды, Файгиню — молчать, чтобы дать отдохнуть голосу, Сережка — мечтать в сарае. Ну, и жарко же. В такую погоду хорошо разлагаются трупы.

Лямер отвечала, подумав:

— Я согласна, но только именно все втроем: баран, Иван и Эсэс. Иначе — нет.

Трое ребятишек с визгом и смехом указывали пальцами на идущих. Панама Сергея, некогда купленная им в комиссионном магазине, смешила их.

— Ничего, ничего, — утешал Федор Сергея, — теперь переходный период, а шляпа, право, ничего себе.

Но Лямер оказалась права: все проходит. Прошел и ребячий смех. Уже придвинулось несколько изб, прилепившихся к темени не то холма, не то большого кургана, кругом их много пестрых цветов. Далее окружность пажитей. От площадки шли две дороги: одна в Акрейку, другая — в Шиздрово. Показался и Леокадин дом. Ставни были открыты, но окна чем-то законопачены изнутри. Уютным плющом было увито крыльцо. Федор постучал три раза в приотворенную дверь.

Не дожидаясь ответа, вошли в темные сени.

„Как бы это никогда не расставаться с Мирандиным, — думал Сергей. — Способ, пожалуй, есть,

и даже простой: перестать быть и вселиться в здешних обитателей. Да и вообще, что такое я? Я вижу, слышу, подмечаю — больше ничего".

Сергей почувствовал, что он любит Леокадию. Да, он ее страстно любит.

— Заготовили ли вы вступительную фразу? Впрочем, сердце вам должно само подсказать, — шепнула ему Лямер.

Сергей, ничего не отвечая, успел подумать так:

„Альджернон, велите дать мне чашку чая, я страшно голоден, — так говорят англичане-аристократы. — Буду пить и есть как можно больше. Хороший аппетит и высокий рост — это элегантно".

Все стукнулись о низкую притолку и потирали лбы, когда Леокадия явилась в сени с керосиновой лампой в обнаженной приподнятой руке. Она застыла на пороге, демонстрируя свое батистовое платье. Секунда, что она стояла так, напоминала цветную открытку, иллюстрирующую „Кво вадис"- „Лигия на пороге дома Виниция", Парижский салон, 1899 год.

— Ах, добрый веччер, добрый веччер, не ушиблись ли вы? Здесь так темно. Что делать, приходится жить в простой избе, — рассыпалась она, вводя гостей в чертог. — Я навела ччистоту, сколько могла, но в конце концов что здесь поделаешь, в русской деревне, ведь это не Минск, не правда ли?

Сергей смотрел на украшение стен: землянички васильки глядели с гипсовых кружков, привешенных всюду на розовых и голубых ленточках, — несомненно это было работа Леокадии. Ею же были украшены ленточными бантиками богатые деревенские образа, заполнявшие угол избы. Под

ними на столике — голая гипсовая нимфа, правой рукой тянущаяся к висевшему над ней, закованному в серебро Николаю-угоднику и выкрашенная в зеленый цвет, поддерживала непомерно вздувшимся бедром округлое туалетное зеркало.

— Однако у вас очень изящно, — сказала Лямер, усаживаясь. — Я только не понимаю, почему вы заткнули все окна одеялами. Почему горят лампа и церковные свечи? Ведь теперь день, обеденный перерыв.

— Ну, что вы, вы, столичные, всегда осудите. Я почти не взяла с собою обстановки, знаете, чтобы не было лишнего багажа. Так только прихватила с собой несколько бибелоков. А вообще, мадам, я, думаю, что мы-то с вами понимаем друг друга: после шестнадцати лет лучше страдать от жары, чем от света, а легкая испарина — это даже пикантно.

Федор с Леокадиным мужем совмещали чаепитие с рассматриванием чертежей. Лямер молчала. Леокадин ребенок тянулся к столу, уставленному булками, печеньем и самыми лучшими, какие были в местном кооперативе, сортами конфет. Леокадия шлепнула его по рукам.

— С пяти часов встает, и никак его не уложишь днем спать. Мученье с этими детьми! — отодвинула она сласти от настойчивого мальчугана.

Но тут вмешался Федор:

— Давай, Боба, поспорим, кто скорее заснет. Понимаешь, наперегонки. Приз — вот эта конфета, — и Федор, взяв у матери булавку, пришпилил конфету к обоям. Казалось, один из обойных цветочков внезапно созрел увесистым темным плодом.

Через несколько минут из соседней комнаты раздалось умиротворенное сопенье.

Леокадия улыбнулась и, склонившись над плечом Федора, прошептала:

— Боба уже спит. Теперь очередь за вами. Почему вам не спится? Почему вы не смыкаете очей? Откройте эту тайну, безумец.

Леокадин муж, чтоб заглушить ее, стал вслух читать из разведочных журналов:

— „Исследование по простиранию... обнажение пластов... глубокое и неглубокое бурение... алмазное бурение".

Леокадия хихикнула. Федор взял резинку и начал что-то стирать в разведочном журнале. Сергей, привстав, успел заметить, что резинка Федора направилась ко второй из следующих строчек:

песчаник бурый
придешь завтра?

Леокадия повела плечом и отошла в сторону.

— Скажите лучше, вы очень интересуетесь Румынией? — прищурила Леокадия глаз. — Я ведь про вас уже знаю. Говорят, вы с женой не ладите и ведете сношения с боярством.

— Нет, — отвечал Сергей, — это я тогда просто так. Неудобно, знаете, в моем возрасте не иметь жены. А о Румынии я никогда и не думаю. Вот только вчера в кооперации.

— То есть как это в кооперации? Как вы смеете!

— Нет, нет, это Алексашка... Он рассказывал. То есть я не знаю, как его зовут. Это кооператор так его называл - Алексашкой. Может быть вы знаете его полное имя?

— Откуда же мне знать? Я с ним и знакома-то всего с месяц. Нынче утром отр нутый безумец уехал. Ах, все уезжают: и он, и Фильдекос. Теперь вся надежда на присутствующих, о которых не

говорят. Уезжая, он оставил мне книгу, и, представьте, писатель очень интересный — румын, должно быть, жгучий брюнет. Я люблю литературку.

— А это ваши „отметки острые ногтей“? — спросил Сергей, перелистывая потрепанный томик и невольно, про себя, прочитывая отчеркнутое:

„Леана вышла из вагона. Адриан почувствовал в ней женщину до мозга костей и мгновенно запылал, как костер. В голове его все завертелось с бешеной быстротой, сердце прыгало в груди, как взбесившийся в своей тесной клетке лев; закипевшая кровь пламенем разлилась по всему телу, от гривы до когтей зверя. И недаром. Эта проклятая молодая кобылица, казалось, была отлита в огненной геенне желания. Тело по гибкости напоминало змею. У бедного парня пересохло во рту от непреодолимого желания укусить. Глаза заволокло густой пеленой, поднявшейся из бешено пылающего нутра. Он впился в ее шею и, не обращая внимания на ее болтовню, жадно, по-собачьи, втягивал ноздрями запах ее кожи...“

Леокадия отставила заскорузлый мизинец с длинным отлакированным ногтем, посмотрела на бирюзовое свое колечко, потом поднесла руку к ноздрям и понюхала.

Сергей продолжал:

— Зачем этот румынский писатель истратил столько жара? Мне нравятся в нем другие места. Вы их не замечали?

— Зачем? — повторила Леокадия с расстановкой, — да затем, что ваша братия, все вы скрытые вулканы. Того и гляди, пожар случится. Я ведь вас насквозь вижу, вы — фонарь, изнутри пылающий огнем, — все кругом освещено, не правда ли? Ну, не молчите же так нескромно!

Сергей видел, что Лямер кусала не столько печенье, сколько свои губы, а Федор, склонившись над чертежом, который он показывал Леокадину мужу, что-то слишком долго водил пальцем все по той же линии.

Сергей раскрыл рот, уже воздух шел у него из легких к голосовым связкам, — сейчас он что-то произнесет, и он с любопытством ждал, что же сейчас прозвучит у него во рту?

— Ах, ваше пение, ваше пение, Леокадия Иннокентьевна! — раздались неожиданно Сергеевы восторги.

— Я вовсе не пою, — обрадовалась Леокадия.

— Леокадочка действительно не поет, — вмешался ее муж, оторвавшись от чертежей. — Федор Федорович, Сергей Сергеич, мамаша — не знаю вашего имени-отчества, — давайте-ка ваши стаканы. Чай хороший — „экстра". Кладите по два куска, ничего.

— Я всегда без сахару, — отвечал Федор.

Сергей выудил из банки большущий кусок, еще не расколотый на меньшие дольки, и стал вертеть его в руках:

— Как это напоминает мне девственную природу Кавказа, снега, Казбеки, страсти. Я очень люблю грузин, пылкие сакли, пляски, кинжалы.

— Коли любите, — начала Леокадия и, не окончив фразы, опустила Казбек в стакан Сергея. Вытесненный чай залил цветистое блюдечко.

— Ах, этот низкий, волнующий голос, — настаивал Сергей, глядя на лампу, зеленую нимфу и гипсовые кружки.

— Я не понимаю, Сергей Сергеич, о каком пении вы говорите, — у меня, увы, нет талантов.

— Как нет талантов? То есть, конечно, вы не Шекспир, не Айвазовский, я вам не стану льстить. Быть может, конечно, у вас и не оперный голос,

но дело не в этом, главное, как он хватает за душу, какая экспрессия!..

— Экспрессия? Ах вы, льстец!

— Да, все дело в этом: у иной и голос сильнее, но, знаете, не хватает вот этого, как бы сказать?.. А у вас так и хватает.

— Противный, противный, — ударила Леокадия платочком Сергея по рукаву.

Тут Сергей стал выхватывать у нее платочек, — тот затрещал, готовый разорваться. На лице Леокадии изобразился трагический конфликт страсти и долга: с одной стороны, грозил ущерб в виде разорванного платочка, с другой стороны, манеры и образ действий Сергея были несомненно по-столичному увлекательны. Наконец, страсть победила.

— Ну-ну-ну! — прококетничала Леокадия, рванув платочек к себе. Ситец с треском разорвался. Сергей поднес к носу оставшуюся у него в руках половину. Пахло кооперативным мылом для стирки и еще чем-то паленым.

— Это, конечно, „Рев вежеталь“, — спросил он, на глазах Леокадина мужа целуя лоскуток.

— О, нет, это букет сельского сена,—помахивала Леокадия своим лоскутком. Высучившаяся нитка болталась на неровном его крае. — Странные бывают случаи, — продолжала она, — в прошлом месяце приехало к нам штук тридцать столичных комсомольцев и, представьте, все блондинчики. Ночлега, конечно, не нашли. Знаете, у них там какой-то культпоход или что-то в этом роде. Заночевали в сарае, на сене. И, знаете, ночью сарай как вспыхнет, — ни один не спасся.

— Я до такой степени поглощен вашим пением, что уже, как видите, не различаю ароматов, — продолжал Сергей.

— Так, стало быть, вы сегодня были там? — понизив голос, спросила Леокадия.

— Еще бы мне не быть там, раз вы там были! А скажите, кооператор не будет иметь ничего против?

— Ну, проверим, действительно ли это так. Опишите-ка мне этот лесок. А о нем не беспокойтесь: он и сам дефицитен. Надоел, все время говорит про старость. Но, однако, вы начали что-то про лесочек.

— Что же, лесок как лесок.

— Нет, не отнекивайтесь, скажите, какие там были деревья.

— Да разные — дубы, березы...

— Вот и неправда — берез там не было.

— Леокадия Иннокентьевна, — вмешалась Лямер, — Сергей Сергеич из Петергофа и такой городской человек, что куда уж ему различать деревья, он даже ржи не отличает от сосны.

— Ах вы, противный столичник!

— Ах, этот лесок, — продолжал Сергей, — когда вы мелькали среди кустов, мне казалось, что я не здесь, в Мирандине, а в Версале, в Трианоне. Знаете: „Берега кристальной речки, и пастушки, и овечки“...

— Все вы врете, — овец там, к счастью, не было, да и я, слава богу, не пастушонок какой-нибудь. Здесь, конечно, такая пустыня, а вот в Минске у нас — Большие Липки и Малые Липки. Впрочем, я сразу заметила: то-то вы попросили, чтоб я вас подвезла.

— Ну, да, да. Но ваши песни! Вы сирена почище этой нимфы, — Сергей сделал жест в сторону зеленой держательницы зеркала, — от вас нужно залеплять уши воском, если желаешь остаться невредимым.

Леокадия любопытно взглянула на обращенное к ней ухо Сергея, довольно большое и с волосками, выглядывающими из раковины.

— Не хотите ли печенья?

— Страстно хочу, если это дело ваших рук!

— Я никогда в жизни не стряпала, знаете, не к чему, когда есть и кухарки, и судомойки, но здесь приходится.

На протянутом блюде песочное печенье являло завитушки, кренделечки, сердечки, ромбики. Сергей взял сердечко двумя пальцами, продемонстрировал его всем сидящим за столом, потом приложил к своей груди.

— Левее, пониже, — вмешалась Лямер.

Сергей с хрустом разломил сердечное печеньице, глядя в упор на Леокадию:

— „Так сердца моего коснулась ты небрежно...“

— Комик, комик, да вдобавок и поэт, прочитайте-ка нам что-нибудь из ваших стихов.

— Только в том случае, если вы споете в награду мне.

— Ну уж это дудки-с, да и пианино здесь нету.

Федор при этих словах вздрогнул:

— Однако в лесочке вы пели, там тоже не было пианино.

— Ах, я просто спаслась туда от Бобы, знаете, дети так приедаются.

— Ну, хорошо, пение за вами; сейчас я вам скажу свои стихи, это из шампанского цикла.

Сергей поднял глаза к небу, то есть к прокопченному потолку крестьянской избы, по которому бегали тараканы, и сказал прерывистым голосом:

— „Наша встреча — Виктория-Регия, редко, редко в цвету... Ты придешь — изнываю от неги я, и

надежда в мечту, трепещу на лету"... А вы завтра будете в лесочке?

Кончив, Сергей поник главою. Леокадия смеялась грудным смешком. Вдруг все вскочили, чертежи были поспешно убраны со стола, по которому струились потоки чая из перевернутого стакана.

— Извиняюсь, — произнес Леокадин муж.

Все стали прощаться. Сергей приложился к Леокадиной ручке, ткнутой к его устам.

На поклон Федора Леокадия не ответила, передернула губами и прошептала Сергею, указывая глазом на Федора:

— Воображаю, как он будет убит, когда узнает. Ну, сам виноват.

— Не сердитесь, — также шопотом отвечал Сергей, — у него тоже есть красавица.

— Неужели?

— Да, красавица-вышка, около сто пятой дудки.

— Ничего, все-таки приходите, — приглашал Леокадин муж, — приятно иногда провести время в обществе.

— Ах, да, господа, чтоб не забыть, — сказала Леокадия, — сегодня бал у попадьи. Не у жены отца Александра, — впрочем, она уже умерла с год тому назад, — а в Богучарове. Так что мы еще увидимся. Моя невинность останется дома: он не умеет вести себя в обществе.

Сергей спросил, будет ли там Мотенька.

— На что он вам? Разве недостаточно того, что я там буду? А с Мотенькой я вам не советую знакомиться, это человек не нашего круга. Вообще здесь публика невоспитанная, их и в гости-то пригласить неудобно: уходя, тащат пряники и сласти. Никакого, знаете, высшего света. Ну, до скорого.

Отходили от дома медленно, прислушиваясь к смутным голосам, раздававшимся из законопаченных окон: смех, вопли, верещанье, дребезжанье разбиваемой посуды. Очевидно, супруги объяснялись друг с другом.

Дружная тройка зашагала к себе домой, обмахиваясь от выскочивших собак. Федор опять шел по середине, обнимая Лямер и Сергея. После комнатной духоты и чада керосиновой лампы было приятно дышать пыльным воздухом деревенской дороги и убедиться, что сейчас не вечер, а день в полном разгаре, яблони стоят, отягченные плодами, и кажутся серыми от жары.

Под каждой из яблонь чернел кружок взрыхленной земли. Это заставило Сергея окружить ствол металлической решеткой и почувствовать под своим каблуком асфальт бульвара, мягкий от жары. Сейчас запахнет бензином, и автобус остановится здесь, у края фруктового сада.

Сергей войдет в него и, садясь на кожаную лавочку, станет красть носовые платки: плотный служащий, роющийся в своем кошельке, не подозревает, что Сергей ворует у него ноготь на большом пальце и помещает в еще незаполненную пятую строчку своего стихотворения.

От Федора, стискивающего ему локоть, Сергей похищает всю руку, ее он увозит с собой в Петергоф. Запах кожи — это тоже ему пригодится. Он возьмет его на память.

В эти просветленные минуты Сергей вполне понимал, что собаки чутьем отличают женщин от мужчин, детей от стариков.

Сергей завидовал Дамке: она могла бы рассказать, кто только что прошел по пыльной этой дороге. Сейчас Дамка забилась в печку и блажен-

ствует: у только что родившегося жеребенка она отъела ногу. Родильница-лошадь, утешая младенца, сует ему в рот солому.

Запах пропотелой одежи и прокуренной бороды почувствовался сильно. Это

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Иван Васильевич Шишков поздоровался с идущими и угостил их яблоками.

— Лёв Николаич как-то ранней осенью в Москве, в своем Хамовническом доме, кушал яблоки и похваливал:

— Вот это яблоки так яблоки. Отчего это у меня в Ясной нет таких? Казалось бы, фруктовый сад у меня большой — тридцать пять десятин. Где вы их купили?

— На Болоте, — отвечал лакей.

— Пойди туда и узнай у фруктовщика, из каких садов эти яблоки.

Под вечер, когда Лёв Николаевич писал по-английски ответ иностранному сочувствователю, а Софья Андреевна, призвав в гостиную повара, устанавливала меню завтрашнего обеда, колеблясь между сотэ и беф-бризе, лакей вернулся и доложил:

— Яблоки, о которых приказывали спросить, говорит, из толстовских садов, с Ясной...

— Скажите, Иван Васильич, — перебил Сергей, — отчего вы такой черный, не цыган ли?

— Дед у меня был цыган, а я всю жизнь служил садовником у Льва Николаича.

— Вот бы вы написали о нем мемуары, здорово заработать можно.

— Не нашинское это дело писать. Лёв Николаич уж все написал, что надо, а я здесь в артели теперь работаю насчет яблок.

— Вот это правильно, — одобрил его Сергей, — про Елену, про шалаш и Гришу Ермолова тоже не стоит писать.

Вместо ответа, Иван Васильич показал свое жилище. Под вековыми липами, где когда-то Зюзи бродила с французской книжкой в руках, стоял светлый, свеже-выструганный фанерчатый домик. Лямер присела на скамейке у входа. Внутри было три ложа — среднее для Ивана Васильевича, на боковых валялись его помощники. По стенам висели ружья.

— Вот так вот и спим, не раздеваясь; чуть зашелохнет веткой, вскинешь винтовку и на цыпочках — туда. Водицы испить не хотите ли, у нас вода вкусная. А намедни на реке, вижу, тащат вброд лодчонку трое каких-то голых. Я и спрашиваю: платье-то у вас водой, что ли, унесло?

— Нет, — отвечают, — мы экскурсанты, со Смоленска вплавь едем.

Иван Васильевич замолчал, прислушиваясь к песне, раздававшейся из сада. Пел, очевидно, Гриша Ермолов: „Ах ты, сад, ты, мой сад, сад, зеленый виноград“.

— Что же, мужчины или женщины? — осведомился Сергей.

— Кто их разберет, — все стриженые, опояски на всех одинакие. Разве вот что — вы уж меня извините, я по-русски выражусь...

Иван Васильевич действительно выразился по-русски. Федор покраснел и опустил голову. Парни, лежащие на боковых ложах, загоготали.

— Коммуна — вещь хорошая, — закончил Иван Васильевич, — а чтоб голыми ходить, на это такого

закона нет. Лёв Николаич много против распутства писал, говорит, что голую девку увидать приятно по закону, ну, а голого парня — так тут уж только плюнешь, так с души и рвет мерзостью, точно яблок недоспелых невмоготу наелся.

Плевок Ивана Васильевича попал на округлый край румяного яблока, лежавшего на земле.

— Я что-то устала, — сказала Лямер.

Впрочем, до дому было уже недалеко. Шли молча. Повстречали Федорово начальство, едущее в бричке. Оно деликатно отвернулось от идущих, пробормотав:

— Я слеп на оба глаза.

Но Федор остановил его, вскочил в бричку, и они оба умчались на работы.

Сергей проводил Лямер до дверей спальни и на минуту задержался в хозяйской комнате. Там кружевная вязаная скатерть покрывала комод. Среди гипсовых кисок стояло несколько рамочек с фотографиями (одна рамочка крымская – из раковин): Иса Макаровна в юности, с граблями в руках; она же с мужем на фоне прибоя (он сидит на бамбуковом стуле, она стоит и, повидимому, ожидает ребенка); затем группа: четыре женщины, чайный стол, самовар, параличная помещица, сидя в креслекачалке, прижимает к себе детей, молодой человек в косоворотке и сапогах с голенищами очень сознательно помешивает ложечкой в стакане, у него вихрастые волосы и умное лицо: он тайком уже почитывал Бокля, размышлял о женском вопросе и презирает остальных сидящих. Последняя фотография: памятник Глебу Успенскому в Туле, работы скульптора Ризенберга (на пьедестале лира и четверть лошади).

Сергей приблизился к зеркалу и посмотрел, как выглядит он в панаме. Засиженное мухами стекло

отражало заломленные поля Сергеевой шляпы, наклон его головы, то откинутой назад, то свисающей на бок.

— Правда ли, что я тоже демоничен? Мне об этом Марья Семеновна что-то говорила в Петергофе.

Сергей сдвинул брови и выпростал себе на лоб из-под панамы адскую прядь волос. От всех этих упражнений ему стало жарко, тем более что окна в комнате были наглухо закрыты и заставлены цветочными горшками с какими-то отростками, мексиканским кактусом и лимончиком, который был особо прикрыт перевернутым стаканом, — под ним создавалась жаркая атмосфера сицилийских померанцевых рощ. В жирной рыхлой земле цветочных этих горшков копошились розоватые земляные черви. Это была та самая земля, которая там, снаружи, родила рожь и ячмень и прикрывала рудный горизонт, уже опробованный Федором. Из-за этой земли крестьяне разгромили помещичьи усадьбы.

Сергей утирал пот и думал:

„Жарко сейчас очень. Пыль, солнце, я, несуразные травинки, лето, матери, Федоры, — это было всегда и всегда будет. А вот состав статуэток на лотке у мальчишек в Туле — это меняется. Киски, нимфы, собачки, Наполеоны, со штампованными гипсовыми спинами, — это я все помню еще с детства. В застарелую эту компанию прибавились теперь новые бюстики. Интересно, что будут продавать с лотков через сто лет?"

Тут случился момент, несомненно центральный в Сергеевой жизни: он увидел на хозяйской постели мещанистое одеяло, сшитое из лоскутков. Оно было несколько засалено, но все же лоскутки пестрели разными цветами, темные линии отделяли их друг от друга.

Сергей подошел поближе. Синий квадратик из диагоналевой материи едва ли не вел свое происхождение от жандармских штанов,

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

коричневый с белыми лилиями — от праздничной старушечьей кофты. Были тут лоскутки и девически нежные, розовые. Среди ситца блистал атлас, ночной бархат был приятен на ощупь.

Наклонившемуся Сергею показалось, что одеяло пахнет всего более котятами и чем-то даже не неприятным, а скорее историческим, напластованием поколений, кофеем, семейным счастьем.

Сергей водил пальцем по лоскуткам, путешествуя из одного цвета в другой. Попав на атлас, он судорожно вздрогнул: это действует так же, как если провести ногтем по обоям.

„Шарпани меня святым твоим шарпаньем по душе и телу“ — молитва, сочиненная по поводу того, что завеса царских врат задергивалась со скрежетом: „колечки заржавели“, – так рассказывал Федор. Сейчас, стоя над одеялом, Сергей понял его антирелигиозное настроение. Конечно, и сегодня будет то же самое. Закат послужит сигналом: солнце будет садиться за тополями, Лямер будет кушать гречневую кашу с молоком — гигиенический умеренный ужин. Федор придет в хорошее настроение духа, предвкушая вечер. Больше, чем спускающийся сумрак и свежая тишина, будет говорить о вечере легкая истома после работы весь день на воздухе. Приятно болтать ногами, сидя на стуле, приятно болтать с соседом, приятно помешивать ложечкой чай, еще приятнее будет растянуться потом на сене.

— Что это ты сегодня так разошелся, не оттого ли, что завтра большой праздник? — будет говорить бабушка Федору, когда он попросит четвертый стакан чая.

— Да, бабуся, пес тебя дери, конечно, оттого.

— Да локти-то не клади на скатерть, совсем здесь распустился.

Федор примет руки со стола, грозно подымет их вверх и продекламирует:

— „Плачь, родители, стенайся: твой сын негодяй, твой сын социалист".

— Что это? — спросит Лямер.

— Так... А вот еще: „Барчуки-с, сегодня злосчастнейший день нашей жизни: государя-императора не стало от злодейской бомбы". Удивительную аналогию проведу вам между господом нашим и в бозе почившим государем-императором. „Господи, прости им, не ведают бо, что творят", сказал господь. „Хорош гусь, держите вора", сказал государь-император. „Господи, в руци твои предаю дух мой", сказал господь. „Везите меня в Зимний дворец", сказал государь-император.

Бабушка будет слушать, истово перегрызая корочку хлеба своими хотя и восьмидесятилетними, но целыми зубами.

— Барчуки-с — это годится для кошек, — скажет Сергей.

— Не тревожьте их, Сережа, они уже спят, а то вы из любви опять искалечите какого-нибудь котенка.

— Не понимаю, как можно любить кошек: лукавое, коварное существо. Уж поросята лучше, если на то пошло, — вмешается Лямер, — у них, собственно говоря, очень красивые глаза, светлые, прикрытые совсем белокурой сеткой ресниц.

— Позвольте, я согласен, поросята хороши, особенно под хреном, но кошки лучше. Мы с кооператором тезки. Он уже цитировал, надо и мне, — скажет Сергей и станет с выражением читать сонет про кошек.

— Бога вы не боитесь, Сергей Сергеич, нынче канун праздника, а вы по-французски тараторите, — возмутится бабушка и, негодуя на смех внука, принуждена будет отставить блюдечко.

— Известное дело, французская нация самая неприличная: все бы ей шантаны да шайтаны, а сейчас всенощная еще не отошла, так что грех.

— А тебе не грех было угостить нас сегодня за обедом недопеченными яблоками? — спросит Федор.

— Что не допеклись, не мой грех, — печка виновата.

— Да нет, не в том дело. А ведь ты эти яблоки подобрала в саду на дорожке, значит, они ворованные. Вот тебя на том свете за это и припекут.

— Ну, авось, так же недопекут, как я эти яблоки, — и бабушка снова придвинет к себе блюдечко.

После этого не удивительно, что Федорово обожаемое начальство, проезжая мимо на бричке, будет думать так:

„Хе-хе-хе, видать, столичные штучки. И так ловко все подстроили: сперва якобы к Федору приятель приехал, — ну, приятель, — это не диво, дело известное. А потом уж и *сама* приехала, видите ли, на летний отдых из Москвы, устала, будто, от оперы. Разве от оперы устанешь? Хорошая опера „Евгений Онегин“. Нет, не иначе, как в оперетке поет. Но светские, чорт их дери, наверно все по-французски промеж себя разговаривают“.

Обожаемое будет поправлять на лбу повязку: у него чирей, и его лечит местная докторша.

Сергей будет думать про Обожаемое:

„Наверное, он лже-специалист и только прикрывается этой повязкой. Наверное, он в старое время был просто управляющим чьим-то имением. Подходило бы, если бы он был из полячков“.

От одеяла исходил такой плотный дух, что Сергей стал ловить его пальцами.

Между тем Иса Макаровна вошла в комнату, посылая прощальную фразу сидящим на балконе:

— Да, так вот и пропили девку за две четвертных. Да что вы такие вежливые, я к этому не привыкла.

Она ахнула, заметив Сергея, приподымающего краешек одеяла и трагически наблюдающего темное пространство, лишенное простынь; крупные блохи резвились там.

Произошло смущение. Сергей бросил одеяло, покраснев, отскочил от постели и уже стоял посреди комнаты, якобы насвистывая, как человек в превосходнейшем настроении духа и с превосходной панамой на голове.

Хозяйка со стопкой выглаженных рубах в руках стояла в раздумье. Нижняя сорочка угрожала вывалиться из стопки. Сергей узнал в ней Федорову рубашку, в которой тот был в Петергофе.

— Дайте я вам помогу, — Сергей взялся за край сорочки.

— Ничего, господь наш и потяжельше ношу нес, — кротко отвечала хозяйка и проследовала на кухню. Через дверь было видно, как завозилась она над черными корытами, метнув белье в корзину.

Котята тыкались мордочками в блюдечко с водой, подбеленной молоком. Сергей думал о судьбе искалеченного им котенка. Будет ли он прыгать по мартовским крышам, оттеснят ли его здоровенные котиные жеребцы? Придется ли ему отнять

обе ноги выше колен, и он, в тележке, с деревянными культяпками в руках, станет передвигаться по тротуару, спекулируя на набожности отсталых слоев населения и с кокетством выставляя из укороченных своих брюк красные, похожие на ветчину, отрезы тела, уже заросшие тонкой кожицей? Подойдет ли к нему молодой чувствительный прохожий и спросит ли:

— По некоторым обстоятельствам, будьте любезны сказать, как вас зовут и где вы живете?

Инвалид дерзко вскинет провалившийся нос:

— Меня уже рыгистрыровали. Я не милостыню прошу, а просто гуляю по Невскому не хуже тебя. Впрочем, рад познакомиться.

Сергей подумал, что котята вряд ли будут рады, если он присоединится к их пискливой компании, станет на колени перед их мисочкой и начнет лакать молоко. Поэтому Сергей обычным своим маршрутом прошел на сеновал.

Сейчас наступали самые томительные часы — до обеда, не по-деревенски позднего, так как приходилось ждать возвращения Федора с работы.

Сидя на сене, Сергей подсчитывал свои богатства: чай индийский, в зеленой обертке; чай китайский черный, № 1, в синей обертке; № 2, в коричневатой; чай цейлонский, № 95; Центросоюза, в красной; чай китайский, № 100, в лиловой. Отчего же не купить, раз свободная продажа?

Сергей хотел предаться обычным своим сеновальным думам, но подскочил, укушенный мухой. Она бродила у него по рубашке, плоская, зеленоватая, крепенькая. Поймать ее было легко, так как взлететь не приходило ей в голову. Под пальцами она не раздавливалась так, как обыкновенная муха. Пришлось положить ее на днище близстоящей

бочки, на которой устроен был Сергеев туалет, и там акуратно раздавить восьмигранным концом карандаша. Сергей машинально сделал это. В голове у него стояли слова хозяйки про хороший город Алексин на Оке. Сосновый бор, Кудеяров колодец. На детей хозяйка кричала:

— Опять вы мне концерты задаете, чтоб вы сдохли... Иди овец загонять.

Одновременно Сергей высчитывал, сколько в человеческой жизни секунд, — выходило около миллиарда, значит, можно успеть прочесть миллион страниц.

Муха хрустнула под карандашом и обратилась в кляксу. Сергей опомнился и вскочил:

„Что делать, как быть? Лев Толстой говорит, что убивать нехорошо. А может быть, хорошо. Все непонятно. Почему я здесь, в Крапивенском уезде? Почему все так глупо? Должно быть, я сам глуп. Надо любить животных“.

Сергей взял с бочки хозяйскую книгу. „Несомненно, — думал он, — много значит читать вещь именно там, где она написана: климат и воздух остались те же. К стволу этого дерева прислонялся автор во время прогулки. Эта страница написана после чаепития, когда десны еще помнят теплоту чая с молоком. Бородинское сражение создалось, конечно, после размолвки с Софьей Андреевной“.

Сергей задремал неприметным для себя образом и во сне видел руку. Черная шерсть, начинаясь из-под рукава, проступала и на крепком мускуле под мизинцем. Петергофские жители обычно раз в неделю брили волосы у себя на теле, их руки становились похожими на женские, но только увеличенного размера и покрепче. По-немецки же кулак называется „фауст“, „ди фауст“ — удивительно, что это слово женского рода.

Сергей проснулся от топота. Рабочий ставил свой инструмент в угол сарая. Парень поздоровался и сообщил, что его работа уже кончилась, а что Федор Федорович поехал осматривать дальше дудки.

— Скажите, — обратился к нему Сергей, — как бы познакомиться с Мотенькой? Составьте мне протекцию.

Рабочий, перебирая в руках конец каната, смеялся и, вместо ответа, рассказывал о перелопачивании, о разбивке руды до кулака, до куриного яйца, до крупного ореха, до гороха.

Лямер, умывшаяся и свежая, вошла в сарай.

— Я хотела вас развлечь, Эсэс, чтоб вам не было скучно, но вижу, вы не в одиночестве.

Сергей представил ее рабочему:

— Познакомтесь, это мать Федора. Погоди, не уходи, Федор Федорович, мне надо тебе кое-что сказать.

Сергей встал посреди сенного сарая, простер руку вверх, к прорезам в крыше, и произнес следующую речь:

— Слушай ты, Федор Федорович, или, лучше сказать, другой Федор, или Федор номер второй. Эта дама — ее зовут Лямер — и я, мы оба заражены мелкобуржуазной идеологией. Ты понимаешь, чем это пахнет? Многоцветные стеклярусные фигуры, которые мы получаем, встряхивая калейдоскоп в наших белых руках. А ты, другой Федор, ты не близорук, не дальнозорок, тебе лет девятнадцать или двадцать, ты, конечно, не из стекла. Ты рабочий, значит, ты не надтреснут. Так ли я говорю? Ну-ка, дай себя пощупать.

Федор отвечал на это, что он парень простой и покладистый, насчет стекла рассмеялся, но ничего не имел против, когда Сергей присел к нему вплот-

ную. Лямер, вынув лорнет, наблюдала всю эту сцену.

— Брось трепаться, — сказал Федор, — отводя руки Сергея прочь, — ты ленинградский, что ли?

— Нет, я из Петергофа, — возразил Сергей, — это будет почище. Шестиэтажные дома, по вечерам все окна освещены, везде двери, лестницы, люди, в каждой комнате. Ты любишь людей? Понимаешь, у каждого две руки, нос, два глаза, — это интересно. А в голове копошатся обломки. Рано утром, 28 июня, Екатерина открыла дверь, — ее уже ждали. Звероподобная монархия из павильона расстреливала дичь.

— Это ты верно сказал, — прервал Сергея рабочий. — Ну, выкладывай, чего тебе нужно?

Лямер вмешалась:

— Я знаю, чего ему нужно. Ему нужен рабочий контроль. Он, конечно, хочет прочесть вам, Федор Федорович, отрывки из своего петергофского дневника и те письма, которые ему писал Федя. Я тоже послушаю, в качестве публики. Вы не робейте, Эсэс, всегда полезно читать вслух, это развивает легкие. Скорее, вот ваша папка с бумагами. Я прилягу, хорошо поваляться на настоящем, не бутафорском сене, — под тем всегда чувствуются доски. Как-то я даже оцарапала себе декольтированную спину об эту проклятую бутафорскую траву. Да и трудно бывает петь лежа, но нынешние режиссеры заставляют. Попробуем, мягко ли здесь спится вам, сеновальным людям.

— Ну, что ж, почитай. Если про гражданскую войну, так интересно. Мне на ней не удалось побывать, мал еще был.

Сергей в замешательстве перебирал листочки, поглядывая на свою аудиторию. Но делать было уже нечего. Он не мог придумать никакого предлога,

чтобы отказаться. Слушатели внимательно смотрели на докладчика, только что произнесшего пламенную речь, а сейчас совершенно потерявшегося. Сергей все же успел мысленно нацепить роговые очки.

1. Дорогой Сергей Сергеевич! Я жив и не умер и, как видите, пишу Вам своим куриным почерком. Получил Вашу открытку и был ею очень обрадован, хотя и пожалел, что это не было закрытое письмо. Устроился я довольно хорошо: у меня две комнаты с балконом (так здесь называют веранду), и мой дом расположен в большом фруктовом саду (девятнадцать десятин). Прямо к нему ведет еловая аллея. Есть здесь леса, в которых, говорят, растут грибы, но лучше всего ржаные поля. Рожь в этом году великолепна, местами доходит мне до плеч. Жизнь здесь покойная, мирная, люди хорошие, так что вы здесь легко пополнеете. Сейчас установилась хорошая погода, и появилась земляника, начался сбор меда, и скоро появятся свежие соты. Право, Сергей Сергеич, приезжайте ко мне поскорее. Напишите, когда приедете, и я выеду в Тулу встретить вас. Надеюсь, Сергей Сергеич, Вас не испугает долгий путь, и Вы соберетесь ко мне в самом непродолжительном времени. Мурусе скажите, что я порываюсь написать ей письмо всеми фибрами моей души, но по техническим причинам не могу довести этого благого намерения до конца (засыпаю). Итак, Сергей Сергеич, жду Вас с нетерпением. Мои пенаты уже сделали все необходимые приготовления.

Остаюсь Ваш *Федор Стратилат.*

(К этому письму приложен колос ржи.)

Неотосланный черновик того же письма.

...Вчера получил твою открытку и пожалел, что она не была закрытым письмом со вложением стихов.

Мне остается только надеяться, веря в твое слово, как в гранитную скалу, что не позднее августа сего года я услышу эти стихотворения в исполнении автора.

Здесь очень хорошо, хотя отчасти сказываются неизбежные издержки: леса отчасти вырублены, пруды спущены, еловая аллея тоже вырублена. Но все это вполне поправимо со временем.

Работа кипит, верстах в двадцати от нас тоже обнаружена руда. Книги, которые ты мне дал, я уже прочел. Приезжай поскорее, мы с тобой будем гулять. Кущи окрестных дубрав, нежно шепчущих при дуновении легкокрылого зефира, наполнены в тиши ночей пением соловья (относительно соловья я не уверен, но иволга действительно поет), но еще умилительней для натуры чувствительной картины тучных полей ржи, высокой до моих плеч...

2. Сережа, я только что получил Ваше письмо, и хотя еще не успел, подобно Вам, перечитать его десять раз, но думаю, что в ближайшие два-три дня сумею превысить эту довоенную норму. Сережа! Чем мне клясться, что мое приглашение не было „опрометчивым"? Я думаю, в наш век все патетические фразы устарели и звучат по меньшей мере странно, поэтому не буду уверять Вас в сотый раз в серьезности моего приглашения, а просто посылаю Вам бланк за моей подписью, в котором Вы сами напишете себе формальное приглашение, сдобрив его обильно клятвами, чувствительными выражениями дружбы и т. д. Написать можно не обязательно прозой.

Теперь перейду к деловой стороне.

Ответы.

1. Мои пенаты будут рады видеть Вас, и Ваше появление беспокойств им не доставит. Кто они

такие, я Вам не скажу сейчас, дабы затронуть Ваше любопытство.

2. Рабочий день описывать очень длинно и трудно, так как обязанностей у меня много и работа не однообразная и увлекательная. Приятно сознавать, что и ты кое-что делаешь на общую пользу. Утомлялся я это время значительно, но теперь у меня будет несколько больше свободного времени, и если Вы будете настолько любезны, что захватите ту книгу — помните, то Вы будете очаровательны, как всегда. Мы продолжим чтение с того места, на котором остановились в Петергофе. Привезите мне Ваши стихи, пару трусиков и штук шестьдесят бумажек от мух. Еще одна просьба: захватите с собой полное Ваше снаряжение, так как если я Вам не надоем, то скоро не выпущу, и, надеюсь, Вы у меня прогостите до наступления холодной погоды. Погода у нас здесь великолепная, и жизнь моя течет в эмпиреях, — барышень много, штандарт скачет, и сплю я сейчас на сеновале. Представляете ли Вы такую роскошь, как сон на свеже-скошенном сене? Словом, Сережа, жду Вас с нетерпением и считаю по пальцам, когда Вы приедете. Кстати совершим экскурсию на Куликово поле и в Ясную Поляну, до которой здесь недалеко — верст тридцать. Приезжайте скорее. Желаю всех благ.

Ваш *Федор Стратилат.*

Не томите меня ожиданием и отвечайте поскорей и приезжайте. (К этому письму приложен листок: пригласительный билет Сергею от Федора.)

Ненаписанный черновик того же письма.

... Пес тебя дери, Сережка, не хочешь приезжать, так и не надо.

19 июня 1929 года когда я смотрел на проплывающие мимо улицы и на площадь Урицкого, я думал: как мне милы эти развороченные улицы, бесконечная прокладка канализации, тянущаяся все лето, прохожие в поношенных и сборных костюмах — какая-нибудь майка, обнаруживающаяся из-под пиджака.

В вагоне, видя перед собой прорезиненные пальто, голые колени, носочки и лакированные туфли курящей девицы, я вспоминал другое лицо, желтое, недавно ставшее знакомым.

Возница удивился нескрываемым образом, когда я без особых разговоров согласился на заломленную им цену. Улыбка его продолжалась все две версты, несмотря на попытки свалить все на дорогой нынче овес, и не могла кончиться даже в комнате, куда услужливо внес он чемоданы (из них один желтый, фанерчатый, прибалтийский, другой — фибровый, заграничный). Я потрепал возчика по плечу, улыбка его усилилась от такого дружеского и непривычного обхождения. Даже на другой день, провозя мимо моих окон какую-то даму, он приветливо кивнул мне.

Белье грудой лежало на столе вперемежку с вилками и газетными вырезками, но я спешил обойти те места, где мы были без малого месяц тому назад.

Статуи сходят вниз по ступенькам и теряют на пути свою позолоту. У верхней наяды, сидящей ко мне спиной, одна нога кончается вполне прилично — русалочьим хвостом, но другая нога? Ее обрубок прямо входит в золоченые выкрутасы. Наверное, наяде оторвало ногу во время империалистической войны. Аллея, где разговоры о Дюшамбе,— экзотика и сарты. На улице:

— Не верится мне в этих гувернанток и прочее...

— Возможно, возможно.

— Посмотрим, а пока-что надо прожить еще целый месяц. Питаться буду молоком, совершенно как Бальзак,—и я с гордостью посмотрел на выплывшую луну. Лапчатые ели придавали ей архаический, под Рериха, вид.

Много лет тому назад по этому морю переправлялся я из Кронштадта не то в Ораниенбаум, не то сюда. Была непогодь, и волны захлестывали пакетик, где таилась вожделенная плитка шоколада с орехами. Но он, как оказалось, не очень пострадал от финской влаги. Тогда все мне казалось большим: и статуи, и фонтаны, и плитка шоколада, и даже моя собственная глупость. Сверстники, даже девочки, были, несомненно, умнее меня, и я страдал.

Штакеншнейдер, Николай I, Менелас — псевдо-фермерская жизнь, псевдо-готика псевдо-августейших. В парке церковка, и тоже готическая, чтобы не портить вальтерскоттовского настроения отдыхающих августейших прихожан. В Петербурге Николай I с утра выходил на работу: на улицах столицы он разыскивал приезжих провинциалов, которые не знают его в лицо. Он очень уставал, но всегда возвращался во дворец с провинциальным гусем, кормил его завтраком в своем семейном кругу, представлял жене и просил у гостя извинения:

— А вот моя жена, урожденная лютеранка.

Потом он выходил в другую комнату, надевал корону, мантию и возвращался обратно к гостю, который за это время уже совершенно распоясался, распространялся о сенокосе, о декоктах, о зубной боли.

— Узнаешь ли ты меня? — восклицал Николай: — я русский император.

Икающий от испуга гость падал на колени и умолял не погубить.

На другой день газеты печатали новую черту из жизни государя.

А в подвале Зимнего дворца была у него оборудована банька. Полюбившаяся ему смолянка, воспитанная в обожании монарха, доставлялась туда Бенкендорфом. Она недоумевающе водила глазами по деревянным шайкам, мочалкам, веникам и оправляла косынку на груди.

Вдруг, совершенно голый, но в короне, император вставал перед нею.

Она узнавала обожаемое лицо, падала на колени, обнимала волосатые ноги, умоляя не погубить. Потом ее выдавали замуж за Горчакова.

Несмотря на думы о Николае I, мне хорошо в комнатке с полукруглым окном наверху: мы нанимали ее вместе. На стенку я уже повесил несколько картинок: изображение Гекаты, с тремя лицами и факелами (вырвано из школьного издания Манштейна), план этого городка и вид церкви на торговой стороне в Новгороде, который я сам нелепо нарисовал много лет тому назад, интересуясь тогда фресками тринадцатого века и не предполагая, что это будет иметь и другое значение.

Все в порядке. Я пью молоко, разбираю вырезки и выписки.

Издалека звучат военные трубы. Это репетируют: „О моя баядера...“

Цветы жизни копошатся под окном и лепят пирожки из песка.

Обитатели домов отдыха предаются невинным играм: с завязанными глазами надо дубинкой ударить по чурке. Девушка в белом платье, очень загадочная, так как ее лицо повязано полотенцем, бьет по голове веселого и довольного парня.

Светлый воздух переливается внятно, птицы укромно щебечут, молоко питательно. Так будет еще целый месяц...

— Тише, Эсэс, кончайте чтение. Не мешайте ему. Надо будет и для Бобы рекомендовать ваши дневники.

Лямер привстала и наклонилась над уснувшим.

— Молоденький, белокурый и вряд ли старше Федора. Он мог бы быть моим сыном.

— Да и зовут его тоже Федором.

— Стало быть, тоже Феденька. Но только он, видно, посильнее, поздоровее. Это от физической работы. А, может быть, и родители... Он, конечно, уж не страдает, как Федор, наследственной мигренью. Жарко ему, умаялся.

Лямер извлекла тончайший платочек и стала отирать лоб спящего. Кружева просерели от пота и пыли. Парень, не просыпаясь, повернулся на другой бок, прочь от Лямер. Он выпростал правую руку и ею сжимал сено. Ногти все были в красноватой глине.

— Сергей, не сидите праздно. Возьмите ваш дневник — мне нравится, что он большого формата. Обмахивайте спящего. Видите, испарина, да и мухи тут. А я пойду к бабушке насчет обеда.

Обернувшись, Лямер добавила:

— Ну, вы убедились, Эсэс, вот он, рабочий контроль.

Лямер ушла. Сергей метался по сараю, наконец, не выдержав, пропел петухом и стал будить спящего.

— Вставай, уже утро, обедать пора. А, главное, скажи свое мнение.

Тот мигом проснулся.

— Что же мнение? Про Николя Палкина верно, а вообще скучища. Ничего ни с кем делается, пишут

письма — только марки даром тратят. А я вот думаю на Марьянке жениться.

Сергей накинулся:

— Ну, расскажи, расскажи, что ты чувствуешь, что она чувствует.

— Этого не расскажешь, — смеялся Федор, — это и так всякий знает. Ну, прощай, может, еще свидимся.

— Разве вы не останетесь обедать? Теперь уже, должно быть, скоро.

— Нет, не хочу я Федор Федоровича объедать, к нему и так уж начальство норовит каждый день на обед попасть. Да дома-то у меня повеселей будет, чем у вас здесь со старухами.

— Я вас провожу, — сказал Сергей парню, — мне интересно с вами познакомиться. Вы нравитесь Федору, не так ли?

— Да, мы с Федор Федоровичем сработались ничего. Барчук он, это верно, но товарищ серьезный, и в нашем котле переварится. Марьянка его тоже одобряет.

— А вы у кого живете: у середняка, у бедняка или у кулака? Я ведь знаю расслоение деревни, я читал газеты.

— У него одних лошадей семнадцать голов, — отвечал Федор.

— Бедный, как же он с ними справляется?

Федор в ответ только смеялся.

Изба, в которой квартировал рабочий, была неподалеку от Леокадина дома. Проходя мимо, видели ее мечтательно сидящей у окна. Она лущила семечки, а при виде проходящих отворотилась, будто рассматривает небо.

Хозяин избы вышел навстречу и потащил Сергея к себе, схватив его за обе руки.

— Добро пожаловать, всегда гостям рады.

— Да я не к вам, я только проводить Федора.

— Эй, малый, не в свое дело не мешайся, — прикрикнул на парня хозяин, — а вы уж зайдите, сделайте милость. Слыхал, все слыхал. Вы здесь под флагом приятеля Федора Федоровича? Хороший человек.

Горница, куда был введен Сергей, оказалась комфортабельной. Мух вовсе не было: в растворенные окна были вставлены от них сетки. У стены стоял велосипед. Мягкая мебель по-городскому группировалась вокруг стола. Висели и картинки: „Девятый вал“, потом „Магдалина на берегу озера“ и третья, изображавшая охотничью собаку, с оскаленной пастью, очень белыми клыками и слюной, капающей с собачьей десны.

Сергей поскорее отвел от нее взор и с удовольствием остановился на плакате, украшавшем простенок. С него улыбалась ему баба, обведенная хороводом букв („Радио — путь к новой, культурной деревне“).

Сергей сел на кресло и удивился: он уже отвык за эти полутора суток от мягкой мебели, помнились ему только жесткие лавочки вагона, когда, сидя на них, начинаешь ощущать, что внутри тебя есть кости, и меняешь положение, ерзаешь, смотришь в окошко, но ничем не можешь заглушить сознания, что ты — скелет. Затем припомнил он и ущемляющую мебель в красном уголке.

Сергей с приятностью развалился. Хозяин вынес ему для развлечения открытку, почему-то только одну. Это был какой-то пейзаж, что-то вроде парка. Хозяин предложил, во-первых, называть его просто Сысоичем, а во-вторых, угадать, что на этой открытке.

— Деревья, — отвечал Сергей, — меня уже не проведешь: березы, дубки, сосны.

— Не угадали. То есть деревья, это-то, конечно, но не в них сила. Это лес, только по-заграничному. Я под Касселем три года в плену был, с хозяином разговаривать научился. А в деревне там улицы мощеные, и дома двухэтажные. Коли работник ты хороший, так и обращение хорошее. А вы этого Федора бросьте: малый никудышный, сельсоветчица его у меня поселила, говорит, на работу ему близко ходить. Пускай ходит, нам ничего. Только вы Федор Федоровичу скажите, чтоб он не очень-то ему верил, будто Сазыкин то, Сазыкин другое. Все врет. Вот Леокадия Иннокентьевна — это другое дело, солидная дама.

— А кто этот Сазыкин? — полюбопытствовал Сергей. Хозяин, усмехнувшись, погладил бритый свой подбородок, ткнул пальцем себе в жилетку и предложил послушать радио.

Сергей, охваченный стальным обручем, услышал Москву:

„Забыть, как полная луна, как колыхалась тихо штора..."

Покраснев, Сергей скинул с себя наушники.

— Что, в жар бросило? Культура! — торжествовал хозяин: — У нас весь уезд культурный. Лев Толстой — и тот наш. Вот в Богородском уезде этого уж нету, татары там когда-то были, оттого до сих пор все там скуластые и играют в орлянку. А вы Федор Федоровичу по-приятельски скажите, чтоб копал от нас подальше. Ведь его воля, где копать. Другим людям все равно не видно, что под землей. Где он скажет, там и бурят. А я на тот год себе второй этаж надстрою. Я ведь тоже понимаю: смычка города с деревней. Раньше из города нам чего-чего

не носили: и шубы ватные, граммофоны, и диванчики — за молоко-то наше да за хлеб. Теперь уж нас на это не возьмешь. В Касселе путался я с хозяйской дочкой; она мне, как кончали целоваться, все больше про пчел рассказывала, будто переселили наших пчел в Австралию, в теплынь. На первый год все шло по-хорошему. Потом увидали пчелы, что в тех краях зимы не бывает и не стали меду делать: запасать, говорят, нечего, раз погода круглый год приятная и для нас неподходящая. Так австралийские люди и остались без сладости, одной теплынью пробавляются. Да куда же вы? Посидите, пообедайте, мы гостю всегда рады. Хохлацким салом угощу.

Но Сергей торопился наружу. За домом был разбит садик, по-городскому разрослись там красные флоксы. Круглощекая жена Сысоича, в короткой юбке и с открытой шеей, ходила между цветочными грядками.

— Как зацветет золотой шар, — говорила она, — так, значит, осень. Люблю желтофиоли. Как царя не стало, все ими балуюсь. Мне бы в монастырь поступить, да такая досада: нет поблизости.

На прощанье Сысоич еще рассказал о теплых краях, будто охотник там все по деревьям лазал, а вместо ульев там дупла, и все пчелы в диком состоянии. Лазал, лазал охотник, обвалился в дупло и утонул в меду.

— Сладкая смерть, — возразил Сергей.

— Кому что сладко, смерти бывают разные, а только вы Федор Федоровичу от нас кланяйтесь, — подмигнул хозяин.

Сергей отвернулся и увидел вдали на горке солнце. Оно было уже на ущербе и просвечивало сквозь листву орешника.

Сергею хотелось дойти до реки, чтобы искупаться. Река, вероятно, была за тем холмом. Поднявшись на косогор, Сергей огляделся: местность выглядела неестественно русской: покатые холмы, на горизонте леса. Мирандино отсюда казалось мелким и незнакомым. Изредка долетал крик погонщиков мулов, обрабатывающих участки под огородные овощи. Птицы пролетали целыми стадами, спеша на прохладу к реке, огибавшей плодоносную равнину.

— Неужели я здесь живу уже второй день?

Река текла пустынно. Сергей вспомнил о водоворотах, быстром течении, омутах и прочем. Потом ему представилось, что, пока он будет купаться, среди этого безлюдья подкрадется кто-нибудь и унесет его одежду, правда, немудреную из-за жары, но все-таки Сергею, неизвестно как, придется возвращаться в Мирандино. Или, когда он будет плавать на спине посредине темнеющей реки, глядя наверх в небо, плоское и нелепое, если на него глядеть в таком положении, вдруг раздастся крик: „Мотенька!“, и Сергей, не успев разобрать, откуда идет этот окрик, скроется под прохладной водой. Поэтому, хотя до реки было уже совсем близко, Сергей повернул обратно, стараясь не смотреть вдаль, — простор пугал его.

На переднем же плане лежали черные комья перевернутой земли, утоптанная среди пашни тропинка, на ней кучка лошадиного помета и сломанные палки. Сквозь теплый, пахнущий землей воздух слышалось что-то: не то крик, не то это от жары гудело у Сергея в ушах. Он шел, не останавливаясь. Стало ясно, кто-то выкрикивает имя Сергея. В этом не было ничего удивительного: такое имя часто встречается везде. Наконец, Сергей поднял голову.

На противоположном скате стоял Федор и махал руками. Сергей поспешил к нему.

— Что-нибудь уже случилось, Федор?

— Ну да, ужасное горе: пора обедать, а вас нет, я и пошел вас встречать.

— После работы? Но ведь вы устали?

— Еще как, главным образом, сейчас от крика, надорвался совершенно. Наши уже за столом, но я решил, что без вас никак нельзя.

— А я для вас по дороге малины собрал.

Сергей показал на полную свою горстку. Федор, наклонившись, стал, как теленок, мягкими губами брать малину. Так он слизал ее всю.

— Ну, что, Сережа, нравится у нас?

— Очень.

— А не хотели приезжать.

— То есть как это не хотел?

— Да очень просто; вы ведь, известно, дрянь.

— А вы мерзавец.

Шли уже среди золотой ржи, это была узкая полоса, до сих пор не сжатая. Все казалось желтым от солнца наверху и колосьев по бокам. Федор успел уже скинуть прозодежду, на нем была сетчатка-рубаха, сплошь состоящая из одних дырок. Веселые слова: гадина, подлец, дурачок, раздавались среди хлебного поля. Потом, взявшись под ручку, понеслись вскачь по жнивью: „Идем по жнивью не спеша, гоп-ля-ля, гоп-ля ля, с тобою, друг мой скромный“.

Вступив в сад, Федор сообщил, что это последний год для яблонь: под садом обнаружена руда.

— А под домом Леокадии, то есть, лучше, под ее замком, тоже руда? А под домом Сазыкина?

— Везде, везде. Там мы уже давно открыли, и залеганье совсем неглубокое, всего один метр придется снять, — мне тот Федор говорил: он случайно

наткнулся, когда копал грядки. Через год вы не узнаете этой местности. Выгоднее будет эксплуатировать руду, чем фруктовый сад. Что это вы приуныли, Сережа? Вам жаль этих садов?

В саду, действительно, раздавались стоны. Наевшись не в меру яблок, Жоржик Гусынкин метался по земле. С крыльца кухни жена язвила его:

— Ах, Жоржик, Жоржик!

— Не знаю, — отвечал Сергей.

— Бросьте, Сережа, что может мне угрожать? Ваши стихи или ваш отъезд? Да и то я надеюсь, что вы останетесь... Чего тебе? — спросил Федор подошедшего крестьянина. Тот жаловался на потраву при рытье дудки.

Федор взмахнул голыми руками.

— Знаешь закон? Что ты впервой, что ли? За потраву все будет заплачено по закону. Не понимаете вы, что эти дудки для вас же лучше.

Крестьянин сослался на Сысоича и недовольным взглядом проводил удалявшихся: один как будто инженер, а одет чудно, руки белые, как у девушки; другой тоже как будто инженер, а без сапог ходит, точно нищий какой; оба без шапок; козлами скачут, болтают и смеются. Крестьянин плюнул, обругал их бесстыжими и повернул обратно.

Уже сели за стол, когда подъехала бричка с начальством.

— Вы обедаете? Какая странная случайность.

Заметив немецкую книжку возле прибора Сергея, начальство перелистало несколько страниц (Гросс-герцог Вильгельм-Эрнст Аусгабе, в желтой коже) и сказало:

— Все по-французски читаете, молодой человек, это похвально. Я тоже в юности на пяти языках читал.

По глазам бабушки было видно, что она привыкла к случайностям. Поставили прибор для Обожаемого.

Федор вскочил из-за стола под предлогом, что ему надо вымыть руки.

— Сережка, идите меня умывать. Держите мыло и полотенце.

Впрочем, у колодца не столько мылись, сколько предавались горестным раздумьям. Федор плакался:

— Вот несчастье, опять его принесло. Лучше бы кто из рабочих пришел к нам обедать. Да ведь не придут, Леокадия права: мы местная интеллигенция. Сережка, вся надежда на вас — займите его разговорами.

Сергей, держа в руках мыльницу с розовым, лежащим в пене, обмылком, думал так:

„Хорошо отмечать течение дня обедами, ужинами, чаями. Сельская жизнь вообще спокойна и однообразна. Кооператор, Сысоич Сазыкин и Обожаемое, — все говорят одиним и тем же языком. Почем знать, может быть это не три человека, а один. Надо бы мне все это хорошенько расследовать".

А так как Сергей испытывал легкие сотрясения, когда Федор брал мыло из мыльницы, клал его обратно или сдергивал полотенце с его плеча, то Сергей ощутил себя мраморным умывальником — серым, с прожилками. На мраморных полочках, окружавших овальное зеркало, расположились: кружка для полосканья рта со стоящей в ней зубной щеткой из желтой целлулезы; синяя коробочка с мелом, пахнущим мятой и красавицей на крышке; три сорта мыла: кадюм, папоротниковое и серно-дегтярное по рецепту доктора Помелова; резиновая губка и грубая щетка для ногтей. Серая мыльная вода стекала по трубке в нижнее ведерко

для помоев. Недовольное лицо Федора отражалось в забрызганном водой зеркале.

Начальство похвалило Федора за гигиеничность, но само не последовало его примеру и запыленными руками приняло от бабушки тарелку окрошки.

Разговор завязался сперва продуктовый; поддерживали его только бабушка и Федор:

— Завтра воскресенье, надо пойти в церковь.

— А я тебя не пущу.

— Сам же ты говорил, что ты в Ленинграде в часовенку бегал.

— Так то за рисом, бабушка. Мне там одна любимая женщина сказала: в кооперативе рис дрянь, а в часовенке рисина к рисине. Не забыть бы в Исаакиевский собор за творогом сбегать.

Начальство однако не поддалось на эту удочку и внимательно смотрело на Сергея, желая уловить выражение его лица: Сергей выглядел очень осмысленно и дважды повторил: „Одеяло... одеяло".

Тогда Федор набросил ему на голову салфетку, и на мгновенье Сергей очутился в беловатой полутьме.

Наклонившись к уху Сергея, еще прикрытого салфеткой, начальство зашептало, впрочем, достаточно внятно:

— А скажите, как это есть такое выражение: менаж втроем?

Окрошка булькала во рту сидящих и смеющихся.

— Хорошо живете, — говорило Обожаемое, — и весело, и дружно. А я вот здесь без семьи и прямо с голода подыхаю. Спасибо вашей бабусе, что прислала баранью ляжку, — я ее в два дня сгрыз. Я тоже думаю выписать из Москвы дамочку покрасивее, — скучно, знаете, одному.

Федор пытался перевести разговор на другое:

— Шурфы, — говорил он, — венцовая крепь, стоимость углубления шурфов...

— Потом, потом, не увлекайтесь работой, Федор Федорович, за обедом нужно что-нибудь приятное для пищеварения. Вот была у меня когда-то Розочка, так, понимаете, в трамвае нельзя было ездить, — все на нее глазели, до того алебастровые плечи.

Сергей смотрел себе в тарелку: среди кваса, подбеленного молоком, плавали в светоносных водах кусочки стеблей зеленого лука, огибая скалы вареной картошки и волокнистых отрезков темного мяса. Болтая ложкой, Сергей устраивал бурю у себя в тарелке: все лезло друг на друга, среди водоворота можно было выловить наиболее лакомое и почувствовать в освеженном рту вкус окрошки.

Начальство между тем уже говорило про Леокадию:

— Интересная женщина, ну, как не устроить на службу. Пускай себе чертит дудки — это изящное рукоделье, как в старину рисовали в альбомах.

Сергей вздохнул и поднял глаза.

— Со мной тоже случился интересный случай, не здесь, правда, а на Камчатке.

— А в качестве кого вы там были?

— Разрешите обойти этот пункт молчанием, говорить о себе я считал бы нескромным. На Камчатке хорошо знакомы с сопками, но совершенно не знали любви. Бедность природы не способствовала развитию чувств, на полях рос один только лук, и прирост населения был крайне медленным. Добротная оленья шкура, добрая бутылка рыбьего жира, — эти вещи гораздо более занимали камчадалов, чем то, что творилось второпях в убогих юртах, отдающих ворванью. Так продолжалось до двадцатых годов прошлого столетия. Известно, что

как раз тогда произошла пресловутая ссора митрополита Платона с императором Александром. Дело в том, что митрополит, учитывая увлечение светских людей всем французским вплоть до католицизма, решил, в противовес, отправлять православное богослужение на французском языке. „На всяком языке можно поведать славу божию, — так размышлял митрополит, — отчего же не читать ектенью на французском, она тем скорее проймет сердце дам, с высокими талиями и прическами à la grecque, и закоснелые умы престарелых вольтерьянцев". Митрополит сам взялся переводить текст литургии. Настал долгожданный день. В Казанском соборе на амвон вышел дьякон, встряхнул шевелюрой и прорычал: „Бени, деспот" — так митрополит перевел „Благослови, владыко". Аракчеева, присутствовавшего при богослужении, передернуло. Молодые люди, гнусного вида, во фраках, аплодисментами встретили этот возглас дьякона, и никогда стены собора не наблюдали такого энтузиазма молящихся. Молебствие вылилось в нечто политическое. Когда же хор мальчиков, в польских кунтушах, плохо справляясь с французским произношением, затянул серафическими голосами: „Сеньер, ейе питье де ну, тье де ну, тье де ну", а басы подхватили: „Туа, сеньор, а туа, сеньор", пришлось вмешаться самому санкт-петербургскому обер-полицмейстеру и экстренными мерами прекратить увлекательное богослужение. На другой же день митрополит Платон был высочайше выслан на Камчатку. Там он немедленно занялся изучением камчатского языка и сделал в нем такие успехи, что уже через месяц в провонявшей юрте, именовавшейся кафедральным собором, произнес проповедь на этом языке перед насильно согнанными из окрестностей камчадалами и алеутами.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Темой для проповеди он взял текст апостола Павла: „Любы долготерпит“. Изысканным камчатским языком, округленными периодами соперничая с Боссюэтом, владыко превозносил достоинства любви по сравнению с верой и надеждой. „Если я любви не имею, — восклицал владыко, уже не митрополит санкт-петербургский и ладожский, а епископ камчадалский и алеутский, — то я медь звенящая и кимвал бряцающий!“ И он с такой силой ударял себя в грудь, что наперсная его панагия издавала действительно металлический звук. Туземцы, пряча свои лица в шкуры, хихикали каждый раз, когда святитель произносил какое-то слово. Впоследствии выяснилось, что он, основательно изучив местный язык и считаясь с требованиями реторики, употреблял здесь такие синонимы, которые в их буквальном переводе возможны были бы в России разве что на заборах. Последствия проповеди просветителя Камчатки не замедлили сказаться. Не прошло и года, как народонаселение Камчатки увеличилось втрое.

Обожаемое начальство слушало с оттопыренной нижней губой. Слюна виднелась в уголках его рта. Оно думало: „Рабкор или не рабкор?“

— Да, — сказало оно, — я здесь работаю с утра до вечера, без ограничения времени. Бывают, конечно, нерадивые инженеры, а у меня с рабочими отношения как с отцом родным. С кулаками борюсь, не правда ли? — обратилось оно к Сергею. — Но самое главное я приберег на десерт. Сударыня, в виду безукоризненной работы вашего сына, а, главное, из уважения к вашим заслугам, я буду ходатайствовать о его повышении в чин производителя работ.

Лямер, молчавшая в продолжение всего обеда, внезапно разразилась смехом:

— Федор — производитель, поздравляю.

Тот накинулся на нее с поцелуями.

— Видишь, Файгиню, добродетель всегда бывает награждена, а порок торжествует.

Начальство, помахав на прощанье ручкой, уехало. Рабочий Федор взошел на балкон. Сергей обрадовался:

— Вы ко мне?

— Нет, с тобой неинтересно, — отвечал парень. Оба Федора зашептались в углу. Сергей изо всех сил старался расслышать.

— О Сергей Сергеиче не беспокойся: это мы уже устроили. Не сегодня-завтра ответ из Москвы должен прийти. А вот насчет...

Сергей, услышав свое имя, подошел поближе.

— Нет, нет, Сережа, вам нельзя этого сказать, вы слишком болтливы.

Сергей обиделся:

— Что за тайны у вас, Федор? Вы с тем Федором, кажется, что-то прохаживаетесь на мой счет?

— Да, да, мы с тем Федором, а вы подождите до завтра.

— Прощай, Федя.

— Прощай, Федя.

Бабушка притащила самовар.

— Ужаснее всего в жизни, — говорил Сергей, — это недостаток чая. Этой зимой у меня как-то вышел весь чай, а по заборным книжкам его не могли выдать раньше, чем через месяц. Я купил бутылочку красного вина и пробовал им подкрашивать кипяток, но это не помогало. Тогда я как раз был сильно влюблен, — не помню в кого. Знаю

только, что это был мой девятый номер, всепоглощающая страсть: отсутствие чая и любовь.

— Дрянь вы и больше ничего, — заметил на это Федор.

— Федор, Федор, — останавливала его Лямер.

— Что же, Файгиню, я тоже люблю чай, его вяжущий вкус. Чувствуешь, как он стягивает десны? Да и для желудка это гигиенично. Давайте-ка, Сереженька, ваш стакан.

Федор налил из одного чайника. Сергей, принимая золотой стакан, сказал:

— Знатоки всегда пьют чай без сахара, чтоб не заглушать аромат.

Но Федор помахивал плиткой шоколада:

— Старорежимный! Всего одна плитка и нашлась. Мне его кооператор в виде аванса продал. Говорит, что остальное, то есть это насчет выдачи сахара, покажет сегодняшняя ночь. Ну, это мы еще увидим. Кому бы мне подарить этот аванс в счет Леокадии?

— Вам, вы опытный соблазнитель и любите древности, — Федор протянул шоколад Сергею.

Бабушка почему-то загрустила.

— Нет, бабуся, пес тебя дери, конечно тебе, а ему только обложку.

Сергей из полученного подарка узнал, что Жорж Борман получил гран-при на всемирной выставке в Париже.

— Только чур, — продолжал Федор, — съесть все здесь же, на месте. За бабушкой надо следить. Когда ее угощают, она любит припрятать конфетку. Потом, когда кому-нибудь захочется сладкого, а в доме ничего нет, бабушка извлекает коробку конфет, — оказывается, там репертуар за целый год, все черствое, слипшееся и пахнет нафталином. Ну,

бабуся, за твое здоровье: кооператор клялся, что эта плитка выпуска 1904 года.

— Да, — подхватил Сергей, — в старинных винах замечательный букет. Откуда он берется? Говорят, будто время — просто категория рассудка. Однако оно дает запах.

Бабушка подперлась рукой и проговорила, обращаясь к Лямер:

— Ах, я тогда была молода, как ты.

Лямер запротестовала, развернула серебряную фольгу и надломила посеревшую плитку.

— Скорее чаю, скорее. Тьфу, — плевался Федор, — я всегда говорил, что старый режим — гадость, Моссельпром гораздо лучше.

Уже отзвонили ко всенощной. Заметив надвигающуюся темноту, Федор ушел в комнату, заявив, что ему еще надо чертить. Через окошко было видно, как засветил он свечку и, смеясь, выводил что-то на бумаге.

— Пока Федор чертит, пойдемте немного пройдемся, Эсэс. Вам полезно окунуться в русскую тульскую стихию. А то вы совсем оторвались от жизни. Дружба с Федором вам поможет: он производственник и энтузиаст современности; держитесь крепче за него. Вообще, я думаю, что ваше спокойствие — это напускное. Пожалуй, вы не очень-то уравновешены. Федор тоже. Когда ему было лет десять, он увлекался курами. Он подзывал их: „гулю, гулю-лю“, и с такой любовью сыпал им на голову зерно, что они разбегались во все стороны. Наконец, их ничем уже нельзя было подманить: они одичали, стали взлетать и ночевали на березах. Знакомый охотник, по нашей просьбе, перестрелял их там. Это, должно быть, в вашем вкусе: охота на диких кур. Ну-ка, расскажите мне, как вы здесь провели время вчера?

— Не знаю, — отвечал Сергей, — Федор говорит, что я антиквар. В самом деле, я люблю историю, героические подвиги минувшего: взятие Перекопа, битву при Аргинузских островах, освободительную войну Германии с Наполеоном.

— Ну, скорее: рассказ номер третий, я ведь их нумерую, — сказала Лямер

— И последний, — успокоил ее Сергей. — Видите ли, действие происходит в 1813 году, в немецкой деревне. Французы мобилизовали крестьян, многие дезертировали. Шорох разбудил крестьянина, он подошел и прислушался: неуверенное дыхание, словно молодого животного. Это был его сын, влажно покрытый инеем сырой ночи. Крестьянин зажал своими твердыми кулаками обмякшее тело, встряхнул его:

— Ты один?

— Нет, отец, тут еще другие.

— Сколько?

— Десятеро.

Большой стог сена, который заполнял одну сторону сеновала, разворошили они до низу, глубоко в его середине устроили вместительную полость-пещеру, в которую залезли все одиннадцать. Крестьянин подал им сверху провиант и тщательно прикрыл убежище сеном.

Парни щупали руками друг друга в темноте, как слепые молодые собаки. Толкали друг друга, чихали, плевались от сладкого, теплого воздуха, ругались, наконец, уснули, постепенно одурманенные.

Теснились вокруг крестьянина, как свиньи, когда он приходил к ним с кушаньем в тайник. Стояли в хлеву над корытами и терли себе покрытые слоем грязи лица.

— Я не хочу больше скрываться, отец.

Старик схватил, встряхнул, словно связку соломы. Юноша заплакал, тихо схватился за шею.

— Зачем держишь меня здесь? Другие не хотят тоже больше.

Старик слышал по звуку их голосов, что они ненавидят его, как тюремщика. Он чувствовал, будто огромный стог сена лежит на нем и давит.

В деревне пошли слухи, что у старика вроде опухоли в животе, которая высасывает всю пищу, так что он непрерывно должен покупать провизию на дюжину дюжих людей.

Из убежища стали вылезать и слоняться по току. Выпрямляли онемевшие, скрючившиеся члены, бегали взад и вперед, набирали полные легкие чистого, ночного воздуха. Опьянев, бродили тогда, обнимались, толкались, барахтались.

Так как своими голосами благодаря долгой отвычке не могли управлять, то вырывались у них дикие звуки, резкий лай.

Провизию на неделю стали съедать в один день. Вода не нравилась больше. Один пробрался к кабаку и принес оттуда кувшин пива.

Крестьянин думал, чем прегрешил он, что должен так мучиться?

Французы повесят его за укрывательство. Пустить огня, и весь сеновал исчезнет, как не бывало.

Отец боролся с сыном. Дождь полил тонкими струйками. Оба были ослаблены: старик — волнениями, лишениями, лихорадкой; молодой — долгим пленением в тесном убежище. Ударяли друг друга поэтому довольно бессильно в лицо, по голове, душили друг друга за горло, таскали друг друга туда и назад.

Молодой был мягкий, теплый, пахнул, как молодые животные; волосы на его подбородке разрослись

буйно и висели пушисто на дряблых щеках. Толстые темнорусые волосы на голове, свалявшиеся со стеблями сена, защищали его от ударов отца, череп которого, угловатый, был почти беззащитно отдан во власть кулаков сына.

Лежа в мокрой луже, оба грызли друг друга, чувствуя под большими пальцами хрящи пищевода.

Вот и все. Милая уютная Германия сто лет тому назад. В ней все рядом: тут барахтаются в канаве, а в двух шагах живет юный Пфеффель и страдает глазами. Дочь хозяина дома, Маргарита Клеофа, из сострадания, служит ему секретарем. Однажды Пфеффель продиктовал ей: „Ты избранница моего сердца. Я благославляю тот небесный час, когда ты впервые стала писать под мою диктовку. Могу ли я надеяться, что ты когда-нибудь будешь чувствовать ко мне нечто большее, чем чувства секретаря?" Письмо было окончено. Девушка тихо спросила: „Как прикажете, сударь, надписать адрес?" „Девице Маргарите Клеофе Дивукс" — так же тихо отвечал юноша. Они поженились и, несмотря на слепоту, постигшую молодого супруга на другой же день после свадьбы, были вполне счастливы. Постепенно их семья стала многолюдной: двенадцать детей внесли в нее желаемое оживление.

Взгляните, небо уже вызвездило во-всю. Вечер и тишина. Хорошо на сеновале в такую ночь, — так закончил Сергей.

— Не забудьте, — возразила Лямер, — что мы еще приглашены к попадье. А вы, Эсэс, кроме всего прочего, сентиментальны. Утром я нашла, что у вас прибалтийская кожа и волосы, а теперь вижу, что у вас и душа прибалтийская.

— Очевидно, это игра природы, возразил Сергей, — правда, я ничего не имел бы против, если

бы сейчас вместо Мирандина и поездки к попадье, мелькнули бы нам веймарские кущи, домики, увитые плющом и крытые черепицей, окна с мелким, частым переплетом. Мы зажгли бы свечу, и вы сели бы играть на спинетте.

Лямер отвечала на это так:

— Чем хуже наш маленький флигель? Шаткий балкон, осевшая на бок крыша, окна, заслоненные кучами прошлогоднего навоза. Луна стоит над ним ласково. И потом, не правда ли, у нас с вами здесь идеальный быт, как по-вашему?

— Мне остается ответить, как сделал когда-то Федор в Петергофе: возможно, возможно.

— Слушайте, я вас должна предупредить относительно Федора. Конечно, он очень добр, отзывчив, приветлив. Потом, вы заметили эту приподнятую верхнюю губку? Хоть я и мать ему, но, по-моему, это красиво. Узнайте, однако, что он способен на самые неожиданные поступки. Этой зимой он потерял оба своих пальто. Зайдет в Москве в столовую, разденется, а, уходя, забудет надеть, только удивляется, что такой мороз. Вот сейчас он увлечен здешней работой. Если б он действительно стал идеальным производственником! Когда ему было лет семнадцать, он в мое отсутствие устроил кутеж у нас на квартире. Понимаете, его товарищи, какие-то девицы, впрочем, невиннейшие; разумеется, вина, ликеры. Молодежь решила стать взрослой: перепились, валялись на коврах, целовались, — и все это без всякого удовольствия. Ведь я его знаю. Просто был опыт. Потом от управдома приходили спрашивать, что у нас творится. Пришлось сказать, что это репетиция новой оперы. Одно время он увлекался преферансом. К счастью, у него тогда денег не было. Я это вам все говорю по дружбе, все

равно вы и сами знаете. Я всегда стараюсь его отвлекать от очередного увлечения. Надеюсь, вы мне поможете.

— Очевидно, Федор пошел в вас, отвечал Сергей, — не инженером бы ему быть.

— Если б у него был голос! Если бы он мог петь Октавиана. По внешности он так подходит. А то приходится обнимать дебелую бабесу в костюме пажа. Прижимаешься к ней и чувствуешь, как шелк готов треснуть под напором ее телес. Однако смотрите, как хорошо луна вылезает из-за края холма. Сейчас она крупная, разжиревшая за день, а, взобравшись на небесный свод, подберет себя, станет поменьше и поярче. Ну, я пойду немного переодеться, побудьте пока с Федором, он уже кончил чертить. Видите, он идет нам навстречу... Знаешь, Федор, обидели тебя боженьки. По внешности ты прямо „класс", а вот голоса нету.

— Не желаю я вовсе быть тенором или меццсопраной. Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальности ребенка. Странно, что у меня не выходят анекдоты в присутствии Обожаемого или буровых мастеров, но я инженер, а вы оба здесь у меня под началом. Файгиню, Сережка, как хорошо, что вы оба сюда приехали. Мне было так скучно. Барчуки-с, встаньте. Оболенский, единица. Оболенский, произнесите тронную речь государя-императора... Однако какая жаркая стоит погода, — это по случаю вашего приезда.

Действительно, несмотря на луну, прохлады не было: жар шел от земли, медленно расплываясь в льющемся сверху свете.

Сели на бугорке, сперва молчали, прислушивались к тишине, потом Сергей сказал:

— Какая сейчас эпоха, Федор?

— Великая!

— Нет, я не про то, Федя. Видите, какой неясный свет, исчезли в нем ваши красавицы-вышки, исчезла деревня, наш дом и сеновал, нет ничего, кроме этих белых полей и полноводного света над ними. А это, не правда ли, могло быть и тысячу лет тому назад и через тысячу лет после нас. Разве вы чувствуете, что сейчас вот такой-то год, а не другой?

— Насчет года не знаю, но я чувствую, что вы старше меня лет на пять.

— А знаете, Федя, если бы мы с вами были моложе на три тысячи лет, мы бегали бы по Криту, пустились бы в горы, у вас был бы маленький дротик, мы продирались бы через заросли ежевики, и наши икры были бы расцарапаны вдрызг.

— Подите вы с вашими Критами! Нет, серьезно, Сережа, хватит дурачиться. Вы говорите: ничего не видно, зато слышно; вы прислушайтесь к себе: индустриализация, это бьется внутри нас, даже внутри вас, Сережка. Мы заполняем эту землю по своей воле, — и Федор, привстав, показал рукой на струящийся повсюду полумрак, — а разве вы могли бы быть таким, как сейчас, если бы жили в другое время? Глядите: нету вашего Крита, ежевики и прочей чепухи, а вы и красавицы-вышки — это есть. Может быть вы и не хотите, Сережка, а это так.

Федор, вскочив, попал в игру лунного света и, колеблемый им, носился вокруг бугорка.

— Погодите, Федор, разве вам не хочется ходить голым, есть траву, мычать, отрыгивать жвачку и с пустой, наконец, головой кататься кувырком и хлопать кого-нибудь по спине. Как по-вашему?

— Да я что, я технический студент, я производственник, а вот вы, понимаете ли вы, что для вас сделала революция? Ну, хватит, к нам идет Файгиню.

Лямер в самом деле появилась из полумглы. На ней было лиловое шелковое платье и золотые концертные туфли.

— Вам здесь весело, — сказала она, — но уже десятый час, пора ехать. Жоржик Гусынкин уже запряг лошадь. Федор, иди одевайся. Не в трусиках же ехать.

— А если я хочу так поехать?

— Не глупи, надевай скорей брюки. Да и рубашку не забудь. Твои буровые мастера, должно быть, будут все в бархатных полукафтанах, оттороченных мехом.

— Как ты, Файгиню, стесняешь индивидуальность ребенка, — пищал Федор уходя.

Лямер с Сергеем остались наедине.

— Ребенка... — повторила Лямер. — Когда Федор был маленький, он вместо „грациозная“ говорил „грандиозная“: „Мама посмотри, какая кошка грандиозная“. Я первый раз даже испугалась: вы только представьте себе, что будет, если нашу обыкновенную кошку увеличить раз в десять. Страшилище, тигра лютая!

— А я люблю кошек,—заметил Сергей. Огромные, раз в десять большие, чем обычно, почувствовал он под каблуком ноги, то есть задние лапки котенка, теплые, опушенные белой шерстью. Чудовищный котенок, рыча, влачил их по земле и шевелился под маленьким Сергеевым каблуком.

Развеселый голос послышался со стороны церкви. Как будто бы кто-то кричал:

— Мотенька!

Так показалось Сергею, и он заметался. Федор вышел из дому вполне готовый, даже в воротничке. Красивый значок Осоавиахима был приколот у него на груди.

Оправляя галстук и садясь на телегу, он ворчал

— Не поеду я к этой попадье. Знаем мы их, они сами признаются, что „тайно образующе и тресвятую песнь припевающе". А от ботинок, брюк и воротничка мне тесно и невероятно жарко. Будь моя воля, я бы так поехал. Эх, погодите, чуть было не забыл самое главное.

Федор снова побежал в дом и сейчас же вернулся, пряча что-то в карман.

— Бийэ ду? — спросила Лямер.

Но телега уже выезжала на дорогу, подпрыгнув в рытвине. Все трое седоков повалились друга на друга.

— Осторожнее, не наколитесь, у меня в кармане кнопки, — предупреждал Федор.

— Полегче! — сказала бабушка, показавшаяся в окошке флигеля, в ночном чепце, душегрейке и со свечкой в трясущейся руке.

Миновали ряд домишек, ютящихся у церкви. Их окна слабо мерцали изнутри, и было неясно, какое в них время, быть может, пятидесятые годы прошлого века. Стало темно, так как луна зашла.

Уже проехали развалившуюся Дамкину избу. Показалась темная громада кооперации. Сергей подумал: „Наверное, когда строили кооперацию, замуровали в стену какую-нибудь девушку. Сперва она шла по воду с кувшином, потом ее стали закладывать кирпичом: исчезают ноги, грудь, нос, макушка. Вопли доносятся глухо. А в новых домах экономической стройки подрядчики наваливают в толщу стен всякую дрянь".

Внезапно Федор остановил лошадь и соскочил с телеги.

Когда он вернулся, Лямер спросила:

— Что там такое?

— Ничего, Файгиню, я просто хотел купить хлородонту и зубного порошку, — Сергей уверяет, что надо чистить зубы. Но, оказывается, уже закрыто.

— Еще бы, в этот час. Но, Федор, я вижу, тебе хочется кого-то разыгрывать, — потерпи, мы еще не приехали к попадье.

— Файгиню и Сережка, — отвечал Федор, — здесь скрыты великие тайны. Завтра все объяснится, так что вы тоже потерпите. Облокачивайтесь теперь на меня без опаски: кнопок уже нет.

Ехали за семь верст, в незнакомое село. По дороге Федор останавливал встречных и справлялся, где живет попадья. Сергею нездоровилось, Лямер хмурилась от всей этой затеи.

— Теперь мне ясно, — прошептала она, — „страдать" означает по-тульски просто „любить". Вот и все.

Сергей из вежливости вяло произнес:

— В тысячу восемьсот десятом году то же самое сказал...

Замолчали, так как внезапно стало скучно. Тряслись, засыпали, наконец остановились.

Приехав поздно и войдя в просторную горницу, застали многолюдное общество уже ужинающим за длинным столом различной высоты; он был составлен из разнокалиберных меньших столиков.

Федор шепнул Сергею:

— Вопрос: „А како в Иосафатовой долине, столь малой, разместятся мертвые в день страшного судища?" Ответ: „Ярусами, сын мой, ярусами".

Приехавших втиснули, где попало. В чайные стаканы услужливо была налита водка.

— Однако они выдержали тон: приехали позже всех, видать, столичные, — раздавались непринужденные приветствия.

Соседка в розовом платье сразу же попросила у Сергея папироску и, закурив, сделалась дамочкой с папироской и защебетала:

— Он мне говорит, а я стою и падаю, понимаете...

Сергей не понял, почему она стоит и падает, так как поданная в этот момент индейка вызвала новый прилив щебетанья у розовой соседки:

— Вот так роскошь, держите меня четверо!

Сергей автоматически, повинуясь здешнему чувству приличия, стал держать за талию дамочку с папироской. Но та, пыхнув ему в нос клубом дыма, высвободилась:

— Ах, оставьте, ведь вы не четверо!

Тогда Сергей ощутил, что в просвет между бутылок, стоявших на столе, на него смотрели белесоватые глаза. Он поднял голову и сказал:

— Ах!

Действительно, визави сидела Леокадия, и эти глаза принадлежали ей. Очевидно, по ее замыслу, эти очи должны были быть „очи черные, очи жгучие".

— Ваше здоровье, Леокадия Иннокентьевна! — Сергей, чокаясь, перелил ей в стакан почти всю водку из своего стакана. Та, польщенная, произнесла:

— Какое уж тут здоровье: „Я угасаю с каждым днем, но не виню тебя ни в чем..."

— Какая интересная бледность! — твердил Сергей.

— А плечи? — возразила Леокадия.

— Божественные плечи! Как вам к лицу современные моды.

Но с того конца уже грянула шумная хоровая песня: „Наш паровоз идет вперед, в руках у нас винтовка".

Сколько можно было заметить сквозь табачный дым, кооператор дирижировал хором, держа в руках сороковку: „По волнам, по волнам, нынче здесь, а завтра там".

Он действительно переходил на этот конец стола, к Леокадии.

— Отчего вы не участвуете в пении? — спросил он ее.

— Фи, вульгарные советские песни.

— Да, это верно: гадость — по волнам да по волнам, то ли дело: „Быстры, как волны, все дни нашей жизни". Нынешнее студенчество — это что! Вот я учился когда-то в Московском коммерческом институте, а до сих пор помню: „Гаудеамус изикум ювен эсдум суумус".

— Слышьте, — продолжал кооператор, обращаясь к Сергею, — вы ведь тоже студент?

— Я вам уже говорил, что нет.

— Рассказывайте, так я тебе и поверю! Молодчина ты, — кооператор подмигнул в сторону Леокадии, — одобряю и подписываюсь. Граждане, ну-ка за здоровье Федорова приятеля и за наши с ним достижения. Ура!

Тост однако не произвел должного впечатления: все были заняты своим делом. Только близсидящие сочли его удобным предлогом, чтобы осушить стаканы и вновь их наполнить.

Кооператор взглянул с сокрушением на свой стакан и предался воспоминаниям:

— Молоко — вино для детей, вино — молоко для взрослых. А помните вы трактирчик в Москве на Трубной: селедочка натюрель а ля закусон, да вальсик „Невозвратное время".

— Да, конечно, — вмешалась Леокадия, — столичная жизнь это совсем не то. В Минске я, например, работала на аппарате Юза: русский и французский шрифт. То есть, конечно, нужды никакой не было в работе, но, знаете, просто так, из любви к искусству.

— Искусство, вокальное искусство! — простонал Сергей и подмигнул Федору, едва видимому на другом конце стола. Подмигивание означало: идите сюда. Федор встал, покачнувшись. Он еще не умел при чоканьи переливать водку из своего стакана в чужие, и его глаза выражали выпитое. Сидевшие там Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша вцепились в него.

— Эй, девки, слышьте, пустите Федьку, — понадобился окрик кооператора.

Федор, отирая пот, уселся рядом с Сергеем, и оба неподвижно уставились на Леокадию. Кооператор заметно подбирался к ее обнаженным плечам, но пока-что ограничивался поглаживаньем ее рук.

– Сегодня я буду петь, — мечтательно произнесла Леокадия, осушая стакан водки.

— Красавица, богиня, царица, — шептали кооператор, Федор и Сергей.

— Девки, подать сюда гитары, — распорядился кооператор, вооружаясь сам и подавая две другие гитары Федору и Сергею. Те вовсе не умели играть, но стали, как попало, рвать и щипать струны, руководимые пением кооператора: „Ах, то был вальс, отдаленный и томный...“

— „Милая, очи твои были так полны любви, в них так светилась она, негой и страстью полна“.

-- Раз-два-три, раз-два-три, раз, — постукивали каблуками все сидящие.

— Лю-у-бовь, — воскликнула Леокадия, вскочила, занесла ногу и вспрыгнула на стол.

Хозяйка, то есть попадья, — ею считал Сергей вон ту полненькую черноватую особу, — повидимому, ничего не имела против этого, продолжая безмятежно есть индейку.

— „Я вас люблю, и вы поверьте, когда цыганка говорит. Я вас любить буду до смерти — пока в душе

огонь горит“, — топталась Леокадия на столе, доски которого заходили. Керосиновые лампы освещали напоказ присутствующим ажурные ее чулки на тощих ногах и плоскую объемистую ступню в домодельных атласных туфлях. Выше все терялось в темноте, и только ветерок от сотрясаемого ею платья подтверждал существование продолжения.

— „Мне черный хлеб в обед и ужин моих страстей не утолит — мне поцелуй горячий нужен: во мне цыганска кровь кипит!“ — вступила Леокадия пяткой в блюдо с индейкой. Противоположный край блюда хлопнул по столу. Все вскочили. Леокадия на руках мужчин была вынесена в другую комнату, и на минуту стало видно, что к ее подошве пристало волокно индейки. В узком проходе произошло стеснение. Лямер куда-то исчезла, а Федор с Сергеем были отброшены от передового отряда, несшего Леокадию. Она, оглянувшись, приметила это:

— „Пусть он изменит, пусть он оставит, — плакать не стану, ведь я молода. Новый поклонник его мне заменит, горе ему, а мне что за беда! Пусть он поищет очи чернее, ласки нежнее, румяней уста! Знаю, придет он и плакаться будет... О, как смеяться я буду тогда!“

— Слышьте, какой у вас волнующий, низкий голос, — щипал кооператор Леокадины плечи.

— Кусните меня за ухо, знаете, итальянки считают, что тот не любит, кто не кусается!

В общей неразберихе тяжелый кооператор, поддерживаемый двумя своими приказчиками, тянулся к обремененной бирюзой мочке Леокадина уха.

— Ну-ну, потише, сумасшедший мальчишка, — скромничала та, — а то вы и впрямь откусите.

— Кадечка, кадушечка моя, богиня!

Принесенный в корзинах, появился мараскин, извлеченный из подвалов кооперации, и белая жидкость была разлита в чайные чашки.

Когда все единым духом хлопнули по чашке за здоровье богини, Сергей услышал внезапную тишину. Это был всего миг — застывшие восковые куклы: русские рубашки с узорами крестиком, потные пряди на лбу, завернувшиеся у штиблетов брюки, разбуженные мухи, ползающие по голым девическим плечам, и Федор с какими-то отвлеченными глазами, лежащий, как труп, на диване среди сельских учительниц.

Весна в Париже, фокстрот! — скомандовал Сергей, расстегивая воротник: — „Шума полны бульвары, ротик детский, жалкий, бродят, смеются пары, бурным людским движеньем полон весной Париж, в жилах огонь струится, и может все случиться, с корзинкой в ручке узкой, в этом огне весеннем весенние фиалки продает“.

Все топтались, наседая друг на друга. Опилки внутри сотрясались. Федор плясал с обвисшей попадьей, которая вся колыхалась, как желе, под своим розовым платьем. Малохольная Дуня из скромности отворотила лицо. Феня с Домашей прыскали в платочки от этой парижской картинки. Попадья двумя пальчиками, с пухлым отогнутым мизинцем, теребила подол своего шелка, обнаруживая сероватую, в пятнах, нижнюю юбку.

— Я честная женщина, но чтобы я взяла на фуражку и у меня не вышло бы две, так наплюйте мне в морду, — обмахивалась попадья веером, падая на стул подле Сергея. Федор еще держал ее за руку. — Вы не бойтесь, ангелок, я довольно-таки практична, и вам не буду в тягость. — Потом, переведя взгляд на Сергея, попадья добавила: — Чего

он от нас не отходит, упорный, противный. Не из латышей ли он? Мало ему одной дамы. Вы, Федор Федорович, нравитесь мне тем, что вы невинны.

Федор с такими глазами, какие у него были, когда он сидел за чертежами, прислонился к плечу Сергея. Они ничего не сказали друг другу, но если бы сказали, то это было бы:

— Что, детеныш?...

— Да, Сереженька!..

— Ну, а что касается музыки, тоже не бойтесь,— продолжала попадья,— у нас вся семья очень музыкальная. Моя сестра Сонечка такая талантливая, знаете, консерваторка, и, представьте, утром, как вскочит с постели, не моется, не чешется, а сразу же:

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рах-цим-цим,
Рах-цим-цим,
Цим-ля-ля!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

На другой день было воскресенье, и Федор мог спать долго, хотя и пересеченный полосками света, идущими от плетеных стен сенного сарая. Вчерашний мараскин делал его бледным и нечувствительным к мухе, с упорством ходившей у него по носу.

Сергей встал давно и сидел на балконе, курением отгоняя ос и пчел. Лямер приехала на дребезжавшей телеге.

— Как вы добрались ночью? — осведомилась она: — цел ли бесчувственный труп Федора?

— Отлично, — отвечал Сергей, — я никогда в жизни не правил, но смело взял вожжи. Они показались мне липкими, и я сперва брезгливо выпустил их. Рука моя запахла чем-то, вероятно, колесной мазью. Мне захотелось поцеловать руку. Все остальное случилось очень просто: лошадь сама нашла дорогу домой. Я заботился не о ней, а о Федоре. Во сне он бредил: „акты... миллиметры... тпр, орел, в час до неба...“ Чтобы не растрясло, я положил его голову себе на колени и довез благополучно, — вы можете в этом удостовериться, если пройдете на сеновал.

— Не стоит, пускай отсыпается. Я совсем не выспалась, очевидно, такова судьба всех сеновалов.

— Как так?

— Ну да, ведь нас там положили на сеновале. Я легла довольно рано, задолго до вашего отъезда, и спала бы хорошо, если бы не Леокадия.

— Опять Леокадия!

— Да, это вроде гимна Феди: „И в жар, и в зной, и в час ночной она повсюду“. Меня душили кошмары: что-то наваливалось на меня и потело. Я проснулась и при свете утренней авроры, брезжившей сквозь непритворенные ворота сеновала, опознала Леокадию справа от себя и докторшу слева. Обе бредили довольно неразборчиво, но Леокадия как будто о каком-то „нахале“, ну, а докторша, конечно, все о фуражках.

— Тоже о фуражках? Что они там все помешались на этих фуражках, и попадья, и докторша!

— Какая там попадья? Ее совсем не было дома: устрашенная вечеринкой, она с утра ушла к соседям. А Сарра Бернардовна действительно прирабатывает шитьем фуражек; оклады у медперсонала, всем известно, не велики, а к фуражкам ее приучил еще покойный ее муж. Я попыталась высвободиться из-под Леокадии и стала перелезать через нее. Мне почти удалось это восхождение на Леокадию, как вдруг она проснулась в страшных мучениях, — вечер не прошел ей даром. Я стала будить докторошу. Та была недовольна и спросонок ругалась: „Чорт их знает, не дают поспать спокойно, рожают каждую ночь, мерзавки распутные“. Ее не утешило и то, что с Леокадией приключилось совсем другое. Мы оказали ей посильную первую помощь. Когда же рвота улеглась, мы тоже улеглись и стали мирно беседовать, впрочем, я молчала. Сарра Бернардовна и Леокадия проклинали сеновал: по их словам, сено колется даже сквозь простыню, и осведомлялись друг у друга, как кто из них выходил замуж: „Ну, а он что? Ну, а вы тогда что?“ — „А что вы ему на это сказали?“ — „А что он тогда сделал?“ После начались взаимные поучения: „Я бы, на вашем

месте, сказала бы ему...“ — „Будь я вы, я бы...“ — „Наплюйте в меня, если б я на его месте не...“ Под их задыхающийся шопот я заснула и проснулась поздно, не совсем убежденная в реальности ночных происшествий, если бы не некоторые доказательства... Иса Макаровна, приготовьте корыто в кухне: я сейчас пойду мыться.

— Еще минутку, — сказал Сергей, — а вы знаете, что сделал кооператор? Когда мы с Федором уезжали, он выскочил провожать, хихикнул, потом стал помогать нам, то есть перепутал поводья. Вдруг я ощутил мараскиновый и водочный перегар: „Поздравляю, брат, спасибо тебе“, и кооператор кинулся меня целовать, но так как лошадь уже трогалась, то его горячий поцелуй попал мне в холодное ухо... Однако самовар уже перестал петь. Чай простынет: пойти разбудить Федора.

Под этим предлогом Сергей, почувствовавший резь, сошел с балкона, споткнулся о корень близстоящего дерева, закачался, но все же направился по дороге к сеновалу, впрочем, внезапно свернул налево в кусты и там задержался. Под нижними листьями малины уцелело несколько ягод, очень крупных и переспелых. Здесь-то и произошел у Сергея воображаемый разговор с Федором:

— Вставайте, Феденька, безбожно спать так поздно.

— Безбожно? Стало быть, хорошо, — промычал спящий.

— Ну, не безбожно, а грешно, ведь это мой последний день.

— Ну, вы еще до семидесяти лет проживете, а грешно, стало быть, хорошо.

— Смотрите, Федор, я примусь за финтифлю. Вставайте лучше скорее, пойдемте гулять.

— Да, да, гулять, — спящий перевернулся на другой бок и отправился по небывалым лугам в тот дальний лес на горизонте. Прохладное дуновение благовонного ветерка из тенистой чащи цветущих деревьев довершало радость после утомительного зноя и навевало сладостные думы. Вдыхая сосновый дух, Федор восклицал:

— А ведь хорошо, Сережка!

Под высокими соснами ютилась там всякая мелочь, еловые и березовые подростки. Одни из них были совсем нечувствительны к осени, другие уже смолоду любили на время сбрасывать свои листья, а весной покупать свежие наряды, так как прошлогодние оказывались не впору: так вырастали деревья за время своего обнажения.

— Спит, как убитый, жаль будить его, — сказал Сергей, вернувшись на балкон. Привычное это слово сорвалось случайно, но его уже нельзя было вернуть.

— Так вот отчего это нелепое вчерашнее беспокойство. Все раздражены. Я знаю: в деревне происходит борьба. Правда, деревня от нас за три версты, и я там не был. Но и здесь чувствуется. Мне бы теперь выпить стакан воды с тремя ложками сахару. Леокадия говорит: кулаччйо, дураччйо. Дело ясное.

Сквозь прорехи в полу балкона Сергей видел землю, некогда принадлежавшую помещикам. Балконное подполье зияло темное, и мохнатая лапа Фингала, угнездившегося под досками, когтисто простерлась вперед.

Федор снесет флигель и этот сад. По ночам земля, лишенная яблонь, станет совсем влажной. Вопреки кулачью, дудки будут нарыты повсюду. На месте этого помещичьего флигелька вознесется красавица-

вышка. Уже нельзя будет споткнуться о сучковатый корень и на мгновение закачаться, не зная, устоишь ли, быстро выдвинув вперед ногу, или сейчас коснешься носом земли. Если упасть на траву, почувствуешь под нею тепловатую землю. На такой же земле будет лежать Федор, но только на глубине сорока метров. И как тогда, когда он был усыплен мараскином, неотвязная муха упорно будет ходить по его бледному носу. Целый рой мух налетит в узкое днище дудки и, стукаясь о стены, округло будет виться над ним. Брюшки этих мух густо мохнатятся, как у пчел, виденных Сергеем в улье. Мохнатки липко наседают друг на друга, наперебой стремясь к лакомой свежинке. И среди них лакированная, зеленоватая, блещет навозная муха.

Конечно, Федор шел с работы, как всегда, походкой „неприкаянного ангела", по выражению Лямер, полный какой-нибудь очередной, незначительной думы: о чем обычно размышляют ангелы — о преферансе или о том, что завтра опять рано вставать. Перед ним поля были неразборчивы в темноте. Конечно, к нему подкрались сзади, когда он поровнялся с пятой дудкой, и, конечно, десятник, как обычно, позабыл прикрыть ее щитком. Впрочем, возможно, что щиток утащили на дрова. Негодующий Федор остановился у круглого отверстия, и тогда сахарная ручка Леокадии толкнула его. Потом Леокадия лихо повела угловатым своим плечом и, подбоченившись, пошла прочь. Или неуловимый Мотенька, напудренный „Джиокондой", неизвестным, но свойственным ему жестом столкнул Федора в яму и отправился в Тулу продавать шины. А в доме Сысоича уже ждет всех праздничный коньяк. Кулачье скупило все мыло и Федора погубило, — так обернется песня.

Федор летел бы вниз, вдоль еще недавно измеренных им пластов: кровля красного песку, подошва красного песку, метр с четвертью, затем все дальше, мимо кварцитов, мимо руды. Наконец, голова, хрустнув, коснулась дна, и руки, заломленные над нею тем движением, которым отвечал он когда-то крестьянину, жаловавшемуся на потраву, хрупко сломились. Красна руда, но красен и красный инженер, лежащий ногами кверху на дне круглой дырки.

Лежа ничком, Сергей зубами ощутил бы вязкий и неподатливый вкус земли. Он в это мгновение свежо понял истину, что землю нельзя есть, но, с другой стороны, нельзя быть и рохлей, надо действовать, быть может Федор еще жив и копошится на дне, пытаясь, как тогда в лесу, крикнуть:

— Ау, пишущая машинка, ау, Genosse Sergius.

А что сказать, если Лямер завтра за утренним чаем спросит:

— Цел ли бесчувственный труп Федора?

Сергей помчался бы к буровому мастеру, позабыв о собаках, грозных для него. Окно, брезжившее коптилкой, оказалось закрыто, и Сергей разбил стекло кулаком: „Скорее, мастер, скорее: убийство!"

Стеклянные дребезги впились в раскровяненную руку, острые стеклянные треугольники торчали в пробитом окне.

В комнате произошло бы движение. Сперва с визгом метнулось бы простоволосое, прошлепав босыми ногами к двери в другую комнату. Потом буровой мастер, торопливо натягивающий штаны, оказался бы стоящим перед окном.

— Что? Где пожар?

— Сюда, мастер, скорее!

Тот ухарски выскочил бы в окошко и смотрел бы по сторонам, ища зарева. Среди темени Сергей

ухватил бы его за голое плечо и потащил за собой. У черной дыры Сергей продел бы ногу в канатную петлю, мастер вертел бы ворот. После надземной, уже прохладной ночи охватила бы Сергея теплота внутри дудки, несмотря на то, что мастер „с ветерком" — „ветерочек чуть-чуть дышет" — спускал его в глубокую эту ночь.

-- Что? — кричал сверху мастер, — там он?

Но Сергей летел бы вниз, ухватившись за веревку, слыша только, как режет ему ногу канат.

Над собой через черную трубу дудки Сергей видел высокую луну, а внизу среди мрака возникли перед Сергеем темные пятна:

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Чуть-чуть, муть, на одиннадцатой пути...

Наконец, в судороге Сергей отдернул ногу, завопив:

— А-а!

Растопыренные пальцы его выпустили веревку, и он упал лицом на мягкий, еще теплый, волосистый труп.

„Что за чепуха однако у меня в голове, очевидно, мараскин-то действительно даром не проходит".

Сергей достал папиросу и едва не обжег спичкой себе пальцы, все же успев прочитать на коробке: „Новы Барысау, фабрыка Дамьяна Беднава".

„Ах, какое нежное, чувствительное сердце, ну и рохля же, мешок, баба, идиот, тоже разные обмороки!"

Сергей слышал бы живые человеческие голоса, приятные для него. Над собой он видел уже бледнеющее, предутреннее небо: Кассиопея, Большая

Медведица, Малая, Полярная звезда — там Петергоф. Пониже он увидел большую звезду, стоящую на земле: шахтерскую лампу с фабричным клеймом, на стекле — летучая мышь — Fledermaus, венская оперетка.

„Значит, я-то, по крайней мере, жив, — подумал Сергей, — как хорошо". Штраус-отец, Штраус-сын и Штраус-дух святой, то есть оба они Иоганны, танцовальные залы, где пиво можно плескать прямо в голубой Дунай. Зазвучал летучий вальс „Du und du". Он двинул рукой, подражая тому, кто дирижировал зимой в Филармонии, когда увлекательная иностранная спина плясала, фалды фрака, чтобы не разлететься, соединены были черной тесемкой; слушатели поводили кто ногой, кто плечом, застарелая frische Blutpolka — кусок Европы — прыгала по головам совслужащих, соседняя дама шептала: „Знаете, это действует, как нарзанная ванна".

Сергей произнес довольно внятно: „Du und du".

— Дунду, дурында, дурак, — кричали над ним приветливые голоса. Шахтерская лампа освещала атласные домодельные туфли, топтавшиеся на месте, козловые сапоги, ночные туфли, босые закорузлые ноги. Леокадия ударяла его шарфом по носу, кооператор стыдил:

— Не позорьте нас, старых студентов, вставайте. Что вы целуете эту землю — здесь ведь не могилка Льва Николаича. Да что это у тебя весь кулак в крови. Укокошил, что ли, кого?

— Окошко, — отвечал Сергей, — окошко, вы думаете кого? Нет, я тут не при чем. Пускай себе спит спокойно на сеновале.

— Только меня оторвал от дела, — ругался буровой мастер, — я уж думал, не пожар ли где случился.

— Не дай-то, господи, типун тебе на язык, — сказал бы кулак и стал благодарить Сергея за находку жеребенка.

— Вот вы и свидетелем можете быть, что они не закрывают дудок щитками и вся скотина туда валится, а нам убыток.

— А ты, Сысоич, с них и встребуй.

— Беспременно встребую. Не меньше как двадцать рублей. Ведь что за жеребенок был: мягкий, каурый. А что Федор Федорович станет говорить, будто это тот самый, кому Дамка ногу отъела, так это все врут: ногу он обломал, когда в дудку падал.

Кулак дружелюбно протянул бы Сергею кулак и помог бы подняться с земли. Раздался бы набат: ветхая колокольня вся заходила бы под тяжестью неистового гуда. Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша подхватили бы Сергея под руки, и они веселой, подпрыгивающей компанией подбежали бы к месту пожара. Горел хлеб, еще необмолоченный. В толпе говорили о поджоге из мести, так как крестьянин боролся с кулачьем. Владелец хлеба суетливо стоял с ведром воды, остальные бездействовали. Невысокое зарево разрумянило лица. Старушки жались поближе к огню, чтобы погреть на даровщинку простывшие свои косточки. От гула набата не было слышно речей, только разговоры близстоящих отрывочно доходили бы до Сергея.

Степенно подошедший поп был бы разочарован: он думал, что горит изба, что смельчаки прыгают в огонь, желая спасти иконы и зимнюю одежду, и что при этом кто-нибудь непременно сгорит или задохнется. За похороны можно будет получить мзду, да и на поминках покушать, вздохами прикрывая икоту. Прошлый раз в Ослоновке весело

старика хоронили: пили-пили, потом заплясали, потом Василий Герасимович зубами ушат с водой подымал.

Леокадия в белом платье, ставшем розовым от пожара, стояла бы подле попа:

— С такой усталой душой, как моя, мне так хочется новых, ярких впечатлений, батюшка.

— Да, беда, беда, — отвечал бы священник, по грехам нашим все.

— Неужели он такой грешник, этот погорелец? Скажите, как интересно.

— Ослица Силоамская не виновнее была других, что на нее башня упала и погребла под собой.

Леокадия глядела бы в упор на горящие снопы: те, что были на верху копны, горели свободно, и в сердцевине пламени колосья сверкали, как недавно на полях в полуденном блеске. Снопы пониже краснели, и нерешительное пламя пробовало лизать их. Это побудило Леокадию к богословскому диспуту со священником.

— А как вот это, другое, тоже грех?

— Смотря по обстоятельствам: как, когда и кто.

— Да, это верно, здесь большое разнообразие. Вам не кажется, батюшка, что в старину я, конечно, была б Нероном?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

— Как вы насчет Рима, батюшка?

Дуня, другая Дуня, Феня и Домаша с завистью взглянули на Леокадию.

— Имя-то у вас, сударыня, действительно как бы римско-католическое.

— Еще бы! — повела бы плечом Леокадия и лихо отошла бы в сторону. Но так как она была в белом,

то чьи-то черные рукава заметно образовали бы темный крест на ее стане.

— Что это вы призадумались, Эсэс? — спросила Лямер: — Вам уже надоело Мирандино?

— Нет, это так, — отвечал Сергей.

— А мне здесь нравится. Или это после Москвы? Посмотрите: тополя, детишки, на дороге пыль, под балконом Фингал. Что это он сегодня все лежит? Нет этих, знаете, трамваев, оркестров, режиссеров.

— Да и сахару нет, без него и чай пить не хочется, — сказал подошедший Федор.

— А, мы уже встали! И, кажется, с левой ноги?

— Файгиню, оставь мои ноги в покое. Сергей, идите меня умывать.

Федор, действительно, глядел заспанным, взъерошенным, тусклым, кулачками протирал он себе глаза. Сергей лил воду в протянутые ладони Федора, лицо которого сразу освежилось, покрытое водяным лаком.

— Вы действительно не в духе, Федор?

— Духа вообще нет, пора это знать. Дайте-ка сюда полотенце.

Вернувшись на балкон и отодвинув от себя стакан с чаем, Федор принялся за сочни, изготовленные бабушкой. Он отворачивал верхний лепесток теста и извлекал муку, запеченную в белом твороге. После трех сочней лицо его совсем просветлело, как лик иконы в Успенье.

— Ну, Файгиню, ну, Сережка, дело движется к развязке: истинно говорю вам, дондеже, убо, аще, что завтра будем пить чай уже с сахаром.

— Неужто выдадут! — воскликнула бабушка: Вот сколько здесь живем, ничего нет.

— Что же ты пророк, что ли, Федя? Да и то сказать, встал ты хмурый, желтый.

— Я сержусь, Файгиню, есть причины, да и Сережка уезжает. Ему не придется пить сладкого чая. Оставайтесь-ка вы здесь еще хоть на денек.

— Нет, Федор, мне никак нельзя, вы сами знаете. Но если ваше пророчество сбудется, то да усладит вам сахар горечь разлуки.

— На кого ты нас покидаешь, отец наш? — запела Лямер, вставая из-за стола.

Из-под досок балкона, заходивших под танцующими, раздалось недовольное рыканье Фингала.

— Он недоволен, — сказал Сергей, — у него здешний, местный вкус. Ему, очевидно, больше бы понравилось: „Гайда, тройка, снег пушистый, мчится парочка...“

— Втроем, — добавила Лямер.

Из-под балкона раздалось однако несколько стенаний. Федор, не выдержав, лег на землю и полез под балкон.

— Скандал, скандал, — сапоги Федора, не скрытые балконом, неудержимо плясали. Наконец, отряхивая с локтей землю и куриные перья, Федор вылез, весь красный.

— Кто бы мог думать, ай да Фингал, — Федор прошептал что-то на ухо Лямер. Было слышно слово „шесть“.

Так молока им туда скорее, — догадался Сергей.

— Ах вы, иностранец! Они еще не умеют лакать с блюдца. Фингал их сам накормит. А вот ему, действительно, можно дать молока.

Хозяйка, узнав о случившемся, заметила кратко, что надо будет позвать сегодня же Мотеньку. Сергей умолял пригласить кого-нибудь другого, только не Мотеньку. Хозяйка указывала, что вообще, конечно, дело это недолгое, но она хотела бы доставить Мотеньке удовольствие, так как он иногда

исполнял в Туле ее поручения. Наконец, Иса Макаровна полезла сама под балкон. Сквозь прореху в полу отчасти было видно ее сраженье с Фингалом: отдувающаяся жирная спина хозяйки, костистая собачья лапа, рычанье и крики: „цыц!“

Наконец, уже с наполненным мешком, пошла хозяйка к ведру, из которого недавно черпал Сергей воду для умыванья Федора. Ничего не доставая из мешка, она, немного помяв его, втиснула целиком в ведро и удалилась к колодцу. Сергею припомнились слова Федора, сказанные при умываньи.

— Значит,—сказал он,—Дамка умнее Фингала и недаром выбрала развалившуюся избу.

— Ну, Федя, иди гулять с Сергеем, ведь он завтра уезжает. О Фингалке я позабочусь, это наше материнское дело.

Федор, в русской рубашке, шел по полям, сегодня уже совершенно просторным. Вчерашняя золотая полоса исчезла. Стали курить и напевать, сперва, под влиянием Лямер, из опер, но пение не вышло.

— К чорту папиросы,—закричал Федор,—давайте лучше помолчим.

Пологий овраг выглядел колким от уже стриженой, но не бритой ржи. Роща, где два дня тому назад встретили девушек, стояла тихо, по-воскресному не знающая, что ей делать.

Сели на бугреватой кочке. Федор начал объяснять бурение:

— На конец одного из звеньев штанги, Сережка, навинчивают буровую ложку, а на другой конец ушко, и в проушину вставляют рукоятку. А как все просто у этого бурового мастера: водочка да девочки вот и воскресенье пролетело незаметно. Ему столько же лет, как и вам. Разбитные светлые глаза. Сейчас он, вероятно, прохлаждается. Как по-

вашему, хорошо бы быть таким, как он? Помните девушек тогда в роще?

— Я помню их и в роще и на деревенской улице, и вчера у попадьи. Я только не понимаю, почему, когда я приехал, они сказали, что у них здесь Стратилатов много?

— Ну, это глупость, это буровые мастера сложили такую песню. Вам ее незачем знать.

Рассмеявшись, Федор полетел с кочки. Валяясь по траве и задирая кверху ноги, заголосил он:

— „Во субботу день ненастный, нельзя в поле работа́ть, ни боро̀нить, ни пахать, во зеленый сад гулять“.

„У него выходит, надо и мне“, подумал Сергей, опрокинулся навзничь и попробовал тоже выделывать выкрутасы, но не мог сравняться с Федором. Однако оба решили, что это недурно снова стать пятнадцатилетними.

Из-за кустов раздался смех: тот, другой Федор, сидел там с гармошкой и Марьянкой. Под песни обоих Федоров и Сергея завела она пляску, босоногая, в малиновой юбке. Наконец, умаявшись, застыдилась и села поодаль от своего жениха, покусывая былинку. Сергей и Федор, прощаясь, поцеловали ей руку и подмигнули тому Федору. Оркестр, составленный из прищелкиваний языком, из губ, сложенных для свиста, с всунутыми в рот двумя пальцами для придания посвисту разбойничьего оттенка, из хлопанья в медные тарелки ладоней, уже шествовал по черноземной пашне.

Встреченный землепашец, работавший, несмотря на воскресенье, поглядел, снял шапку и промолвил:

— Бог в помочь.

Но оркестру некогда было отвечать на его приветствие: медные трубы старательно набирали в себя

горячий воздух, готовясь к трем оглушительным и заключительным своим аккордам.

— Стойте, — сказал Федор, — вот кстати проверим десятника: эта Моя невинность забывает иногда прикрывать дудки щитками, туда может попасть всякая дрянь.

Среди хлебного поля утоптано было гуменцо. Коричневый этот песок, по словам Федора, рудокопы называют „табачком“.

— Под ним фосфориты — твердые, глянцовитые желвачки.

— А что под этим щитком? Вообще, что вы чувствуете на дне дудки?

— Здесь сто пятая, глубина тридцать метров. А вот кстати он сам. Ну, как, все в порядке?

Десятник не отвечал, сумрачно глядя на Федора.

— Я тебя, товарищ, спрашиваю, все ли в порядке?

— Если б ты, Федор Федорович, не был моим начальником, я бы с тобой и говорить не стал после того, что случилось.

— Что так? Значит, уже случилось? Вот они, мои-то кнопки! Колются насквозь!

— Сам знаешь. Да не в кнопках дело. А как прочитали все, так и повалили.

— Да и ты знаешь, — возразил Федор, — зачем сам не смотрел. Могло бы выйти и похуже. Жена да боится мужа. Ну не сердись, Моя невинность.

Десятник еще колебался, наконец, пожал протянутую Федором руку.

— Шума-то, визга-то сколько было, — сказал он, — я от них прямо бежал. А ты, Федор Федорович, может, и прав, мне-то оно лучше, авось, теперь она и совсем образумится. Прощай пока, пойду другие дудки обсмотрю. А только здесь мне после всего

оставаться никак невозможно. Попрошусь в другой район.

Федор посмотрел вслед ушедшему. Сергей засуетился, желая узнать, в чем дело.

— Тайна сия велика есть, — отвечал ему Федор.

— Так вы хоть намекните, я догадаюсь.

— Нет, нет, нельзя. Поломайте-ка себе голову.

— Хорошо, поломаю ее вслух. Слушайте: мы сейчас встретили Леокадина мужа. Он десятник, а вы красный инженер. Деревня здесь, разумеется, кулацкая. Следовательно, вы убиты, Федор.

— Но факты этому противоречат: я живехонек.

— Да, мускулы ничего себе, но у того Федора лучше. Ну, тогда другое. Вы с кем-нибудь тайно обвенчались, да? То-то вы в роще все про девушек вспоминали. Вы завтра похищаете Леокадию? Она образумится. Вот почему тут ее муж. Он, само собой, согласен.

— Близко, но не совсем то. Это я, конечно, сделаю завтра в первую голову. Не уезжайте, сами увидите.

— Невозможно, Федор, и так мне будет порядочный нагоняй. Но я заранее вижу: закрытая карета подкатывает к Леокадину дому, вы, как условлено, свистите три раза. Леокадия, в капюшоне, спускается по веревке, которую она скрутила из простыни и прикрепила к подоконнику кнопками. Спустившись, Леокадия пляшет, но накалывается голой пяткой на оброненную кнопку и взвизгивает. Дверцы захлопываются, форейтор гонит стремглав, но на мосту дураччйо, кулаччйо, в масках, с дубинами, вилами, пистонами, окружает карету. „Смерть или кошелек!“ Кошелька у нас с вами нет, значит, смерть. Карета опрокидывается, Леокадия тонет в реке, становится зеленой нимфой, увитой водорослями, и держит зеркало. Все бегут на утопленника, видят

ржавую, как чай, воду, вопят, девицы причитают: „Я страдала, страданула, с моста в речку сиганула“. А вы, Федор, летите из шарабана вверх.

Вот это очень похоже на правду, — сказал Федор, а когда мы с вами сейчас придем домой, оказывается, кулачье восстановило старый режим. Пришлось бы читать французские романы с Зюзи, ездить к обедне, и потом нас с вами немедленно арестовали бы, лишили бы всех прав и состояния, которого, впрочем, у нас нет, и сослали бы в Сибирь.

— Нет, в самом деле, Федор, еще возможно, знаете что? Буровой мастер забрался в шалаш к Елене. Хотя, знаете, я не против этого. У него такие разбитные глаза.

— Ну, Гриша Ермолов ее в обиду не даст. Идемте скорее домой, есть хочется. А вот и Файгиню вышла нам навстречу. А вы, известное дело, дрянь.

Лямер одиноко шла, закинув руки назад.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

— Идите пить молоко. Да и письма получены, Федя: одно из Москвы, а другое здешнее, без марки, — Домаша принесла.

Стенки стаканов побелели. Федор выловил пальцем пенку и стряхнул ее в услужливую пасть Оссиана. Тот повел языком и недоумевал: причастие это показалось ему сладким, но таким мимолетным, словно его и не было.

Федор рассматривал конверты. Одно письмо было толстое, другое тонкое.

— Быть может, в них вся разгадка, — подумал Сергей и торопил Федора вскрыть.

— Не спешите, Сережка. Хорошо отдохнуть после прогулки. Берите одеяло, подушки. Я возьму Файгиню. Идемте в сад под яблони.

Расположились на покатом пригорке. Подушка оказалась серее, чем обмазанный белым ствол яблони, к которому ее прислонили. По настояниям Сергея сперва был вскрыт толстый конверт, причем Федор заметил:

— Московская почта, стало быть, уже пришла. Интересно, как это отразится на вашем тезке. Ну, Сергей, читайте, что мне пишут из Москвы.

— Наверное, какая-нибудь барышня?

— Да уж не без того, само собой.

„Здорово, друг Федор! Шлю тебе преогромнейший привет и желаю в твоих работах хорошего успеха. Я еще не начал вариться в академическом котле после каникул, но температура втрое повышена, а давление, думаю, раз в пять увеличено. Говорят, это полезно. Как сказать, при нашем питании: H_2O плюс капуста. Ну, пусть, что будет! Если этого давления не выдержу и от капель академического котла будут ожоги, то в этом я не виноват, а мое здоровье. Сейчас я чувствую себя так, как чувствует судно, оставшая победительницей после борьбы со смерчами стихии. Ну, а теперь буду описывать свою поездку до Москвы от известной тебе станции. Доехал я хорошо. В поезде находился 5 часов. Только что вошел в вагон, а там уже гремел струнный оркестр, издавая минорные трели. Это ехали наши студенты. Ехали и студентки из педуниверситета, из коих одна своими взглядами, как ярким лучом солнца, резала мои глаза, и я вынужден был отвернуться. Тут же я стал какой-то другой. Гримаса моего лица из веселой стала серьезная. Фразы высказывались мной без окончаний, а через минуту

я уже был с ней познакомлен. Это была прелестная Нина, южанка, после чего я назвал ее „Нечаянной радостью". Ехал так весело, что часы казались минутами. Нечаянная подымала мне дух, и я от восхищения выложил свой репертуар под звуки нежных струн. А разъяренный стальной конь, ни на что не обращая внимания, разрезал сухой жгучий ветер; он спешил доставить нас к цели. Порывистый ветер, давая дорогу гордому рысаку, с шумом пролетал мимо окон и своим визгом приветствовал едущую компанию. Рессоры, как крылья плавающего в воздухе, стремились тихо и плавно качать нашу колыбель, чтоб соблюсти гармонию жизненных актеров. Струны напевают вальс „На сопках Маньчжурии" и своим рыданием, как гипнозом, забирают пылкую, отзывчивую молодежь под свое влияние. Но вот заржал наш рысак, увидев бдительные глаза встречного поезда, и своей встречей отвлек на мгновение всех от струнного магнита.

Тяжело дыша, выносливый степняк бежал мимо окон вагонов и, как паровым молотом, издавая увесистый стук чугунными ногами, тащил свой груз в певучих кибитках. Вот нырнула уже последняя и проскрипела несмазанной осью. И снова все тихо, гремевший оркестр издал посторонний звук, и мы вторично во власти рыдающих струн. Эх, зачем эти звуки?.. Почему они, как ипритом, нас забирают в свою власть? Ну, для чего терзать сердце? Перестаньте же, наконец, рыдать, проклятые струны! Зачем эта встреча? Довольно растравлять рану в груди! Но струны не умолкали и своим плачем усиливали чувства слабого существа. Вот еще раз она запела со мной. Ее прелестные жемчужины еще раз устремились на меня, они горят и своим элексиром жгут мое сердце. „Федор, — окончив, прого-

ворила она, — спой один или еще продекламируй что-нибудь, пока струны напевают „Грусть“, ведь это любимый мой вальс!“

Я не мог отказаться и начал декламировать „Женщина“... Почему? Зачем? Для чего?.. Не знаю... Виновен в этом рассудок, который на этот раз находился под влиянием чувств, что со мной нередко случается. Да, бывают же в жизни минуты, из-за коих согласишься существовать часы, чтоб потом, потом эти минуты жить! Струны все продолжают дрожать, и мы, слабые существа, невольно подражаем им, а рысак все так же мчит, продолжая разрезать жгучий ветер, стучат колеса, стучат и наши сердца и своим стуком, как азбука Морзе, передают все новые и новые чувства. Смотря на нее, я часто вспоминал лето, когда я беспечно практиковался в волшебном селе Мирандине, где так же вот неожиданно встретил пылкость глаз, длинные курчавые косы. Они похожи друг на друга. Вот-вот это волшебное местечко. Лето. Июль. Вечереет. И солнце, скрываясь за горизонтом, своими пурпурными лучами стремится разыскать удаляющие облака, чтобы страстно обнять и со слезами приласкать их в остатний раз. Лес без жестикуляции не дышит... Как будто мертв. Только парочки и компании, прибывающие в лес, дают знать, что все живет и хочет жить. Это милый, храбрый, стойкий бор, свидетель всех гостей. А вот и спокойная река Упа с обрывистыми песчаными берегами, по которой мчит расписная гондола с веселой компанией. Но зачем это веселие?.. Зачем эта бурность?.. Для чего эти трели баяна?.. Жаль, что эта компания не понимает того, что своим весельем она нарушает покой зеркальной реки и отдыхающего бора. Зачем эта толпа?.. Почему ее косы у

меня на груди?.. Зачем эти ласки, лживые слова? Игра глаз? Ах, Леокадия. Но лучше, друг Федор, не надо называть имен. Наконец-то декорация опушки освещена волшебницей-луной! Моя партнерша восхищена! Ее глаза впились в звезды, ныряющие среди пловучих скал, картина закончена моим отъездом. Я думал, больше не увижу, но в пути на север я встречаю такие же глаза и волосы, как будто и она, и сидит так же рядом, и волосы повисли на груди моей. Вот она уже толкает меня в бок:

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

„Но пей же чашку-то, чего задумался? А то ведь приедем скоро!“ Не успела она еще договорить, как отворилась дверь и очкастый проводник проревел: „Подъезжаем, пора собираться, хоть хорошие были пассажиры, но что же делать?“ Звуки струн как будто испугались хрипевшего баса, оборвались и пронесли свое последнее рыдающее эхо по всему вагону. Лица, находившиеся во власти струн, не сразу собирали свои вещи и с какой-то особой сноровкой стремились уловить последнее певучее эхо!

Эх, дружище Федька, ты и без слов меня поймешь, сам знаешь чувства молодых людей. Телеграфировала мне Дуня, что ты за попадьей стал приударять, так желаю тебе успеха; конечно, у всякого свой вкус. А счастливец ты, что остался в Мирандине, но, смотри, мою Дуню (не ту Дуню, а другую) не трогай, а то я с тобой сквитаюсь после.

Остаюсь в надежде на твое благородство любящий тебя выпускник Московского политехнического института“.

Федор, скомкав, бросил листочки прочь.

— Вот и вы, Сережка, тоже так поедете в ваш Петергоф, а Файгиню в Москву. Смотри, Файгиню, ты поосторожнее: встретишь какого-нибудь морячка, чистого, опрятного. Ведь, знаешь, теперь уже немыслимо: „Эй, борода, куды прешь, не видишь разве, что здесь чистая публика". Все стали бриться. Вот только здесь, в глуши еще — но молодежь уже, так что берегись, берегись, Файгиню.

— Сам ты берегись, Федор. А я с удовольствием буду вспоминать эту глушь. Когда поешь на сцене, то вдруг вспомнишь что-нибудь совсем не подходящее. То есть, конечно, думаешь, вот сейчас надо подойти к этому „ре", потом взобраться на „си", но одновременно почему-то внезапно всплывут, ну, хотя бы вот эти яблоки, висящие над нами, или вот этот переливающийся воздух. Сейчас и не знаешь, а потом, зимой, оказывается, все запомнилось.

— Вот и Фильдекос все помнит: закаты, речку, бор. Вы, Сереженька, тоже будете мне писать такие же письма?

— Я отвечу вам, как вы мне тогда в Петергофе: возможно. Знаете, Федор, писать письма — это еще не значит отправлять их. Я люблю ждать ответа на свое неотправленное письмо. Оно совершенно готово, даже марка наклеена (на ней рабочий с энергичным лицом на машинном фоне). Я вожу языком по откидному треугольнику конверта, чувствую вкус клея, вспоминаю, что это негигиенично. У меня начинаются болезни: волчанка, рак языка, аневризм аорты. Наконец, письмо заклеено и опущено в ящик — письменного стала. Я жду на него ответа, и ответы приходят во множестве, каждый день. Меня забрасывают радостными, ужасными, страстными посланиями. Ведь мое-то неотправленное письмо я

мог написать кому угодно. Наконец, примерно через месяц, иногда раньше, когда все ответы перебраны и пережиты, я вспоминаю о своем письме и отправляю его. Ответ, если даже приходит, мне уже не нужен, — у меня были поинтереснее, так что я не всегда читаю получаемые письма.

— Вот как, — сказал Федор. — Надо принять к сведению. А я-то вам писал, писал сдуру.

— И исполнению, — добавила Лямер, — но, Эсэс, неужели вы так же поступаете и с деловыми письмами? Теперь понятно, что вы не сделали никакой карьеры и остались пишбарышней. Смотрите, не останьтесь старой девой. Мы с вами однолетки, но зато у меня есть сын, а у вас нет. Но из письма Фильдекоса я вижу, что здесь, оказывается, роман на романе, а я и не подозревала. Только вот у нас почему-то не клеится.

— Отлично клеится, — пылко возразил Сергей, — давайте считать: я преемник Фильдекоса, мой роман с Леокадией — раз. Роман Федора с попадьей Саррой — два. Недаром у него такое влечение ко всему церковному. Бабушка и церковный староста (заметьте фамильное сходство) — три. Тот же самый Федор и одна из термометров — четыре. Это было еще до моего приезда. Наконец, ваш роман, Лямер, с кооператором — пять.

Лямер играла хворостинкой.

При этих словах она положила ее на одеяло, острием к Сергею.

— А я думаю о шестом.

— А я о седьмом, — проговорил Сергей.

— Как о седьмом?

— Ну да, это наш с вами роман, Лямер. Вчера мы гуляли при луне, — для деревни этого вполне достаточно. Да и Обожаемое тоже...

Лямер снова взяла в руки хворостинку.

— Ну, Федя, а ты что скажешь.

— Я, Файгиню, даю в твоем присутствии торжественное обещание, что свято исполню просьбу Фильдекоса.

— Бедная эта Дуня, — вздохнула Лямер, — а ведь она недурна собой: что-то меланхолическое в лице, черная челка. Вы за какой цвет волос стоите, Сергей?

— Леокадия так белобрыса, что прямо роскошь. Вы знаете, у Федора завелись какие-то тайны с ее мужем.

— Теперь это уже не тайна; вот смотрите, — полез Федор в карман. — Чорт, это не то. — Федор вскрыл наконец и второе письмо. Там оказалась четвертушка бумаги, отчасти даже разорванная и с дырками по углам, видимо, от кнопок. Некоторые строчки были начерчены печатными буквами, другие в промежутках между ними набросаны беглым карандашом: „Граждане деревни Мирандино! Вы подлец и мерзавец! Сегодня в воскресенье Так оскорбить женщину! В час дня приходите. Погодите, я вам этого так не спущу! Все к Леокадии пить. Подписываться нечего — та сладкий чай которую вы, гадина, знаете. Вход свободный".

— Ты думаешь, Федя, — сказала Лямер после раздумья, — что ты прав? Ведь все-таки она действительно женщина. Воображаю, как она убита.

— Файгиню, это совершенно неважно, кто убит — женщина или не женщина, теперь равноправие. Лямер стала обнимать сына и растрепала ему золотистые кудри.

— Ах ты, мой Федор грандиозный, все, что ты делаешь, все хорошо.

— Это не я один, это мне тот Федор посоветовал.

— Ну, значит, оба Федора — пара пятак. А оба Сергея... нет, ты только взгляни, Федя, какой вид у Эсэса.

Сергей напрягался изо всех сил, чтобы понять, морщил лоб и отирал платком.

— Опят кто-то убит, то есть убита. Но я уж больше не могу. Довольно.

— О чем вы думаете, Эсэс? — спросила Лямер.

— Я думаю о том, как по-немецки сахарный песок?

— Ну, и что же надумали?

— Не правда ли, Файгиню, — смеялся Федор, — у Сергея в лице что-то поэтическое: эти капли пота на лбу, вроде Дуни. И потом сходство с кооператором. Недаром они тезки.

Федор стал хлестать веткой и Сергея, и Лямер.

— Меня-то за что? — оборонялась Лямер.

— И тебя есть за что, Файгиню. Ты тоже сочинитель, не хуже Сережки.

— Извините, сын мой, я стихов не пишу. Ну-ка, Эсэс, читайте их кстати.

Так как Сергей ничего не помнил наизусть, то ему пришлось пойти в сенной сарай, где лежал весь его скарб.

Пользуясь отсутствием Сергея, Лямер обратилась к Федору:

— Ну, как дела, Федор?

— Дела? Хорошо, Файгиню, спасибо. Работа идет по-маленьку.

— Ах ты, великий молчальник земли русской. Сергей, тот болтает без умолку.

— Сережка? Он, правда, довольно милый, но дурак страшный. Как по-твоему, Файгиню?

— Видишь ли, Федор, он так долго сидел над своей Исландией, что это чувствуется сразу.

— А какие ты себе платья сошьешь, Файгиню, когда вернешься в Москву? Подлиннее, да?

— Разные, да не о платьях сейчас речь. Имей все-таки в виду, что Сергей — это какая-то помесь Маргариты с этим, как его?

— Ну нет, дело проще — он всего больше похож на ее старую тетку Марту. Ах да, мне надо итти чертить.

— Никуда я тебя не пущу, вовсе тебе не надо. Значит, вы с ним читали в Петергофе?

— Ну да, там чувствуется Запад, я тогда пришел к нему, и мы стали читать как раз про эту Маргариту. Сплошной кожаный переплет — желтый такой, за границей ведь хорошо издают книги. А скажи, Файгиню, какая главная улица в Лондоне?

— Не помню, кажется, Пикадилли. Значит, Федор, это были хорошие, весенние дни, да? Смотри, они уже больше не повторятся. Все в жизни проходит.

А в Берлине, Файгиню, какая главная улица?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

— У тебя тогда была желтуха, Федор?

— Ну да, а в Париже? А все-таки, как ты думаешь, Файгиню, он дурак или нет? Вот на деревне все говорят, что дурак.

— Отчасти, пожалуй, — отвечала Лямер.

— Я еще тогда сразу после первого знакомства справлялся у общих знакомых. Те прямо заявили, махнув рукой: „Сергей Сергеич? Так ведь он же с придурью“.

Мать и сын барахтались, невольно скатываясь с пригорка. Наконец, Лямер оттолкнула от себя Федора, проговорив:

— Ну и жарко же. Освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю.

— От любви?—осведомился вернувшийся Сергей.

— От жары, впрочем, это почти что то же самое.

Федор, не вставая, потянулся за яблоками, лежавшими кругом в изобилии под яблонями.

— Я тоже изнемогаю, Сережка.

— И тоже от того же?

— Нет, куда мне такая поэзия. Я — от мух. Удивительно, даже в саду их пропасть. Разве попробовать ветром прогнать их?

Федор, приподнявшись, стал трусить яблоню. Ветви заходили. Лямер и Сергей отпрянули в сторону. Федор приговаривал:

— Эй вы, Ньютоны, открывайте скорее какие-нибудь законы. Нет, это на мух не действует.

— В Петергофе, — сказал Сергей, — комаров отгоняют куреньем.

— Так давайте закурим, здесь ведь не вспыхнет. Ну, а как там у нас?

— Все в порядке, — отвечал Сергей, — бочка на месте.

— А живого инвентаря нету?

— Нет, потому что мы с вами здесь, а не там.

— Да нет, я про псов.

Сергею следовало бы сказать, что свезли вику, в полях стало просторнее, в сенном сарае теснее. Свет попрежнему тонкими полосками шел сквозь ивняковую плетенку, но внутри все уже не было таким желтым: к соломе и хлебу прибавился зеленый цвет вики. Мятая газетка, оброненная работником, лежала, вдавленная в землю каблуком.

— Ох, хорошо бы искупаться да недаром поют на деревне: „Хорошо бывать у пру́да, далеко ходить

оттуда", — отмахивалась Лямер платочком. — Раз даже здесь под яблоней так, то что же сейчас в поле? Вчера, когда я пела в полдень под темным небом, у меня загорел нос, кожа сходит, на ночь смазала гольдкремом. Спать хочется, меня что-то разморило. Ну-ка, Сергей, читайте скорей ваши стихи!

Вскоре Лямер пробормотала, зевая:

— Ну, один уже готов. Пусть отсыпается за всю неделю. Наваливается как. Руки разбросал. Читайте, читайте, не останавливайтесь. Сегодня перед вами другая аудитория, чем вчера. Проверьте и на ней свое творчество.

Сергей, сидя над уснувшими, махал руками, отгоняя мух, думал:

„Если бы мои стихи печатались на мышьяковистой серой бумаге, то вокруг каждого стихотворения шла бы печатная надпись: „Осоавиахим. Борьба с вредителями". Мои стихи клались бы на тарелочку, сверху наливалась бы вода, посыпали бы немного сахару... сахарного песку... А от него — смерть мухам, все летят на него и умирают. Трупы валяются по всей комнате. Бабушка веником выметает их, куры клюют мышьяковистые трупы, а потом дохнут. Их продают по шести рублей нам на обед. Мы едим, и вот уже два трупа. Сейчас и я буду таким. Хорошее томленье, только бы вытянуться поудобнее. Ноги липнут в клейкой бумаге. Некоторые мухи приподняли передние ножки, отчаянно машут ими и от этого еще сильнее увязают задними. На их маханье никто не обращает внимания".

— Гражданин, дайте еще стаканчик. Гражданин, я вам, кажется, говорю, а вы ноль внимания.

— Дражайшая моя половина на даче, весь день торгуешь, придешь домой — обедаешь кое-как, во

щах никакого навару нет, понимаешь, да и постель не постелена.

— Что говорить, Осип Прокофьич, недаром в церкви венчаны.

— Виноват, Осип Прокофьич, не признал вас. Что прикажете?

— Сообрази-ка ты нам, братец, яишеньку, да еще бутылочку...

Тузы, ехавшие из Москвы в Сочи и в Кисловодск, поглощали тульские пряники, бутерброды с ветчиной и обжигались кофеем. Официанты стояли у них за спиной, мысленно отмечая, кто сколько съел. Один из официантов думал про себя:

„Хорошее было тогда в Государственной думе заседание. И Замысловский говорил, и буфет торговал. И вот все прошло. А ветчина осталась“.

Раздался звон серебряных монеток, лязг на перроне, и все видение курьерского поезда исчезло в клубах пара. Тогда и Сергею подали стаканчик слитого чая. Он решил быть не хуже тузов и тоже спросил себе пряник. И раньше случалось Сергею проезжать через Тулу, но это всегда было ночью, часа в два, и Тула помнилась фонарями и сонным буфетчиком, нехотя продававшим зачерствелые пряники. А теперь, в закатные часы, пряник оказался свежим, начиненным розоватым вареньем, и свежо розовели вокзальные воззвания. Буфет между тем заполнялся туляками, не боявшимися опоздать ни на какой поезд. Глядя по сторонам, Сергей думал:

„Все-таки какой я дурак!.. Проспать, проспать почти весь день. Где же мои наблюдения, где крестьянский быт? Позор!“

Сергей вскочил. Выпавшие давеча из его рук стихи разбросались по телам Федора и Лямер.

00064771

Один из листков торчал из ласковой пасти теленка, подошедшего во время всеобщего сна. Солнце было явно на ущербе, удушье уже миновало.

Сергей, метнувшись, наступил на ногу Федору и машинально извинился перед спящим. Но у того приоткрылся глаз:

— Ничего, Сережка, ничего. Я люблю рано вставать.

Лямер тоже проснулась и сказала:

— Ваши стихи произвели на меня чудесное впечатление. А теперь давайте немного пройдемся перед обедом, надо разогнать этот сон. Идемте вот туда, я думаю, вы проведете меня к Елене.

— Провести вас? Я этого не собирался делать, но если вы хотите, то извольте, мы с Федором проведем вас.

Окликнутый матерью, Федор сперва опешил, потом набросился на нее с поцелуями, распевая свой „Материнский гимн": Ой же ты моя пампушечка, Файгиню, душечка!...

— Хватит, Федор, — оборонялась Лямер, подражая Леокадиной интонации: — Ах, оставьте, сумасшедший мальчишка, противный, противный!

Сергей взял под руки и Лямер и Федора и повел их, по дороге занимая разговором:

— На Кавказе, например, в Сванетии, находят много старинных монет. Взгляните на этот мой золотой зуб, — Сергей приподнял верхнюю губу, — он покрыт коронкой времен Веспасиана. Вообще в Тифлисе хорошие зубные врачи.

— Пожалуйста, Эсэс, не заговаривайте нам зубы, а ведите прямо к Елене.

— Я нисколько не уклоняюсь от прямого пути, но дайте мне кончить... Одна знакомая барышня купила за тридцать копеек в Тифлисе на базаре

три римских серебряных монетки. Ее жених, которому она показала их, объяснил, что на эти монетки можно было бы дважды пообедать в древнем Риме, между тем за тридцать копеек едва ли можно промыслить в Тифлисе самый плохонький чохохбили.

— Очевидно, веспасиановские деньги теперь ничего не стоят, как и николаевские, — заметил Федор.

— Там же, в Сванетии, — продолжал Сергей, — в одной горской церкви открыли серебряную позолоченную икону, изображающую распятие. По обе стороны, как обычно, луна и солнце, но, знаете, какие они? Солнце — кованая головка, луна же — в высоком венце.

— Да бросьте вы, наконец, этот Кавказ, — возмутилась Лямер.

— Никак нельзя его бросить, потому что мы сейчас вступаем в него: этот яблочный сад велик — девятнадцать десятин — и делится на части: Погорелое — здесь когда-то был пожар, Псарка — по имени бывшей здесь некогда псарни, и, наконец, Кавказ — родина ваших грузинских предков, граждане Стратилаты. Видите, какие здесь колдобины, рытвины, ямы, здесь растут самые лучшие яблони.

— Прощай, бабы, прощай, девки, уезжаю, уезжаю я от вас на злосчастный на Кавказ! — загорланил Федор.

Лямер споткнулась о сучок. Сергей показывал путь обоим. Встретившийся садовник служил лишним доказательством, что действительно уже начались пределы Кавказа, так как это был черкес. Еще при помещике наняли его охранять усадьбу, надеясь, что незнание русского языка охранит его от влияния окрестных крестьян и сделает из него верного стража. Теперь он уже состарился, сохранив тонкий

нос и еще более тонкий стан. Он сидел под яблоней и плел корзинку, напевая что-то, где повторялись звуки „ч", „х", „р".

— Что ты поешь? — спросила его Лямер.

— Вот слова песни, — отвечал черкес: — „Зачем ты мне даешь, бог, плохо, мне хочется харашо!"

— Вот первые проблески антирелигиозности, — заметил Федор и уже готовился запеть похоронный марш, но Сергей увлекал вперед:

— Не стоит тратить время, нам предстоят вещи более интересные. Этот черкес — его зовут Сервиром — совсем обыкновенный.

Лямер, увлекаемая Сергеем, все-таки успела на бегу задать ему вопрос.

— Ну да, — отвечал Сергей, — в ту пору по Темзе еще плавали лебеди; молодые актеры, перед тем как итти играть Джюльет и Розалинд, купались под мостом и, нырнув, раскрывали под водой глаза, видели зеленую воду и смутный, сквозь нее, театр Глобус. Потом, одеваясь на бережку, повторяли друг другу: „Thou art all my art".

— Уроки английского языка — это полезно, — воскликнула Лямер, ахнув при виде открывшейся прогалины.

Вид в самом деле был хорош: свежая лужайка, обступленная лучшими яблонями. В зеленой мураве румяные садовники лежали, отдыхая. Тут были: Вася Мускобойлов, Петя Петров и Гриша Ермолов, последний в фетровой шляпе. Через отверстие в шалаше были видны дородные колени Елены, — видимо, ей было очень жарко, и она сидела в легком одеянии. Вскоре раздался ее небесный голос, заполнивший ясную эту поляну.

— Как чудесно поставлен голос, — шепнула Лямер, — какая кантилена, какие верхи.

— Да, это верхи, — подтвердил Сергей.

— Кому же из нас петь? — совещались смущенные Лямер, Федор и Сергей, — у Сергея совсем нет голоса, Федор вообще просто горланит.

— Придется вам петь, — обратились к Лямер.

— Так и быть, — согласилась та, — хотя выступать перед Еленой гораздо страшнее, чем в концерте. Ну, попытка не пытка, попробую костромскую.

Лямер села на пенек и начала.

— Повеселее! — повелительно раздалось из шалоша.

— Еще веселее! — вскоре последовал шалашный возглас.

Лямер уже давно вскочила с пенечка. Ее локти и плечи ходили в такт песни, лицо разгорелось, она подмигивала углами рта. Сергей только сейчас вполне понял, какая чудесная артистка таилась в ней. Оглянувшись по сторонам, он заметил, что все садовники, взявшись за руки, действительно образовали живое кольцо, золотое в этот час. Федор плясал вприсядку посреди них. Ноги Елены, видимые в отверстие шалаша, мерно топтались в лад происходившему. Тогда Сергею ничего не оставалось делать, как бить в ладоши, за что он и принялся с усердием. Потрясенные яблоки падали с ветвей.

Наконец все умаялись. Тогда Елена позвала Лямер к себе в шалаш. Садовники тем временем подобрали опавшие яблоки и разложили их кучками по сортам.

Когда двинулись в обратный путь, Лямер взяла под руки Федора и Сергея и повела их. Предварительно все запаслись яблоками: коричным, грушевкой и аркадом. Аркад оказался всех слаще.

— Ну, что вам сказала Елена? — спросил Сергей Лямер.

— Многое, но сейчас у меня как-то разбегаются мысли. Помню, она сообщила мне, что искусно приправленный угорь так и назывался ее пищей. Потом она хвалила вот эти аркадские яблоки. Потом она сказала мне еще что-то, что мне неудобно повторить.

— Нет, Файгиню, скажи непременно, — настаивал Федор, — а то придется прибегнуть к методам воспитания.

— Ну, хорошо. Она сказала мне, что я очень умная женщина и умная мать. Вот и все. Ну, и в заключение Елена поцеловала меня в лоб, вот сюда.

Лямер показала на свой лоб, сверху полуприкрытый желтой повязкой, по бокам огражденный белокурыми прядями. Сергей и Федор почуяли аромат, исходивший от недавнего этого лобзания.

— Не правда ли, эта Елена красива? — спросил Федор.

— В шалаше было темно, и я не могла разглядеть, но, повидимому, она действительно хороша.

— То-то же, — подтвердительно произнес Сергей, а затем прибавил, обращаясь к Федору: — Видите, Феденька, этот Кавказ, куда вы собрались уезжать, совсем не такой злосчастный, как Петергоф.

— Да, — сказала Лямер, — я никогда не любила дачных мест: полотняные занавески, площадки для тенниса, велосипеды... В такой обстановке я совсем не похожа на хозяйку дома или на мать. Федор тогда был совсем маленький. Один знакомый непрошенно приехал как-то в Подсолнечную, где мы жили на даче. Нашего адреса у него не было, моей фамилии он тоже не знал, но он умел хорошо описывать мою наружность. Стал он ходить по

00064771

дачам, расспрашивать, и ему сразу указали: „А, это та молодая дама с мальчиком, которая совсем не похожа на мать". Когда этот знакомый пришел к нам, мы в тот день ели привезенный им абрикосовский торт, немного, признаться, размякший в дороге. Однако посмотрите: Жоржик Гусынкин опять принялся за яблоки. Смотри, Жоржик, как бы у тебя не началось все опять сначала.

— Я не пойду туда, — взмолился Федор, взглянув на балкон, — что за чертовщина: опять там кто-то. Это уже называется повторение пройденного.

— Ах, — воскликнул Сергей, — если б можно было вернуть обратно эти три дня. Как бы мы с вами разумно прожили бы их. Никаких кооперативов, никакой этой чепухи.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

— Я бы первым делом поехал в деревню, изучил бы крестьянский и рабочий быт, геологию района и прочее.

Сергей машинально сделал шаг по направлению к дому. Федор провожал его наставлениями:

— Да, Сережка, все проходит очень быстро. Еще семьдесят лет тому назад было крепостное право, а еще раньше — разные силлурийские и девонские формации. А теперь Европа теряет свое первенство: быстрый темп. Кто может поручиться, что будет через пятьдесят лет?

— Ну, так идемте вместе, Федор, — Сергей указал рукой на балкон, — давайте опять сначала. Ведь сельская жизнь однообразна.

— Нет, могий вместити да вместит, а я исчезаю.

Сергей один поплелся вперед к балкону.

Впрочем, рядом с бабушкой сидело только Исчадие. Стол был разграфлен рядом разложенных карт с черноватыми и красноватыми фигурами. Несгибающаяся рука Исчадия дрожала поверх карт и перекладывала их из одного ряда в другой. Тогда раздавался сухой стук костей, касающихся стола. Бабушка с интересом следила за движениями Исчадия и занимала ее разговором:

— Ты что же, Исчадие, вчера не пришла? У нас на обед была окрошка.

— Вашей мадамы испугалась.

— Я мадама не страшная, — сказала Лямер, здороваясь.

— А кто тебя знает, страшная ты или нестрашная. Сегодня и точно не страшная, а вчера-то — неизвестно. Да я уже и запамятовала, что вчерашний день было. Как будто было лето, а, может, и не лето. Все забыла: и как нашу усадьбу жгли, и как папенька умер, не помню — не то от шампанского, не то с голода. Лидочку Воронцову, и ту позабыла. Ура, ура, ура, исполнение желания: четыре короля, произнесло Исчадие равнодушнейшим голосом.

— Целых четыре? — воскликнул Сергей, — это уж чрезмерный монархизм.

Исчадие между тем украдкой очень ласково гладило червонную даму, лежавшую между двух валетов.

Бабушка суетилась:

— Дал бы бог, чтоб исполнилось. А как мы сегодня обедать будем, по-дворянскому или понашинскому? Ну-ка, прими карты.

— Я — дворянка, — отвечало Исчадие, — мы были записаны в бархатной книге.

Бабушка поняла и постелила скатерть, сшитую из двух полотенец.

— Ты уж извини, Исчадие, на обед-то у нас пшенная каша. Все из-за них слухи разные. Говорят, приехала к Федору московская, якобы, мать, богатеющая: на театре бесстыжие будто песни в голом виде распевает и, конечно, тыщу рублей в месяц угребает. Ну, а за курицу понятно, сегодня уже семь рублей запросили.

Появилась миска со щами, и одновременно появились попадья и дамочка с папироской. Она, правда, еще не курила, но отодвинутый локоть и щегольски сложенные пальцы и губки делали ее и без папироски — дамочкой с папироской. Сергей вытаскивал из комнат стулья. На балконе произошло щебетанье, движение и поцелуи. Слышались объяснения попадьи:

— Родит не раньше, как через два часа.

— А у нас здесь утром тоже были роды, — сказала Лямер.

Попадья подозрительно оглядела всех, Лямер, Исчадие, бабушку, Сергея, и продолжала:

— Я к вам совершенно случайно; думали, где бы пообедать, а начальник Федор Федоровича говорил, что у вас обеды ничего себе. Вообще, конечно, я не езжу на роды за девять верст, но после вчерашней вечеринки решила поехать. А где же сам виновник моего торжества?

— Я здесь, — откликнулся Сергей.

— Да не о вас речь, молчите. Мало вам Леокадии, ужасный вы человек. А где же наш Федор? Я ведь знаю, обо всем слыхала: на Леокадию смотреть жалко, она вне себя, рвет и мечет, рвет разведочные журналы и мечет, мечет. Ах, Федор Федорович, малютка, он еще не умеет скрывать своих чувств!

Попадья обламывала кусочки хлеба и бросала их в тарелку со щами. Черные крошки тараканами

плавали посреди капусты. Дамочка с папироской осторожно цедила жижу, мизинцем отодвигая гущу. Лямер не говорила ни слова, бабушка заглядывала в миску, вычисляя в уме, останется ли щей Федору.

— Но где же он? Где мой Федор Федорович?

— Он на работе, — сказала сухо Лямер, — и до позднего вечера не вернется.

Попадья оттопырила пальцы и начала что-то считать.

— Сегодня воскресенье, — торжествовала она, — никакой работы нету. Это только мы, медперсонал, не имеем ни отдыха, ни срока: роженицы прямо не знают удержу. Да, сегодня воскресенье, это ясно: в будни начальник Федора Федоровича всегда по случаю заезжает к вам обедать после работ, а вот сегодня его нет.

Бабушка вздохнула, Лямер переглянулась с Сергеем.

— Что же, — сказал он, — да, сегодня никто не работает, но Федор энтузиаст, он пошел работать в поле один.

— В чем дело? — воскликнула попадья, — вот она страсть: то Леокадию из-за меня оскорбил, то по полям один скитается, не ест, не пьет. Ромео! Ему бы теперь брома: ложку на стакан.

— Хотите еще каши? — угощал Сергей дамочку с папироской.

— Я никогда ничего не ем, — отвечала та, изогнув стан.

— Я тоже. То есть иногда, конечно, делаю исключение. Вот, например, меню моего петергофского ежедневного обеда, ведь вы знаете, я там живу во дворце.

— И мараскин! — оживилась попадья. — И вы уехали сюда из Петергофа? Да я бы наплевала

на всех своих больных, лишь бы разочек так пообедать. Боже, щеки молок! Но кто это там идет по дорожке? Какой сумрачный! Федор Федорович, что с вами?

Попадья пыталась вскочить, но Сергей удерживал ее, схватив за объемистую талию:

— Тише, не окликайте, это не он, это его тень, понимаете, привидения вообще опасны.

— Ну, тогда притаимся и посмотрим, что будет делать эта приятная тень.

Стало тихо. Исчадие, выронив ложку с пшенной кашей, спало, издавая тонкий посвист. Комочек каши, приставший к щеке Исчадия, густо облепился мухами.

Тень Федора между тем гуляла по дорожке, попадая то в тень, то на солнце и, очевидно, считая себя невидимой с балкона. Став лицом к стволу яблони, тень задержалась в таком положении несколько времени. Над ней густо свисали ветви, отягченные спелыми плодами.

Приметив эту позу, попадья промолвила:

— Ну, что бы вы мне ни говорили, я теперь вижу, что это не тень. Да привидения и вообще не существуют. Эй, Федор Федорович, сюда, я вас давно уже жду.

— Осторожнее, — шептал Сергей, — не стоит ждать его, ведь вы не знаете природу привидений. А ну, как оно придет сюда? Здесь вообще тайны. Знаете ли вы, что мы попираем ногами? В этом подполье только что было шесть младенцев, облизанных Фингалом. Вы чувствуете, как это жутко?

— Плевать! Сами вы тень, — окрысилась попадья на Сергея.

— Это у вас не конина? — вслух размышляла она, вылавливая из щей наваристый, красноватый кусок.

Бабушка поджала губы. Обрадовался один лишь Сергей: он все еще в Туле, сейчас он наговорит много ласковых слов приветливой своей соседке. Но ступеньки балкона заскрипели. Лямер и Сергей стали усаживать пришедшего и знакомить его с дамами. Попадья негодовала:

— Это не Федор Федорович, я же вижу: тот в белой рубахе, а этот в синей, тот потоньше, а этот потолще.

— Это от физической работы, я ворот верчу,— говорил пришедший,— попробуйте-ка, какие мускулы.

Попадья пощупала плечо парня.

— Как вас звать? Вы Федор Федорович?

— Да, я Федор Федорович, да зовите меня просто Федей.

— Невозможно: тот совсем на вас не похож, я не с вами фокстротировала вчера.

— Да, не со мной.

— Конечно, не с ним. Не видите, что ли, что это простой рабочий, морщилась дамочка с папироской.

— Федора вчера на вечеринке не было,— стал объяснять Сергей. Лямер подтвердила это. Попадья уставилась в дамочку с папироской.

— Ну, хорошо, пусть я безумно ослеплена, но этой ночью я прозрела, меня Леокадия всему научила. И, представьте, какое счастье: сегодня днем мне говорят, что ее звезда уже закатилась, поле свободно. Я понимаю, Сергей Сергеевич, вы страдаете, у вас, может, в голове все помутилось, но вы все-таки скажите: вы-то там вчера тоже были, вы видели Федора?

— Да, издали, смутно, сквозь табачный дым, я ведь сидел на другом конце стола. Но я не в счет. Никакого Федора вообще нет. Это я его откопал и разложил на пласты: геология тульского района.

— Рассказывайте! Я его, правда, мало видела, но я, поймите это, осязала, когда мы танцовали фокстрот, да, осязала, — протянула попадья.

— Это было только марево, всему виной вчерашний мараскин. Вот и мне померещилось, что там вчера была попадья, а ведь ее не было?

— Да, она с утра ушла из дому, но я ничего не понимаю. Попадья, конечно, могла померещиться, на то она и духовного звания, но чтобы я, медперсонал, привыкшая обращаться со спиртом, так сумела потерять голову от мараскина, так наплюйте мне в физиономию. Здесь какие-то подвохи. Что он каждый день красит волосы, что ли, в разный цвет? Ведь вот же я знаю, что вчерашний был посветлее этого. Э, да и размер головы не тот.

Попадья, пригнув голову парня, растопырила пальцы и быстро смерила окружность его головы.

— Пять пядей, у меня глаз наметанный, значит, так сорок шесть, сорок семь, а тому Федору надо фуражку минимум на пятьдесят два сантиметра.

За столом произошло разделение на два лагеря: попадья переглядывалась с дамочкой, и обе поспешно доедали печеные яблоки; Лямер по-матерински ухаживала за парнем, подкладывая ему в тарелку каши и делая при этом какие-то знаки. Парень быстро жевал, видимо, веселился и старался занимать свою соседку разговором:

— Приедет мужик из Тулы домой, войдет в комнату, скажет: „Что же я в горнице, а лошадь на дворе?“, введет лошадь в комнату, жена шарахнется и замолчит, а он насыплет овса на стол и приговаривает: „Кушай, тетка, кушай вволю“. А моя Марьянка кашу еще вкусней варит.

Дамочка с папироской ежилась и, наконец, перестала есть. Сергей вертел в руках плодоножку

яблока, забывшись, и думал о том, как лошадь черными мягкими губами подхватывает зерна с деревянной доски, потом смотрел на бабушку. Даже она загорела за эти дни, и сморщенное ее лицо тряслось, как коричневое, переспевшее яблоко на ветке.

— Ходят слухи, что вы Федору мать, — тонко усмехнувшись, проговорила попадья, — если это так, слово предоставляется вам.

Лямер едва заметно покраснела и, вместо того, чтобы положить очередную ложку каши в тарелку парня, взяла его за голову нежными и слегка дрожащими руками, остановилась так на мгновенье, потом решительно поцеловала его в лоб. Парень поперхнулся кашей и опустил глаза: в продолжение обеда уже вторая женщина прикасалась к его голове.

— И я когда-то в муках родила Федора, — прошептала Лямер и вдруг, все еще держа в руках голову парня, нахмурилась и воскликнула: — Елена — Еленой, но я сама по себе. Да, я умная мать. Посмотрим.

С деревни между тем стали доноситься пронзительные вопли.

— Я страдала цельну ночку, эх, настрадала себе дочку, — загоготал парень.

Дамочка с папироской вскочила и заторопила попадью.

— Идемте, только б не опоздать, мне же надо знать, чем рискуешь.

Вопли становились все резче.

— Какая некультурность, какая несдержанность, как мы отстали от Запада, — продолжала дамочка.

— Еще бы, — вмешался Сергей, — вот во Франции, например, я читал, маркиза спрашивает у виконтессы: „Э во куш?“ — „А, эн ку д'эвантай“.

Но, говоря это, Сергей почувствовал, что у него под сердцем шевельнулось что-то, пока еще бесформенное, похожее на червя, зеленую лягушку или раздавленного котенка, волочившего паралчные свои лапки.

Он знал, что ему придется потом перерезать пуповину, соединяющую его с необычным этим младенцем.

Дамочка с папироской с понимающим видом процедила сквозь зубы:

— Пошляк. Наехали столичные, и угостить-то как следует не умеют, рабочего со мной рядом посадили.

Обе гостьи исчезли, не попрощавшись. Сергей смотрел им вслед и думал:

„Младенец, вероятно, уже показался, головой вперед, прытко раздирая утробу матери. Хлещет кровь, вываливаются природовые отбросы. Наконец, в неопрятной жиже лежит скорченное зоологическое тельце. Лязгают ножницы в руках одной из Парок, сталь перерезает пуповину, младенец начинает жить отдельно. Через двадцать; лет это будет здоровенный парень. Он будет жать рожь в золотой полдень, а по вечерам мечтать; от этого опять появится новый младенец, опять рожь, полдень, солнце. Но наука прогрессирует: роды станут совершаться под гипнозом, роженица будет совершенно уверена, что она не рожает, а присутствует на заседании женактива и составляет проект резолюции. Трах, никакой боли, и младенец уже появился на свет — конечно, не божий, — это выражение отойдет в область преданий, — а на свет безбожий. Классов уже никаких не будет, поэтому младенец вырастет не пролетарием, не буржуем, а просто юношей, и в солнечный полдень станет жать рожь, отирая рукавом юный свой пот“.

Исчадие проснулось от тишины и раскинуло немедленно карты на уже свободном от кушаний столе.

— Свадьба, свадьба, счастливая развязка, — сказало оно вяло.

А на кого вы загадали?

Да ни на кого. Может, на себя самое, тебе на что знать, молодчик? Уж кого надо, того и повенчаем. Мне вот сейчас снилось, будто отец Александр венчает меня с червонной дамой. Ну, валеты все приуныли, потому я каждому из них могу нос утереть. А за мной стоял король, ведь я не кто-нибудь.

— А я против быта, — возразил Сергей, — к чему эти, знаете, поздравления, венчание, родственники, блины. Я бы поскромнее: невеста да два шафера. Или даже один шафер. Наконец, и невесту можно побоку.

— Ведь вот, гадание чепуха, — вмешался парень, — но что верно, то верно: завтра я женюсь на Марьянке. Мы уж сговорились. Понятно, без всяких венчаний, просто в Загсе.

Все стали его поздравлять, даже Исчадие прошептало:

— Женись, коли уж так тебя покачнуло.

— Я тоже поздравляю, — сказал подошедший Федор, — я у тебя детей крестить буду. Помни, что крещение есть великое таинство, в котором крещаемый при троекратном погружении в воду теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость.

Бабушка, отмахиваясь, ушла в комнаты. Исчадие стало подыматься с табуретки. Оба Федора и Сергей хотели ей помочь, но она с брезгливостью отстранила всех троих, плюнула на пол и поплелась за бабушкой. На балконе стало шумно и весело.

— Ну что, Сережка, все опять сначала, повторение пройденного? Значит, я опять за анекдоты?

— Расскажите, расскажите, я страсть все светское люблю, — изображал кого-то Сергей, обмахиваясь мнимым веером.

— Однажды законоучитель подвыпил и говорит: „Барчуки-с, встаньте-с", — начал Федор.

— Погоди, Федор Федорович, я ведь к тебе по делу зашел, — сказал парень, — у нас на семь часов назначено собрание. А что воскресенье, так это нарочно: чтоб отвлечь ребят от пьянки да от гулянки. Ты обязательно должен быть. Повестка дня такая: о прогулах, о подписке на третий заем, о здешней кооперации, текущие дела, — в них и тебя, и меня обсудят, хорошо ли мы с ней обошлись. Ну, да ее все равно надо было проучить. А кооператор уже сегодня с обеда, как пришла московская почта, куда-то пропал. Утром-то его видели: сидит в чайной „Пробуждение", смотрит на бумагу и пьет ситро: „Я, — говорит, — зарок дал, что алкоголя теперь ни капли, как пострадавший за правое дело". Ну, Федор Федорович, собирайся, а я пойду лошадей седлать.

Федор стал наскоро обедать.

— Все кончено, Федор, — сказал Сергей, — еще раз взойдет солнце, и я уеду. Впереди, правда, еще вечер и целая ночь, может быть она нам еще что-нибудь принесет. Боюсь я, что вас на заседании засудят. Почему это кооператор куда-то пропал? Почему такая тишина в Леокадином доме? Почему и у кого рождается младенец? Мне нужно все это выяснить, ведь на утро я, увы, еду.

— Уедете, и, конечно, забудете о нашем прескромном существовании, а там, глядишь, подвернется какой-нибудь романчик и готово...

А мне так будет здесь скучно без вас.

— Но вы сами, Федор, говорили: „На что тэбэ баран, тэбэ есть Иван, тэбэ не скюшно". А у меня и Ивана-то нет.

Сергей не заметил, что Лямер, вспыхнув, закусила губу.

— Я, напротив, уверена, что Эсэс долго будет помнить здешнее, если не нас, то хотя бы мух, в таком количестве — это редкость.

— Вы забыли, Лямер, о Леокадии. Ах, Иннокентьевна, так жестоко сразить бедное человеческое сердце!

— Так увековечьте ее в своих бессмертных стихах.

— Трудно: никак не подобрать к ней рифмы. Разве вот что: „Леокадия радио". Или составные: „В засаде я, о зоосаде я". Нет, это не поэтично, а можно ли презренной прозой говорить о Леокадии!

— Право, Сереженька, напишите роман из здешней жизни, а мы с Файгиню вам поможем.

— Ну, помогайте, Феденька. Прежде всего, увы, я не успел познакомиться с деревенским бытом. Если бы я здесь провел недель пять или, по крайней мере, не проспал бы сегодня весь день...

— А вы сочините, на то вы и сочинитель.

— Потом, Федор, никак не придумать никакого сюжета.

— Да, это действительно. Погодите, давайте припоминать литературу. Гнев Ахиллеса — сюжет Илиады, затем любовь Татьяны... У нас здесь, пожалуй, не было гнева, значит, остается...

— Помолчи, Федя, — заметила Лямер.

— Отчего же? Взаимная любовь обоих Сергей Сергеичей и Леокадии — отличный сюжет. Вы оба приезжаете сюда, она стоит у калитки в белом

платье, вы оба хотите на ней жениться, но она уже замужем и поэтому вместе с мужем уходит в монастырь.

— По-моему как-то неудобно затрагивать живых людей, — возмутилась Лямер, — они могут себя узнать.

— Ну, Сережа может изменить сюжет. Пусть не он, а Леокадия приезжает сюда, а он с Сергей Сергеичем стоит у калитки в белом платье, но она уже замужем, поэтому оба Сережи сразу же уходят в монастырь.

— Феденька, что за монастырский уклон у вас сегодня?

— Не стесняйте, пожалуйста, индивидуальность ребенка. Через десять-двадцать лет религия совершенно исчезнет, ну, и пропаганда не понадобится. А в романах всегда эпилог: десять лет спустя — кто на ком женился, у кого какие выросли дети.

— Вы, Федор, конечно, женитесь на попадье и с самого утра будете плясать с ней фокстроты.

— Ничего подобного, Сережка, никаких попадий — фу, чорт, даже не выговорить — тогда уже не будет. Зато через двадцать лет у меня отрастет брюшко. Я буду пресолидный инженер, приеду к вам в Петергоф и сниму самую лучшую комнату; бабушке будет уже сто лет, я ее стану показывать в цирке за деньги, пес ее дери; а наша мамочка будет дамой еще в полном соку, и мы ее выдадим замуж за...

— Постой, Федя, — вмешалась Лямер, — давайте говорить серьезно. Какая-нибудь роскошная женщина всегда должна быть в центре. Конечно, о Елене не может быть и речи. Ну, пусть это будет Леокадия, я согласна. Наделите ее всеми совершенствами: молода, красива, обаятельна, прекрасная

общественница, строительница нового быта. Опишите ее наружность, вообще держитесь сборников „Знания“ за 1903 год. А у героя пусть будут недостатки: под влиянием Леокадии он от них избавится.

— Хорошо, попробую сделать так. А второстепенные персонажи?

— Они-то всегда под рукой, берите любых с натуры: пусть кооператор соблазняет Леокадию сахаром, но та непреклонна. Или пусть она возьмет у него сахар, но потом раздаст его поровну между всеми сельчанами. Пусть Домаша будет идеальной сельской учительницей и снабдит всех ребятишек носовыми платками.

— А Федор — идеальным инженером?

— Хотя бы и так. Введите несколько отрицательных типов: местный поп, местный кулак. Не забудьте и о том, что дело происходит поблизости от Ясной Поляны. Пусть все у вас читают сочинения Толстого, но отрицательные типы пусть читают его религиозную ерунду, а положительные — его художественные произведения, приложение к „Огоньку“.

— А можно вывести вас с Федором?

— Федор вскочил и стал плясать по шатким доскам балкона:

— Ай да Сережка, пес его дери, он оказывается и нас хочет „использовывать“!

— Я теперь вижу, Федя, у него тоже легкий демонизм: он „висосал с нас, как с лимончика“, и уезжает, — засмеялась Лямер.

— Не беспокойтесь, — успокаивал их Сергей, — я возьму только некоторые черточки, и в самом сильном изменении изображу только то, чего не было, уверяю вас. Ну, например, Федора я сделаю

идеальным оперным певцом, гастролирующим в Ясной Поляне, наделю его чудным тенором, словом „ангел вопияше“, а вас сделаю...

— Уж не Леокадией ли, раз она у нас положительный тип? — воскликнула Лямер.

— Нет, нет, что вы! Я вас сделаю... кем бы?. Ну, хотите Еленой Прекрасной?

— Мерси, не стоит.

Федор бросился на Сергея и схватил его за вихор:

— Только чур, вы нам первым прочитаете повесть, чтобы мы могли „внести существенные изменения“. Обещаете?

— Ладно.

Тогда Федор погладил Сергея по волосам и сказал:

— А еще лучше, если вы хотите быть очаровательным, как всегда, сделайте-ка, Сереженька, из всего этого исторический роман. Оставьте руду, но пусть ее добывают во времена Ивана Грозного, — ведь добывали же ее тогда здесь. Будет хорошо, и никому не обидно. Хотите яблоко?

— Лошади готовы, — сказал вернувшийся парень.

— Как, только две? — возмутился Сергей, — а я-то как же?

— Да вы верхом и ездить не умеете.

— Нет, Федор, я обязательно должен быть на заседании, иначе я ничего не узнаю. И потом, Федор, чтобы не забыть, что станется с Еленой, когда я уеду?

— Нет, Сергей, я не могу вас взять с собой, а то вы опять какого-нибудь Фенимора Купера подпустите. Вы годитесь только дома. Серьезно, Сережка, сами понимаете: это у нас рабочее собрание, а вы у нас не состоите на службе. С Еленой,

конечно, что-нибудь станется, этого нельзя знать наперед. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Кони у нас хорошие. Слышите, как они фыркают и кусают удила?

— Но только смотрите, Федор, чтобы у вас там не было какого-нибудь Куликова поля, это ведь тоже ваша специальность.

— Не бойтесь, не будет. Ну, до свиданья.

Кони изогнули крутые свои шеи, оба Федора стиснули ногами упругие их бока и умчались. Сергей смотрел вслед, стараясь представить, как они будут ехать.

Открытые ворота сеновала стояли неприютно, внутри было темно и сладко от вики. Сергей слонялся по саду. Наконец, он сел на ступеньках балкона и хворостинкой стал водить по смутной земле, очерчивая будущую повесть. Внезапно он увидел ее всю, светлую, как золотая полоса, по которой он вчера на мгновенье шел с Федором, такую, какой ей никогда не быть на самом деле, как и эти три дня, прожитые в Мирандине, все-таки не были тем, чем могли бы быть. И все же Сергею стало весело: он прикидывал, что можно выкроить из всего этого. Материя была, как говорят портные, узкой. Если это пустить на рукава, то из чего выкроить спинку? Да потом еще брюки. Э, была не была. Сергей стал кроить наугад, пришпилив выкройку кнопками.

Сперва описывалось детство и юность Федора — в петербургских углах, в закоулках около Сенной. Здесь можно щедро обобрать — кого бы? Нет, не обобрать, а оттолкнуться от него, чтобы вышло совсем непохоже. Сергей знал, что приятно читать в трамвае заграничные исторические романы: у Кириллова, когда он говорит о боге, приятно

видеть широкие серые, во вкусе семидесятых годов, панталоны; представлять Ивана Карамазова в пиджачке, реверы которого окантованы тесьмой; роскошную инфернальницу — в пышной юбке, с фрурфру из ваты, подложенной где надо. Паралличные маменьки и разумные детки из заграничных детских книг, русские люди — Смиты, Ламберты, Нелли, Миллеры, Герценштубе, старомодная иностранная Русь, выкроенная в Лондоне и Париже. Федор растет, наступает революция. Здесь Сергей решил дать потрясающие картины — фанфары и пафос. У Федора открывается чудесный голос. Его, как выходца из низов, определяют на казенный счет в консерваторию. Консерватория описывалась бы с величайшими подробностями, не был бы забыт даже тот уличный домик, что находится подле нее.

„Надо познакомиться с консерватористами и расспросить их обо всем, — думал Сергей, — потом надо будет узнать, как вообще учатся петь, что такое все эти диафрагмы, маски, филирование звука и прочее".

Но так как у Федора голос совершенно исключительный, то его отправляют в Италию для усовершенствования. О, тут открываются замечательные вещи. Итальянское солнце, чудеса искусства, можно будет ввести и древний Рим, — и все это после петербургских-то углов.

В римском Колизее у Федора разыгрывается роман с Аннунциатой. Она — сплошь пламень, сплошь исступление. Леокадия и будет этой Аннунциатой.

Народный артист изменяет революции и остается за границей, ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую он поедает чайной лож-

кой, негодуя о конфискованных своих домах, но Федор Стратилат верно служит народному делу.

Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулузы. Это Леокадия. Все любуются на чудесную пару. Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается и вырезает ему голосовые связки.

Казалось бы, все кончено. Но нет, Федор, немой, научается танцовать. Он исполняет патетическую симфонию. Нет, не годится. Здесь надо что-нибудь другое (посмотреть в музыкальном словаре, какие еще бывают симфонии). Кулачье дубинами перешибает ему ноги. Тогда Леокадия закалывается на его могиле, а кулачье идет под суд.

Только вот синьора Стратилато, с ней что делать? По счастью, еще целая ночь впереди. Не забыть бы во время ночных разговоров на сеновале посоветоваться с Федором насчет синьоры.

Сергей прикидывал в уме: если эта линия пойдет сюда, то эта туда. Так. Здесь вот они пересекутся. Нет, не выходит. Эту линию лучше направить вкось и дать второй план. Здесь сдвинуть вот так. Пожалуй, лучше будет Федора обратить в женщину. Он-то и будет синьорой Стратилато. А Леокадию сделать мужчиной, итальянцем, по фамилии Леокадо.

Синьора Стратилато пусть поет не в Ясной Поляне, а в Италии, в Трапезунде (справиться в учебнике географии, какие еще города в Италии). Тогда кулачье удобно войдет туда — это будут фашисты. Местный поп — папа римский. Леокадо сперва был социал-фашистом в Тулузе, но под влиянием синьоры переменился к лучшему, приезжает в Тулу и бесплатно работает в музыкальном

техникуме, обучая туляков бельканто. Фу, чорт, но ведь синьора Стратилато у меня тоже итальянка, как же мотивировать приезд в Тулу? Разве вот по этой линии: их преследует рок. Нет, рок — это не пойдет. Ну, тогда их преследует полиция, а они...

— Что, Эсэс, скучаете? Ведь это ваша последняя ночь в Мирандине.

— Ничуть. Я занят делом. А вы, Лямер?

— Я тоже ничуть. Пойдемте его встречать.

На балконе зажгли свечу. Глупая мошкара, забыв о вчерашнем, опять стала летать на свет. Лицо Лямер явно улыбалось.

Луна светила как-то сбоку, не решаясь взобраться на верхушку свода. Одна половина Лямер озарилась лиловым светом, другая сливалась с черной пашней. Сергей глядел на длинные тени переступающих своих ног. Получалась темная сетка из продольных колей дороги и поперечных этих теней. Чертеж разграфляли сами идущие: смутные поля при приближении Лямер и Сергея покрывались мимолетными клетками.

— Человек — всегда математик, — вздохнула Лямер, что-то мне даже и петь не хочется.

Шли почему-то довольно быстро, словно не гуляя, а по делу. Прислушивались, не раздастся ли топот и фырканье Федоровой лошади. Луна молча зашла, чертеж сменился темнотой. Лямер внезапно метнулась в сторону с дороги: вероятно, всадник померещился ей.

— Ложитесь, Сергей, — сказала она.

— Разве уже стреляют?

— Вы здесь не на фронте. Приложите ухо к земле, не едет ли он? Ну, что?

— Да ничего. Пыль набралась в ухо и как будто бы кузнечик туда попал. Вообще нелепая ночь, —

говорил Сергей, все еще валяясь на земле, — сейчас, наверное, все уже дрыхнут в Мирандине: новорожденный младенец, попадья, девицы, Обожаемое, а земля вращается. Когда она еще немного повернется, все встанут и займутся обычными делами. Хоть бы она помедленнее ворочалась, ведь это последняя моя ночь в Мирандине, а мы с вами бродим, как неприкаянные и вовсе не как ангелы. Ненавижу я все эти рассветы и утра.

— Ну, тогда: „довольно, встаньте, я должна вам объяснить все откровенно“. Знаете, у нас как-то гастролировала очень темпераментная певица. Слова Татьяны: „Сегодня очередь моя“, она пела с инфернальной усмешкой, потирая руки. Всем становилось от души жаль Евгения: того и гляди, она его укокошит.

— Не говорите так, Лямер. Все возможно, почему его до сих пор нет?

Лямер и Сергей стояли, окруженные темнотой. Они поводили ноздрями, втягивая ночной воздух, в котором можно было различить запах соломы на сжатых полях, навоза на дороге и мрака, павшего с неба.

Решили повернуть обратно в Мирандино. Лямер уже давно повисла на руке Сергея, какие-то лощинки заставляли идущих то подыматься, то опускаться, когда вдруг послышался окрик:

— Эй, на базар, что ли?

Встречный остановился и осведомился, не попутчики ли они в Тулу, но, приметив, что Лямер была подруку с Сергеем, только свистнул.

— Так ли мы идем в Мирандино?

— Так, все прямо, потом направо. Стало быть, мирандинские? Как же, наслышался. Нынче в обед там визг, крик. Девки все наседают: „Мы, — го-

ворят, — к тебе чай пришли пить. Ты наш сахар весь спила, всех кавалеров сманила". А она кричит: „Я знаю, чьи это проделки. Он гадина, он сгратилат". Так и вцепились друг в дружку. Насилу парни да из стариков кто поскромнее их расцепили. А жаль ее. За что вы так ее отделали? Сами-то вы, может, и еще почище будете. Думаете, подальше от деревни, так не узнают? Столичная техника. Без рессор на шесть верст кругом!

Сергей вздрогнул и заметил что-то круглое за спиной встречного. Бросив руку Лямер, он вплотную подошел к парню. Пахнуло туалетным мылом и резиной.

— Так, значит, в Тулу, на базар? Шинами торгуешь, да? — прошептал Сергей ему на ухо. — Продай мне коробок спичек, а то я забыл дома. Понимаешь, зачем? Утром в долине был он в кожаной тужурке и три пули в груди. Понял, курить мне хочется до смерти.

Сторговались за гривенник, так как, по словам парня, ему, как некурящему, спички были особенно дороги.

„Не курит, не пьет, идет в Тулу, — соображал Сергей, — дело ясное".

— Скажи, — зашептал снова Сергей, — в которой он дудке лежит? Скажи, ведь уже все кончено, так тебе все равно.

— Давай рубль, тогда скажу, — отвечал парень.

— Да нет у меня рубля. Последний вот был гривенник.

— А ты у ей попроси.

— Нет, нет, она не должна об этом знать. Понимаешь, ведь она мать.

— Го-го, нагуляли уж, стало быть. Ну, прощай, а то не поспею.

— Прощай, только скажи, в которой он дудке, ведь я знаю: вы — Мотенька...

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

— Что? Чего захотел? А в морду не хочешь?

Пахнуло резиной еще сильнее. Галоша в руках парня прошла совсем близко от носа Сергея. Потом Сергей почувствовал пинок босой ногой, и все скрылось.

Лямер безучастно дала себя повести дальше. От усталости она совершенно валилась на Сергея. Наконец, сумрак стал редеть, ненавистный рассвет приближался, и на столбе, в который уперлись идущие, обозначилась надпись: „105-я дудка".

Сергей приподнял щиток, лег у края черной дыры и стал бросать туда зажженные спички. Лямер повалилась на кучку песку.

„Такое равнодушие, и это родная мать!" — думал Сергей.

Спички позволяли на мгновение увидеть глинистую внутреннюю стенку дудки, с рубчиками, оставшимися от бурения. Но пониже был, очевидно, сквозняк, и спички неудержимо тухли. Бросаемые комья земли издавали легкое хлюпанье, разбиваясь о твердое дно дудки.

— Не здесь, значит. А всего дудок — сто пять. Их все надо будет осмотреть. Ночи не хватит, а тут мне ехать пара. Проклятая служба. Ничего, не теряйте надежды, — утешал Сергей задремавшую молчаливую Лямер.

Наконец, показалась дорога, обсаженная елками, налево церковь, направо флигелек, яблочный сад и рассвет, подымающийся над сеновалом. Лямер

прошла в дом. На прощенье она крепко пожала руку Сергею:

— Прощайте, счастливого пути. Я бы проводила вас, но положительно валюсь с ног. Не сердитесь на меня за эту прогулку. Вы, конечно, думаете, что это я нарочно.

Сергей схватился за голову и огляделся. Заря явно уже занималась. Лямер стояла вся розовая, изнеможенная, но улыбающаяся.

— Прощайте, — пробормотал Сергей, — счастливо оставаться вам здесь с трупом вашего грандиозного сына. Впрочем, он от вас куда-то сбежал. Жалею только об одном, что нас с вами не встретило, вместо резинового парня, обожаемое Федорово начальство: оно порадовалось бы такому ловкому обыгрыванию... предметов.

Лямер потрепала Сергея по щеке:

— Ну, ну, предмет мой, довольно злиться. Все к лучшему в этом лучшем из миров. Я тоже жалею об этом: кто знает, может быть, Обожаемое и предложило бы мне поступить к ним на службу десятником, — я бы тогда ведала всеми дудками.

Сергей в полном отчаянии вбежал в темный сарай и сразмаху бросился на ложе.

Спящий застонал и открыл глаза.

— Ай, ногу придавили. Куда это вы делись, Сережка? Куда вы завлекли мою Файгиню? Я уж думал, что вы с ней тайно обвенчались, бежали, и вообще на краю гибели. Ну, что ж, погибли, так погибли. Плачем делу не поможешь. А только никто не уложил ребенка спать, сеновал здесь вспоминал о вас.

— Вставайте, Федор, довольно дрыхнуть, — суетился Сергей по сеновалу, — вероятно, Елена уже проснулась в своем шалаше. Радуйтесь тому,

что вы живы, красный инженер, радуйтесь, что вы молоды и будете молоды и через несколько лет. Смотрите: заря, утренняя свежесть, тополя расчертили светлое небо.

— Надоели вы мне с вашими чертежами. Что вы меня мучите, как обезьяну? Я еще хочу спать.

Пока беседующие совали друг другу в рот сено и катались среди вороха из простынь, одеял и скинутого Федорова платья, близстоящая бочка, на которой был устроен туалетный стол, не выдержала потрясений, и ее днище провалилось. Запонки Сергея и лезвия бритвы Жилет безвозвратно пропали в сене.

— Ну, так и есть, — воскликнула бабушка, пришедшая будить Федора, — трех дней не могли прожить, чтоб не подраться. Да вам-то стыдно, вы старший, — принялась она стыдить Сергея, а заметив задравшуюся рубаху Федора, поступила с ним очень просто, как поступают с пятилетними внуками.

Тот, отбрыкиваясь от нее, повалил Сергея навзничь и вскочил голыми коленками ему на грудь.

— Признаете себя побежденным?

— А вы радуетесь?

— Радоваться-то я радуюсь, — отвечал Федор, одеваясь, — но только не тому, что вы сейчас уезжаете. Зачем вы меня разбудили? Лучше б я не просыпался. Пусть бы я встал, а вас уже нет, Сережка, словно вас никогда и не бывало, а вы мне приснились на сеновале. Ох, приходится вставать и лить влагу очей.

Федор, сложив щепотками пальцы, отряхивал с глаз мнимые слезы.

Сергей уже влез в телегу и прикрывался синим байковым одеялом, как это он делал и три дня

тому назад, когда ехал сюда, к Федору. Стоял тогда такой же утренний холодок, только приезд обошелся дороже, чем отъезд: возчик заломил с Сергея пятнадцать рублей, уверяя, что до Мирандина не меньше сорока верст и что туда ни по какой дороге не проедешь. Сергей не знал, как быть: в своих обстоятельных письмах Федор забыл ему сообщить, сколько верст от Тулы до Мирандина. В Тулу Сергей приехал под вечер, ночевать ему там было негде.

Трясомый телегой, Сергей чувствовал тогда, что у него затекают ноги от непривычной китайской позы, которую пришлось принять. Мелькнули домишки с резьбой вокруг окон. „Семнадцатый век“, отметил про себя Сергей.

Наконец, пригород кончился, открылись вечерние пространства: телеграфные столбы, черноземная проселочная дорога, вольный нескончаемый воздух.

„Да, это несомненно Россия, — и Сергей ощутил себя иностранцем из Парижа, Лондона и Петергофа. — Так вот он, Крапивенский уезд, страна Льва Толстого. Что же, это очень объясняет всю его философию“.

Подле речки встретили отряд физкультурных комсомольцев, певших: „И по полям земного шара народ измученный встает“.

Они только что искупались, и от их наготы несло речною прохладой.

Затем начались тишина и сумрак. Ночная роса пала на Сергея, он закрылся синим байковым одеялом. Возчик смотрел на звезды и ничего не пел. Иногда он кнутом тыкал вверх, в небо, очевидно, он целился в Малую Медведицу.

На рассвете, когда было так же свежо, как и сейчас, Сергей вынырнул из-под своего одеяла.

Крестьяне вереницей ехали на полевые работы. Заметив нос Сергея, выглянувший из-под синей байки, они поздоровались, снявши шапки. Сергей никак не ожидал такого жеста и, смущенный патриархальностью, нырнул обратно в свое логово, но порою с любопытством отворачивал уголок одеяла, чтобы взглянуть на являвшуюся ему Третьяковскую галерею, отдел передвижников. Наконец, возчик остановился.

— Вот и Мирандино. Вам к кому надобно? Спросить разве девок?

— Будьте добры сказать, где тут живет гражданин Стратилат!

Грустный Сергей выпростал из-под одеяла руку, чтобы в последний раз пожать пальцы Федора.

— Все-таки помните, Федор, что если вам почему-либо придется туго, я продам кое-что из вещей, например, пиджак. И потом вот вам еще совет: остерегайтесь кулачья.

— Не беспокойтесь, — отвечал Федор, укладывая на телегу Сергеев чемодан. — Скоро я буду получать триста рублей и женюсь на Леокадии. Если вы действительно с отчаяния продадите пиджак, я вам куплю новый в Тулодежде. С кулачьем мы справимся, а потом, Сережка, бросьте вашу ерунду, участвуйте в строительстве хоть чуточку. Сделайте это, ну, ради меня. Ну, прощайте, Сережка, не забудьте же...

— Да, Федя, никогда не забуду...

— Не забудьте прислать мне бумаги от мух.

Федор вплотную подошел к телеге, поцеловал Сергея и натянул ему одеяло на голову. Под одеялом оказалось душновато, пахло сенной подстилкой. Снаружи не доносилось ни звука. Сергей широко раскрыл глаза в пододеяльной темноте, но

ничего не мог разглядеть: никакого Мирандина уже не существовало.

Сергей поворошил руками сено, сделал себе удобную нору и чихнул — травинка попала ему в нос. Очевидно, наступил вечер, темный теплый вечер на сеновале, где нельзя курить. Табак не заглушал нестерпимого запаха сена, которое вдруг начало колыхаться, трястись, стучать, лезть в лицо Сергею.

Что-то придвинулось и надавило ему правый глаз: это возница переменил место. Сквозь закрытые веки Сергей видел сперва оранжевые полосы, потом белое, струящееся полнолуние.

„Безобразие, — подумал Сергей, — нельзя же таки сразу заваливаться спать; надо попытаться бросить последний взгляд на Мирандино".

Сергей отвернул краешек одеяла. Ехали уже среди незнакомых полей. Нигде никакого признака фруктового сада и Федорова флигелька. Кругом струился розоватый утренний холод, последние звезды поспешно убирались с неба. Возница, задремав, поник над вожжами.

А, мирандинская колокольня еще видна! Конечно, Федор сейчас там, на ней. Он взобрался по истлевшей лестнице. Все ступеньки покрыты голубым голубиным пометом. Федор наклоняется, чтоб не расшибить себе голову, и думает, что давно пора упразднить все церкви. Над ним большущий колокол. К его язычку привязана веревка. Чеканные изображения святых: чугунные, крепкие щеки Георгия Победоносца, медный лоб Михаила Архистратига. Подпись кругом славянской вязью: „Меди столько-то, а серебра столько-то, принес в дар купец Вахрамеев".

А повыше висит детская стая меньших колоколов, не таких басистых.

Федор чихает от утренней стужи, прикладывает руку щитком к глазам, видит обгорелую деревню и различает на далекой дороге ползущую телегу, прикрытую синим одеялом, под которым только что чуть не заснул удаляющийся.

Сергей стал махать носовым платком, но колокольня стремительно уходила в землю, очевидно, ее опускают „с ветерком" в дудку, а она думает о чем-нибудь постороннем и незначительном: о цене на кур, о заседании, о Сергее, и всеми своими колоколами трезвонит: „Растительная земля, нанос, подошва красного песку, песчаник, кварцит, руда, руда, руда!" Наконец, колокольня угомонилась, исчезнув вовсе.

„Доказательство шарообразности земли", подумал Сергей и оглянулся.

Кругом в самом деле была зеленая даль под просторным небом. На пустых полях паслись медлительные стада. Телега тряслась ровно. Сергею не угрожало, что его сбросят на всем скаку, никто не хлестал его кнутом, никто не горланил в свежем воздухе.

Он закрылся байковым одеялом. Действительно, под ним было полнолуние, круглое, как лицо Сергея.

Луна всходила над уже сжатыми полями, сперва бледная, как белый налив, но, взобравшись на небесный скат, наливалась золотым соком и висела долгие ночные часы, как рдяное переспевшее яблоко, готовое сорваться на голову гуляющих. Тогда мягко шлепнулась бы она оземь, треснув сбоку и обдав всех душистым своим соком.

Федор уставал от работы и засыпал в девять часов вечера, Лямер тоже ложилась рано, по гигиеническим соображениям. На деревенской улице

была бы гулянка, оттуда слышалась бы гармоника и гулкие шутки буровых мастеров. Сергей стал бы бродить поодаль один. Он старался бы запомнить этот веселый ночной свет, спускающийся сверху, этот воздух, такой ощутительный, что на него хотелось прилечь, эту почву, теплую под босой ногой.

— Хорошо ехать с веселым седоком, — сказал возница, сдергивая с Сергея одеяло, — мне сперва и невдомек, кто это песни играет под одеялом, не хуже самовара.

Сергей спрыгнул с телеги, разминая застывшие ноги. Прямо перед ним были известные по картинкам, белые, только что отремонтированные тумбы, означавшие въезд в Ясную Поляну. Через дорогу от них, налево, так же юно белела двухэтажная яснополянская школа. Ребятишки на невзнузданных и неоседланных лошадях неслись по деревенской улице все прямо, а потом направо.

Повернувшись к усадебным воротам, Сергей узнал многое: здесь остановка автобусов, на скотном дворе можно получить молоко, а дом-музей Льва Толстого в этот день бывает закрыт.

Пожилая дама, хотя и одетая только в утреннюю распашонку, но все же самого аристократического вида, приближалась к Сергею.

„Нет сомнения, это, конечно, Бибикова“, мелькнуло у Сергея. Он церемонно поклонился Бибиковой, заметив тройное кольцо складок на ее оплывшей шее.

Бибикова с величайшей, породистой и сдержанной простотой произнесла:

— К могилке не хотите ли, молодой человек?

— Как не хотеть! Но как ее найти?

— Идите все прямо, а потом налево — там на дереве есть вывеска.

Среди желтого лиственного леса Сергей в самом деле заметил вывеску: „К могиле“.

Сергей вприпрыжку двигался по этому пути, пока, наконец, не уткнулся в низенькую загородку, ограждавшую могилу и скамейку перед ней.

Здесь Сергей почувствовал всю ответственность этой минуты: как-никак он находился у гробницы Льва Толстого.

„Если я не дурак, не аспид и не ирод, я должен ощущать сейчас нечто совсем особенное. Грусть, положим, я уже ощущаю. Но где же возвышенные чувства? Они, конечно, во мне есть, надо только прислушаться“.

Сергей сел на лавочку и приложил руку к сердцу.

„Ну, что же? Да ощущай же ты, несносный болван“, и Сергей в наказание ущипнул себя.

„Ну, да, я ощущаю — прежде всего эти преющие осенние листья, устилающие землю, потом мягкую почву под моим каблуком, твердое сиденье этой лавочки, потом то, что я сегодня еще не умылся. Хорошо бы сейчас почистить зубы, а потом выпить кофе. Нет, Лев Толстой прав: самое горькое разочарование — это разочарование в самом себе. Федор, Федор... тьфу, то есть Лёв Николаевич, ну, вдохновите же меня. Ну, что вам стоит, Лёв Николаевич“.

Но все было тихо. Никто не откликался на отчаянные раздумья Сергея. На скамейке оказались вырезаны инициалы: „А. А. Г. М. С.“.

„Так, значит, я не одинок здесь, и до меня бывали люди, то есть экскурсанты. Сама судьба послала меня сюда, чтобы передать потомству“.

Сергей вскочил и с блокнотом и карандашом в руках благоговейно стал осматривать ограду и деревья, склоняющиеся над могилой. Теплое чувство общения с человечеством охватило его.

После этого обхода в блокноте Сергея оказалось:

„Болхин, Боря Епифанов, 1925, А. Резунов, Варя, Безсонов, Сазыкин, Силабб, Сорокина, П. и Н. Томазовы, 1928 г. Но будем петь. Не хныкай! Гусли мне радостны, и эпоху будем мы строить. Евстопалов, Бедов, Дуся, Коля, Батузов, Лукавшин, Кооперативная школа 58 чел. 6/VI 1929, Люся, Люда Головановы, Екатерина, Павлик, Женя, Шура, Муся, Володя..."

Смутное, старорежимное, — должно быть, из-за пристрастия некоторых расписавшихся к старой орфографии, — воспоминание посетило Сергея в это мгновение. Гимназическая церковь. Все гурьбой теснятся перед иконостасом. Видны только затылки гимназистов, все акуратно подстриженные. Ближайший к чаше и золотому дьякону называет свое имя, и внезапно узнаешь, что этот вот черненький затылок — Владимир, а тот русый — Николай.

Ни одной гадостной заборной надписи не нашлось, а между строчек висящей у ограды вывески с призывом: „Граждане, не вырезайте надписей, не губите деревьев, которые так любил Лёв Николаич", можно было прочесть начертанное карандашом и полустертое стихотворение: „Ты умер, учитель наш милый, над твоею тоскливой могилой вспомнили мы тебя любя... преклонившие".

А на обороте вывески стояло: „Был прохожий Уркаган, Ярославцев и друг Смелай".

Сергей почувствовал, что из кустов наблюдают за ним чьи-то глаза. Поэтому он снова сел на лавочку с меланхолическим блокнотом в руках. Он обводил карандашом только что списанное стихотворение, и ему казалось, что это он сам сочинил его.

Сзади приближались неверные шаги.

Поза Сергея становилась все грустнее, проникновеннее.

Наконец кто-то потряс его за плечи.

Оба в один голос произнесли:

— Сергей Сергеич, ты ли это?

Потом кооператор прибавил:

— Тоже, брат, уезжаешь? Да, пораскидало нас во все стороны света, точно желтые листочки с дерева. Помнишь, брат: „Золото, золото, сердце народное падает с неба". Эх, склизкая осень. Уволили, брат, меня, уволили. Из Москвы бумага пришла. Еще вчера. Погодите радоваться, мы еще выйдем из подполья. Нет, обида-то какова!

Кооператор размахнулся гитарой и разбил ее о ствол березы. Прежде чем лопнуть, гулкое днище гитары успело отразить последний жалостный аккорд крепких струн. Вместо гитары, в руках кооператора оказалось древко грифа, с которого свисали жилы и проволоки.

— Я тут всю ночь на могилке у Льва Николаича пролежал, всю ее слезами смочил. Авось, маргаритки-то лучше расти будут. Да ты чего, слышьте, тоже такой скорбный?

— Ах, — схватился Сергей за голову, — ах, Леокадия! Безжалостная, так жестоко разбить бедное человеческое сердце!

Кооператор многозначительно прищурил глаз:

— А что? Неужто на самом деле разбито?

— Еще как.

— Ну-ка, стой, брат, мы тебя освидетельствуем.

Кооператор попытался расстегнуть рубаху Сергея, но тот, застыдившись, не дал, тогда кооператор приложил ухо к правому боку Сергея.

— Ничего не слыхать.

— Ну, а теперь?

— Да что-то едва-едва. Тиканье какое-то, словно часы.

— Это и есть механика. Мы, говорят, с тобой похожи. Помнишь разбитую вазу?

— Это что ж у тебя в блокноте се сочинено?

— Да... Впрочем, Федор уверяет, что скоро этого уже не будет: исчезнет собственность, исчезнут и заборы. Давай напоследок распишемся на них, Сергей Сергеич, ведь мы с тобой оба Сергеи.

— А Федор. Ну, не спустил бы мальчишке, если б не это увольнение. А слышьте, мне здесь голос был ночью; лежу на могилке Льва Николаича, думаю о попранной женской чести, потому как я рыцарь. Сверху на меня роса негигиенично садится, сбоку корзинка с провизией лежит. Темно, сыро, верхушки деревьев шелестят-шелестят, понимаешь...

— Понимаю. Это я и сам люблю: близость к природе, например, сеновал.

— Э, брат, что сеновал. Лёв Николаич верно говорит: сеновал должен быть внутри нас. А вот деревья шумят — и это плохо: спать не давали. И вдруг мне издалека так, из могилки, понимаешь, сам Лёв Николаич голос подал: „Пей, Сергей, пей!"

Сергей ринулся прочь от кооператора, уже разбивавшего сороковку о ствол близстоящей ольхи.

Бибикова с двумя сторожами летела прямо к могиле, а Сергей стремглав побежал через лесок, к беленым тумбочкам у ворот Ясной Поляны, и там, наконец, почувствовал под собой культуру, то есть кожаное сиденье автобуса.

Сентябрь 1929 — март 1930

00064771

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЮНОСТЬ

Осмысление (двадцать лет спустя)

Лирические состояния в своей интенсивности доходят до того, что начинают слышаться голоса, которые персонифицируются, кристаллизуясь в прозрачные и противоборствующие персонажи – так происходит брань человека с самим собой.

Внутри себя он, пораженный, вдруг застает нечаянное наличие и тех начал, которые он склонен был бы считать внележащими. Их разрушительное воздействие на потрясенную психику дает обломки чувствований и руины идей, что соответствует и украшенному ложными руинами и нарочно незавершенными статуями парковому пейзажу города-дворца.

Диалогическая форма может ввести в заблуждение относительно драматического характера происходящего, но нечего искать действия в том, что подчеркнуто озаглавлено как "бездействие". Завязка, казнь, развязка – здесь лишь рудименты, отмирающая игрушка, так что принимать драматическое развитие за чистую монету можно лишь по наивности. Но оно всерьез находится в каком-то контрапункте к ходу психологического конфликта, проекция которого на старомодную плоскость театральности и создает видимость фабулы.

Мучительность переживаний из своеобразной стыдливости прикрыта шутливостью. Балаганная рифмовка, предусмотренная, впрочем, словарным составом языка, дешевые каламбуры, и, местами, веселенькое стрекотанье ритмов текста старинных опера-буфф, – все это подсказано самой природой языка, а это наводит на мысль, что языковое шутовство есть метод вскрытия и уловления метафизики, таящейся в недрах языка.

Бездействие первое

1

Канат, дымок и уголь –
мост пахнет детством.
Почтенные зрители,
вы это зрите ли?
Нечеловеческой давкою
людей и вещей
мечтать еще не отучен,
с горба над Зимней канавкою
слежу плывущие тучи,
как совершенно ничей.

Унтер

О воды, воды вольные,
вы не тесные, не фривольные,
а небо, ты, как друг –
это то, что бывает вдруг.
С мне свойственной улыбкою
стою я здесь под липкою,
неведомый, как мир.
Прилёг ко мне мундир,
дарованный ошибкою,
материею тесной.

Лиза

А я из смутного окна
бываю чуть видна,
и жребий мой нездешний
ты заглушаешь песней
весенней, то есть вешней,
о воин препрелестный.
Не тучен ты, и строен,
мундир твой ладно скроен,
к чему же тучи воин?

Унтер

Не волен я, не волен –
причина из причин.

Лиза

Ты просто небом болен,
как всякий нижний чин.
Ведь ты не небожитель
и не со мной в окне.
Разглаженный твой китель,
внутри он иль вовне?
Как твоё имя-отчество,
о избегатель общества,
приятель облаков?

Унтер

Ах, имя моё тише,
чем сотрясенье крыши
от гула колоколов.

Колокольный звон

Слава, слава,
Зимняя канава,
славка, славка,
Зимняя канавка,
мост гор-бом.

2

Фельд

Сердце нонче отощало,
а ведь это только начало
единогласья.
Виснут с темени волосья,
падая от своей жизни,
так и ты, небосвод, висни, висни
вкруг меня по весне.

Унтер

Как же это быть могло,
что всего казалось мало,
и светло, и светло стекало
вниз оконное стекло!
Умой меня своею влагой,
о дождь, ведь ты большое благо,

быть может, смоешь ты черты
неустраняемой мечты.
Ах, это сердце сочетало
всё то, чего и не бывало.
Дождик, дождик, не переставай,
славный дождик, замени мне рай.
Рай, должно быть, тоже смутный,
набегающий, минутный,
как и этот мир весенний,
полный синих испарений,
в которых всё поисчезало.
Что ж это много или мало?
Исчезло зло иль возросло
и где ж сердечное тепло?
Былое все пошло на слом?
О дождь, участливый немножко,
ты прослезил моё окошко
всеобщей влагой и стеклом.
Завуалировались дали,
они дождя, чтоб смыться, ждали.

Фельд

И – так и далее.
Почти в Италии,
на зеркале лагун,
он размышляет об изъяне:
волей судеб он россиянин,
хотя хотел бы быть драгун.
А песенка – не лгун:
"Пару б имел я крыл,
ими б тебя покрыл
там, вдалеке от рыл".
Да, поступать бы, как угодно
струистой песенке народной,
а размышленье, это – модно,
и, как вода, оно свободно,
но с выводами подожди,
это цветочки, не дожди –
то ль еще будет впереди!
Пока – что тихо: пристань, лодочка,
даже графинчик и селедочка.

Унтер
Нет, вода.

Фельд
Водичка, водочка?

Унтер
Нет, с утра она в движеньи,
в семикратном разложеньи,
златорозовом и синем –

Фельд
Коль стаканчик опрокинем?

Унтер
Нет, невиннее и проще
воинов купанье в роще,
им берёз душистый веник
дан природою без денег,
говорят на ты, на вы
под прыгучим водоскатом
в затенении листвы.
Преломляется крылатый
свет, бросаемый струёй,
из стекла внезапно латы,
злато-злато-синеваты,
образуются водой,
невещественное тело
струйками пророзовело.
Окружились ореолом,
переливчато-весёлым,
и летят легки, легки –

Фельд
Звучно-зычные плевки.
Так, довольные по горло,
плещутся, полощут горло.

Воины
Стремительный бог,
ты лучше жены,

мы в твой поток
погружены,
тобою хлещемся, плещемся,
ты нас вокруг,
прохладный друг.

Фельд
Смотрика-ка, тот уже бесплотен
средь развевающихся полотен,
и хоть приглушенно и тише,
всё же его голос ещё слышен,
слова возможно разобрать,
но не ему –

Кучер
Их понимать.

Унтер
Ах, не то, что в окне,
а хоть в выси
неба виси я,
мне
нет ответа,
кого ни спроси я.
Её не постичь –

Кучер
Начинается дичь!

Унтер
Её не забыть,
неизбывную быть,
в мне она,
полная тусклого света.

Фельд
Вы ошибаетесь,
это
взошла луна.

3

А кучер средь внезапной стужи,
где не то город, не то лужи,
кушак свой заправляет туже
и мчится, несмотря на давку,
калеча Зимнюю канавку.

Кучер
Вправо, вправо,
эй вы, орава,
влево, влево,
ей вы, из хлева!
Горб-гроб, горб-гроб, горб-гроб –
как цокают копыта,
до устали, до сыта!
Смиренно пробегают мимо
прохожий, чья душа томима.

Унтер
Этот воздух, он вчерашний,
и солёный и небрежный,
и ведёт откос прибрежный
не то к дому, не то к башне,
в ней отрада суждена,
никого тогда не надо,
лишь бы был судьбою дан
чаю крепкого стакан
из гранёного стекла.
Пусть бы тихо протекла
вся очередная мгла,
все очередные тучи,
так же, как и этот кучер.

4

Кавалерист
Не жизнь – малина, вечный праздник:
мужчина я, значит, проказник,
мало того – разнообразник.
Страсть колоссальна, вы поверьте,

не верите, так метром смерьте.

Фельд

В закрытом от него конверте
ему в загробный балаган
на случай смерти пропуск дан.
Ах, в парке я сижу мешком,
по чужой томясь весне,
вижу это не во сне:
стан охвачен ремешком,
что ни встреча, то супруга:
ежедневная жена
вроде ужина нужна.
О как он, неженатый, нежен,
как, нежный, вечно неженат,
в чередованьи встреч небрежен
средь Жень, Мань, Тань и даже Нат.

Протоирей

Среди Жень? Добрый день!

Фельд

Ах, какие были Лизы...

Протоиерей

Ризы? Новые, мои?
Ризы новые, шелковые,
узорчатые.

Фельд

Так и я, когда в мундире,
я тогда не в этом мире,
не в себе и не в квартире,
тип теряю я и прыть.

Протоиерей

Чтобы быть или не быть?
Тип теряю, тип теряю!
Пляшущий непроизвольно,
золотой я треугольник
иль на алтаре подсвечник

с пламенем колеблемым, но вечным.

Фельд
О подсвечник богомольный,
к алтарю прямоугольный,
сделай так, чтоб моё тело
никогда бы не болело.

Протоиерей
Неужели тебе тело
До сих пор не надоело?

Фельд
Ах, и то бывает раем,
если хоть не умираем,
но пускай бывало б чаще,
что наиболее блестяще.

Пртоиерей
Аще, аще – ай, ящерица!

Ящерица
Быть разящим и горящим
иль дрожащим
пресмыкающимся в чаще –
жребий жребия не слаще.
К вам страшно-страшно близкая,
ползу совсем не страшная,
общительная, склизкая,
зеленовато-влажная.
Да, сознаюсь, я – ящерица,
и потому мне свойственно
смотреть немного косо,
головку поворачивая,
но вижу дальше носа
и не переиначиваю.
Я косвенно вам родственна,
на солнце, как в тумане,
полёживать и щуриться,
авось мне что причудится –
вот скромное призвание.

Что это вам мерещится?
Я ящерица, ящерица.
вот ближе подползла
без страха и без зла.
Ужели непременно зло
всё, что нашло иль наползло?
А всякий, кто вовнутрь вам вполз?
Я это замечаю вскользь,
ползу неядовитая,
скорее домовитая,
невинна, как животное –
вот вам вся подноготная,
ногтей-то, впрочем, нет,
чтоб продираться в гуще.

Фельд
О груз, меня гнетущий,
чем дальше, тем пуще!
Ужель лишь там, в минувшем,
приветливая кровля,
приют невинных лет?

Протоиерей
Вечная ловля
того, чего нет!

Фельд
Безносых Мельпомен
щербатую поверхность
дала мне жизнь взамен
уверенности, увы.

Протоиерей
Вы?
Вы точно парк старинный
прадедовских времён:
древес, дубов дуплистых
вы древностью украшены,
и вас никто не бросит.

Фельд
Чего-то сердце просит!

Протоиерей
В бренное тело
брашен тление?
Il est почти servi
я кушанием ведаю,
а вы пока нарвите
цветения к обеду.

Фельд
Цветочки да цветочки,
весёленькие точки,
весь мир ещё не мир,
а лишь к нему пунктир,
златовесеннесиний,
кругом там мало линий,
не контуры, а пятна,
это скорей приятно.
Есть ощущенье отдаленья –

Ящерица
Скрывающееся в вещах,

Фельд
Как вечное предубежденье,

Ящерица
Читающееся в очах.

Фельд
Весеннее ли обаянье
срывает вялая рука,
вдруг проступает расстоянье –
цветы далёко. Облака.
Да, да и всё же мир цветений
не то, что гробовые тени,
как и обед ведь лучше булки.
Пока мой кучер проверяет втулки,
вкушаю наслаждения прогулки

средь стриженых, хотя не бритых лип.
Навстречу движется знакомый, вижу, лик,
в него уставлюсь я.

Унтер
Здравия желаю, ваше высоко-
превозносительство!

Фельд
Извольте взять под козырёк.
Над нами тяготеет Рок.
Хотя в почти-потустороннем мире
бывали с вами мы почти знакомы,
но здесь в расцвеченном мундире
себя не чувствуем мы дома.
Стой, миленький, передо мной как статуй
раскрашенный среди зелёных лип,
веселой, пёстрою заплатой
на этом фоне сердце радуй,
мной превращённый в истукан.

Ящерица
О как он ладен,
как он хладен
и статно как окоченел!
Краса – завиднейший удел
цветущих мёртвых тел.

Фельдшерица
И статуя и старикан
невыносимо феодальны.
Н-да, положение печально,
такое всё пора на смарку –
большущий заварю котёл,
мне нужен матерьял на варку.
Кто крикнул кучеру: Пошёл!?

Бездействие второе

1

Всегда и всё давным-давно
отражено, повторено
и потому не убывает.

Фельд
Да, повторения бывают.

Унтер
Окно, окно!
Оно,
закатом быв озарено,
столь обольстительно блистает
и в город городок бросает.

Подмастерье
Закрыта лавка,
я свободен
средь округленных колоннад,
они удобнее сводeн.
Куда сегодня?
Какая давка,
я рад.

Фельдшерица
На моём ли на столе
нет роскошного излишка –
только записная книжка
да обыденный блокнот,
да арабикум мой гумми.
Всеобъемлющих среди забот
вот плоды моих раздумий,
к которым я пришла:
улица, это – ряд лавок,
лавка, это – прилавок,
ряд цен
и ряд булок,
а жизнь, это –

Фельд

Ряд сцен
и ряд прогулок.
Сформулировано ясно,
день провели вы ненапрасно.
Феб небо приодел
тканию червлёной,
отдохновение от дел
теперь вполне законно,
а завтра розовая рань
откроет –

Фельдшерица

Ряд работ.
Тьфу, вечно посреди забот
мне попадает в рот
какая-нибудь дрянь.
Оса, слепень иль овод?
Как занесло их в город?
Нет, ящерица повод,
сбежала, бросив хвост,
моё такое мненье.
А этот Феб – прохвост –
сгущает затемненье.
Но ящерицын сладок вкус,
попить её бы с чаем.
Мой несомненный плюс,
что всё я замечаю,
даже малейшую пыльцу.

Фельд

Что пыль, что пудра – вам к лицу?

Фельдшерица

Ах, размельчённых смертных прах
расплодился, просто страх.
Рассыпан он, столбами пыли
бывает виден на свету,
так что, куда б мы ни заплыли,
он у меня всегда во рту.
Это антигигиенично,

хотя мне лично и привычно.
Чтобы искоренить заразу,
всё надо переделать сразу.

2

Фельд
Всяким предпочту делам
фонарей, витрин, реклам
с сумерками пополам
освещённое смешенье –
есть простор воображенью.

Унтер
Эти тени на панели
облики теней надели
или тени в самом деле?
Тротуарное кипенье,
света и теней смятенье!

Фельд
Чёрный ход или парадный,
но в укромности прохладной
сколько там взбегает лестниц
и темнеющих прелестниц!

Фокстрот
В час вечерней зари,
когда зажигаются фонари,
душ не одна у тебя, а две или три,
какую хочешь, из них бери:
может, выйдет удачной
в этот час прозрачный.

Кофейницы
Ну, давайте ваш стакан,
не пополнел бы только стан
и не обуздал бы кафтан.
Вы воздушны, словно унтер,
в пуде мерить вас иль в фунте?
Ах, кто-то встал на небесах!

Так пьём мы кофий впопыхах,
он порошок, мы тоже прах,
осторожнее, не сдуньте!
Вот миндальное печенье,
как минутно впечатленье!
О приди в мои объятья,
скрытый не заметь приман.
Кофий пролила на платье,
в сердце вечер и туман.
Ток тоски неутолимой –
быть или не быть любимой?
Полумрак здесь полусонный,
кофий томный, тёмный, тонный,
по твоей кудрявой гуще
расскажу о нам присущем.
Ах, собою опьянённый
и луною озарённый,
кто там неба на краю,
то на крыше, то в раю?

Лиза
А я частенько наряжаюсь
в рубашечку венчальную,
пускай напоминает
она мне жизнь печальную,
которая приснилась.
Пока что рядом с лавкою,
над Зимнею канавкою
прославленной чернявкою
я прочно угнездилась.

3

Фельд
И чтоб человек был близок,
потолок пусть будет низок
в помещении мансард.
Обман-сад, обман-сад.
Спатки хотят бедные пятки,
добраться б скорей до родной кроватки,
всех милее её мне общество,

в ней забуду своё имя и отчество.
вот как надо разрешить
вечное быть или не быть.

Ящерица
Быть как-раз и есть не быть,
бытиё-небытиё,
это мнение моё,
ясно это и воочию,
особенно ночью.

Фельд
Помолчи, ты мелешь вздор,
потому что ты животное,
знают все с которых пор,
что такие взгляды – рвотное.

Фельшерица
Не заставите молчать
вы природу и растения,
сапогом не растоптать
выразительности мнения.

Фельд
Сапогом? Я не сапог,
да и вы ещё не Бог.
Зпрочем, не об этом речь,
что-то колет, надо лечь.
Гардинами задёрните окно
и дайте мне гусиные очиненные перья.
О небывалая империя!
В окне неугасимый свет,
нездешний он и очень длинный
и со глазком павлиньим.
Как эти звёзды надо мною,
светили так они и Ною,
хоть древность кажется иною.
Как-будто звёзд простой язык
сюда с лучами их проник,
а что зима и что весна –

звёздам чепуха одна.
Ох уж эти мне прогулки
в распрекрасном Петербурге,
в Петербурге-городке
вдоль по Лете по реке.
Вдоль по Лете, вдоль по Лете…
В эполетах на балете,
у вельможи в аван-ложе
пролепетала империя
иноческий обет.
Верю в это теперь и я.
Всепоглощающий полон
от расточительнейшей скуки.
Прошу подать одеколон,
чтоб освежить виски и руки.
Мягко ли постель постлали?
Прозябает райский крин
средь прошивок и перин.
Безделушки, картпостали
небеса нам ниспослали,
как любителям любвей,
и фарфоровейший рог –
изобилия залог,
изобилия перин
и подушек, горкой сбитых
поверх простынь незабытых.
Верно буду не один
средь видений и картин.
Пятые сутки эти,
гуляю ль, сижу ль, сплю ль,
всё о Лизете, Лизете
сюсюкает июль.
Не так ли тогда в спектакле
всё это было дано –
и волосы из пакли
и из воды вино.
Заранее перед зимою
как будто-бы стёкла мою
и конопачу окно,
и сверху гляжу на город,
в котором засела ночь,

и то, что я ещё молод, –
мне этого не превозмочь.
А в стёклах лунная темень,
и нету на свете Лиз,
а есть только наше время
и всюду какая-то слизь.
Постареть ещё немножко
да чесать за ушком кошке:
ты пригрелася так близко,
киса, кисочка и киска,
Лиза, Лизочка и Лизка.

Ящерица
Склиза, склизочка и слизко,

Фельд
Слёзы, слёзочки и слёзки,
лейся о минувшем плач.

Фельшерица
Скоро явится палач.

Фельд
Жил тогда я не у сов,
невероятнейший красавец,
на крючки своих усов
я подвешивал красавиц
много лет и много зим,
да я был неотразим.

Фельшерица
Это общедоступно
и пагубный уклон.
Действительность разумна,
а он, а он –

Фельд
Как стон?

Фельдшерица
Так будет он казнён!

Фельд
Но мы с вами не в родстве ли?
Что вы так порозовели?
Предков ведомы ль кривые?
Фельды оба мы – и вы и
я, но только, как фельдмаршал,
я поопытней и старше.

Фельдшерица
Нет, любезнейший, шалишь,
ты всего фельдфебель лишь,
не удастся ухитриться,
провести чтоб фельшерицу.

Фельд
Ах, шери́ца, ах, шери́ца
(нет, причём тут ящерица?)
macherie, пора мириться.

Фельшерица
Всё сплошное разложенье,
что ни слово – заблужденье.
Ни к чему умильность взора:
вы, они ли – та же свора,
разрешите вас казнить.

Фельд
Пожалуйста, но разговора
мы совсем теряем нить.
Что за чудная погода!

Фельдшерица
Во саду ли, в огороде?
Нет, при всём чесном народе
я не дам вам говорить,
не трудитесь понапрасну.

Фельд
Ах, всё в этом мире разно
и радужны пути,
их надобно пройти.

Фельшерица
Молчите, это ложно,
всё в сущности несложно,
как счёт лишь до пяти,
к тому же слишком грязно,
огонь, воду и трубы
упоминать напрасно.
Я знаю непреложно:
возможное возможно,
но требуются казни.

Фельд
Судить не будет праздно
неведомых прелестных?

Фельшерица
Что вы защитник страстный,
это общеизвестно.

Фельд
Взгляните, как прекрасно:
мнимость очей унылых,
волос поддельный лён.

Фельдшерица
Пребезобразный тлен,
Расставленная сеть.

Фельд
Немилое вам мило.

Палач
Намыливайся, мыло.
Кому на ней висеть,
на этой на верёвке?

Фельшерица
Божьей коровке.

4

Верхолазы
Смели взлёты крыш и круты,
неодеты, необуты
прыгают по ним минуты,
вырываясь из квартир,
как интимнейший пунктир.
Средь мансард и крыш скитаясь,
в серебре переливаясь,
смотрим вниз, не узнаём:
улица как водоём,
и оттуда полной чашей
лунное мечтанье наше
черпаем и пьём и пьём.

Унтер
Переплёт оконный частый,
ночь и счастье, и несчастье,
одиночество вдвоём.
О как сладостно мяучат
те, что нас с тобою учат.
Прошепчи, ты призрак чей,
прошлогоднего ль обмана?
Крыши скользки от лучей,
улица плывёт в тумане,
то, что чувствуют в груди,
там швыряют на помойку.
Призрак милый, погоди,
помолчи и сядь на койку.

Радио
Міp в себя, міp в себя
попадает обломками,
про себя ведь никто, ах, никто
не знает, как он страдает.
Прощай.

Бездействие третье

1

Звучало радужное пенье,
он брёл в прозрачном упоеньи,
почти без воли и без сил,
луну и днём с собой носил,
ночному голосу внимал,
а тот привычно обольщал
и лапкой гладил по щеке,
как ворс любимых одеял,
мечтающих – не о тебе ль?

Унтер
Ходить, бродить без цели –
печаль моя легка,
светло меня пригрели
златые облака.

Кучер
Тебе не надоели
облака да облака?
Найдёшь себя в постели
чужой наверняка.

Унтер
В катящейся реке,
в стремящемся потоке
побыть приятно дома,
пронзительно влечёт
в небытие истома –
струящаяся дрёма.
Как зелень трав густа
у этого куста!
Здесь лягу и послушаю
собственную душу я.
Ты же, солнце, о друг простой,
не покидай, надо мной постой,
пусть потом, не сейчас разбуженный
за тобою пойду,

Бог, судьбою мне суженый
и в раю и в аду.
А пока это солнце длится,
я хочу с ним побыть в саду,
я с вами беседую, птицы –

Ящерица
Лучами усыплённая
и лишь в лучи и веруя,
ползу, серо-зелёная,
лежу, зелёно-серая.

Унтер
И к тебе я приник, ручей,
Голос ясный, зелёный снится.
Голос, ты чей? Ничей!
Я тоже никто и навеки.
Кто мне мать и отец?
Птицы, пойте, струитесь, реки –
в земле хорошо полежать.

2

В уединённейшей прогулке
и в отдалённом переулке,
когда твои шаги так гулки,
споткнуться хорошо ль о падаль –
через забор ниспавшие плоды?

Кучер
Этого избрать иль эту?
Чью мне запрягать карету?
Ежели дойдёт до сабель,
то кого постигнет гибель?

Заманчивы нездешние сады
с богатым грузом спелых яблок.
Вот облака, над ними яблоко,
но если червь сердечный гложет,
оно на ветке быть не может,
ему дано поспешно зреть

и падать ко ступням прохожих.

Кучер
Эх, фельдфебель, рухлядь-мебель,
надо было сговориться –
фельдшерица, фельдшерица,
где уж от неё укрыться!
Разве что за облака,
эх, дорога далека.

А если суждено наткнуться
на очерк статуи пригожей,
на чей-то труп весьма похожей,
к нему припасть и замереть
и в облаках далёких зреть
ряд появлений пёстрых лиц,
ничем не связанных друг с другом,
закатом разве да испугом
да опереньем райских птиц?

Кучер
Тоже птица – фельдшерица!
Но уж если разъярится –
хвать ударом кулака
в облака да в облака!

. . .

И башни рушатся стремглав
на зарево нездешних слав,
и посреди внезапных стран
один сквозь радужный туман
бредёшь, от мира отрешён,
своей душою поражён.
Но эти взгляды брось косые,
мы не в аду ведь, а в России:
прорастающий лесок,
голубой весенний сок, –
сил пленительный излишек
осязаешь, видишь, слышишь?
Разбежавшиеся дали
испугали и загнали
в ограниченность пространств?

Здесь, от далей заслонён,
посреди руин и башен
пышностию после пашен
русский странник упоён.
В зелень света и теней
входит спутник синих дней
с намерением там остаться
и на счастливой поляне
чуточку попрыгать, как поселяне,
а потом распасться.
Всё же это время наше,
мы успеем, мы пропляшем,
сколько можно, пропоём,
и покажется не страшен
путь, свершаемый вдвоём –
только бы не в водоём.
Солнце, о солнце, совершенный круг,
однообразный, но милый друг,
делай, что можешь – всходи, заходи,
но что, звездочёты, в этой груди?
Где же это свет и тепло впереди
и почему я совершаю вдруг
неочертимый, но тоже круг?
Всюду трава подзаборная, сорная,
на каждом шагу,
но прыгнуть – нет – в неизвестность чёрную,
нет, не могу.

Сады печальные, пустыня юных лет,
не ваши ли причуды воплощали
далёких стран чужие времена,
когда нас плавно, на рессорах, мчало
скопленье чаяний и сна?
И после дали, после шири
вдруг очутиться в этом мире!
Невесел куб, печальна пирамида,
обуздан конус неземного вида,
подстать задумчивым деревьям мерно
подстрижена и всякая печаль,
и бронзой брошено у верного фонтана
в отчаянии изваянье стана.

Так к прошлому печалью ты приближен:
к дворцу – ряд хижин.

3

Унтер
Подобье Лизы,
тот же стан,
но словно кем-то был облизан
отполированный обман.
Какой случайностию тело
в сём мраморе окоченело?
О истукан, о истукан,
твой мрамор неужели дан
в замену роковых оков?
Хотел бы цепию молений
повиснуть в виде завитков
и ниспадать к твоим коленям
по талии твоей простой.

Ящерица
Средь впечатлений
много тлений,
не правда ли, мой золотой?
Природа хороша, но в меру:
всезаглушающие растения,
всепоглощающие звери,
и воздух слишком свежий,
не ручной, не домашний,
даже днём он ночной,
даже утром – вчерашний.
Как природа, я зелёная
и, как жизнь, я серо-серая,
но, тобою увлечённая,
потеряла свою меру я,
стала страшно протяжённая
и предпочитаю серу –
виновата, веру
и запертые двери я –
признак доверия
и безопасности большой

наедине с своей душой.
Раз я предпочитаю,
то, значит, я читаю
тебя перед тобой самим:
мы перед зеркалом стоим.
Я Психея, хея, хея,
кверху вытянута шея.
Ну-ка, парень, за успех,
за высокое паренье!
Что такое воспаренье?
Это – парня состоянье,
быть и действовать, как парень.
Парень никому не парен:
и волк, он и овчарня.
я за парня, да, за парня,
что так сладостно невинен,
словно небом он подсинен,
как бельё или мечты.

Лиза
Я Психея, а не ты!
Он – как воздух.

Ящерица
Вздох утешный!
Этот воздух –

Лиза
в тьме кромешной –

Ящерица
процветает!

Лиза
Чисто внешне!

Ящерица
Обитает –

Лиза
где-то в башне!

Ящерица
Попивает –

Лиза
чай вчерашний

Ящерица
и солёный и небрежный.

Лиза
Он на набережной вешней –

Ящерица
вечерком заводит шашни,
браво, воздух, право, слава!
То-то вниз к нему стекло
всё оконное стекло!

Унтер
Семицветным водоскатом,
чаще же голубоватым.
Облака –

Ящерица
обрывки ваты,
что прикладывают к ранам,
если те кровоточат.

Унтер
Златокудры, розоваты,
увлекают к дальним странам
и пленительно молчат.

Ящерица
Но наряд на них кричащий,
к этой чаще подходящий –
всё уносит в свой поток
многоцветный многобог,
а вдали и верх и низ
в кучу общую слилилсь,
и глаза не различат.

Унтер
Нет, всегда все взоры ввысь,
брысь, исчезни, удались!

Ящерица
Удаются? Удались?
Лишь на крыше
или выше?
Сил пленительный излишек,
голубой весенний сок,
прорастающих подмышек
упоительный лесок!
Почти то же Бог и бок.
О просторы русских книжек,
и как пышен, кто унижен!
Ты в себя ушёл, не слышишь?
Разве ты уже подвешен,
в колокольный звон подмешан,
чтобы к сини быть поближе,
чтоб синеть вблизи от Лизы –
высь, Россия, воздух сиз,
а оттуда под карниз,
вкривь и вниз, один, без Лиз.

Унтер
О вступитеся, Плеяды
ящерица лижет ядом!

Ящерица
Да, окрашено недурно,
тенью самою лазурной,
да, пропитано бессонно
синью самою оконной,
надмогильностию бурной -
суждено со славой пасть.

Унтер
Ты про славу?

Ящерица
Я про пасть.

Унтер
Злая страсть,
о злая пропасть!
Побороть мне не дано,
но зато словно в окно
я смотрю на всё давно.

Ящерица
Но –

Унтер
Прочь! То был лишь души наплыв.
Улетучивающуюся исповедь,
не гневаясь и исподволь
мои щебечут птицы.

4

Лиза
О родина, родина,
дух неистовых лип,
шиповника шип,
травы-травинки,
были-былинки
и пути-тропинки –

Фельдшерица
Для каждой животники.
В скале, вижу, впадина.

Лиза
Гадина, гадина
шмыгает юркая.

Фельдшерица
Кругом окурки,
идёт душок.

Лиза
Уж не из ада ль?

Фельдшерица
Скорее падаль,
но только дугою.

Лиза
Радугою, радугою
кровоподтёк,
вечно, от гадины.

Фельдшерица
Верно отгадаю.
Всё лицо в ссадинах,
очень пестро,
а на шляпе перо.

Лиза
Но не павлинье:
линия синяя

Фельдшерица
Это не всё-равно ль?
Цвет вообще есть ноль.

Лиза
А очертания?

Фельдшерица
Стоят внимания:
юноша дохлый
и запах серы,
раны засохли.

Лиза
Раны без меры!
И моё же подобие
ему надгробие.

Фельдшерица
Претензии тоже!
Ничуть не похоже.

Лиза
Боже, о Боже!
Дальние, предальние,
вечные, как типы,
льются облака
в купол темно-синий
гул журчит осиный
вкруг цветущей липы.
Вниз, ослепителен,
валится света сноп,
всё же он пленителен,
мір, этот пёстрый гроб.
Кем так раскрашенный,
в башне ль вчерашней?
Слышишь ли ты меня
иль ты уж выше дня?
К этим вернись местам,
здесь место есть мечтам,
здесь, а не там.

Зеркало
Я приложено к устам,
но светла моя поверхность.

Колокольный звон
Слава, слава,
Зимняя канава!

Лиза
О звук слов!
Небесная мгла
меня облегла.

Зеркало
Волс кувз о,
алгм,
лыл псад лыб.

Фельдшерица
Наконец то язык не барский,
не бессильно-салонный,

а исконно-русский, русско-татарский,
закалённый и непреклонный.
Широка и глубока
моя матушка-река,
то есть Зимняя канава.

Колокольный звон
Слава, слава!

Лиза
Не мешайте,
слушать дайте.
На загробнейшей постели
пусть покоится, пока,
облака да облака.

5

В седьмом часу не щедры зори,
и спят ещё снежок и льдинки.
Гулять идёт народец хмурый.
Внутри двора забор и дворик,
кругообразная фигура,
её свершаешь неуклюже,
ведь без шнурков твои ботинки,
чтобы на них не мог повеситься.
Висит предутренняя стужа
на незашедшем свете месяца.
И свежий саван даровой
всё обвивает нежным снегом,
снежинок вихорь круговой
сравняться хочет с мыслей бегом:
не стоит рваться в мір иной –
он здесь уже, и без молений
ты промелькнешь, как неземной,
среди твоих минутных тлений.

Унтер
Вздутых жил и верёвок
путаница, и грузовик,

заготовок успех велик.
Перевязанный бечёвкою,
как пакетик,
увы, не из лучшего магазина,
уж готов к отправке на тот я светик,
о этот запах бензина!

6

Лиза
Облака да облака.
О Венеры, Купидоны,
вы над пропастью бездонной.
Неожиданно широк
разверзается поток,
то есть Зимняя канава,
на её ли берегах
лишь одно сплошное ах.
Небосвод высок, унизан
блёстками и в облаках.

Фельдшерица
Вы – сок окуня?
Нет, невод вот, вы окуни за
лёсками и вобла, так?

Лиза
Утоплюсь!

Фельдшерица
Это плюс.

Лиза
Кинусь, кинусь!

Фельдшерица
Это минус.

Лиза
Не боюсь.

Фельдшерица
Это плюс.

Лиза
Ринусь, ринусь!

Фельдшерица
Это минус.
Плюс на плюс
даёт плюс,
плюс на минус
даёт минус.

Бездействие четвёртое

1

Брюхата парусами рея,
дух смертный, мотылёчком рея,
от пыльной Смирны, от Пирея
достигнул вдруг протойерея.
Он жил и был, обедал
и был йерей про то, про то,
про что, и сам не ведал.

Колокольный звон
Лбом, о том.

Фельд
Семейный альбом,
к чаю ром.
Тут и покойница жена,
толпой зеркал окружена,
она в них лезет напролом,
и полненькую розу в грудь
себе старается воткнуть,
и всё небывшее прощает,
но тычется младая роза в нос –
виной стекло, где всё перенеслось.
О незабвенная картина!

Но память у меня что тина,
в ней вязнет имя, имя-отчество.
В канделябрах сальное общество,
подкожный жир ценим
у овец и у свеч,
но чтобы подле лечь,
увлечь плеч блеском сердца стук?
Тук рядом с воином нетучным,
она тогда была не вывезена и жива,
подымаясь сквозь прошивки и кружева
жирной пышностью под потолочную лепку
купидонов, копотью перевитых цепко.

Колокольный звон
Тут и там, там.

Фельд
Кто с голой прелестью провел сегодня ночь,
тот предан тленью, лени и томленью,
тому торжественных речений полномочь
грозит осуществленьем новоселья:
"Я домовина, я грущу собою
наедине с дражайшей половиной,
здесь мною входят в гущу поколений" –
исполнилось уничтожение мгновений.

Колокольный звон.
Там, там.

Фельд
Там уже, должно быть, взошли на паперть.
Чтобы им всем было пусто!
Для обеда стелят скатерть –
вечно кислая капуста.
А толпа развлечена
отсечением, увы,
головы,
как кочана.
Время близится к казни,
в переулке народец разный,
сверху носятся тучи,

а под ними, тоже тучей, мой кучер:
лапа зажимает кнут,
шляпа перьями уткнута
радужно-павлиньими.
Мчит во весь крещёный дух
некрещёных молодух
по улице-мостовой,
а за ним и крик и вой:
"Фельдшерица, фельдшерица
к своему народу мчится!"
Невозможно, быть не может,
что-то ложное их гложет,
нестерпимейший стиль "рюсс",
в неизвестном очутюсь.
Как оно умеет длиться,
то, что неспособно сниться!

Солдаты
Серый день и облака,
как походка нам легка.
День ли в лес, я за ним,
день ли в поле, и я с ним –
разговариваем.

Запевало
Зелье с неба пролилось,
Я заметил цвет волос.

Девка
Как крепка твоя ладонь –
ты как вековой огонь.
Разговариваем.

Унтер
Жребий выпал мне иной,
если б только знал, какой!
Тебя я не знаю, не знаю –

Ящерица
И хлипкая и липкая
бываю здесь под липкою

иль, лапкой став на сваю,
по сторонам зеваю,
иль внятно распеваю,
с мне свойственной улыбкою,
про Бога, про цветок –
пусть вторит голубок.
Правда, смотрит этот Бог
у меня немного вбок,
как оно и многим свойственно,
мы недаром с вами родственны.
Уверяют, что всё двойственно:
то двоится, то троится,
и никак не может слиться.
Ну, и Бог не исключение –
такова уж точка зрения:
Бог, но боковой, окольный,
и с мелодиею вольной,
от него не будет больно –
сизый он, как голубок,
или пёстрый, как цветок.
Мало пресненьких созвучий?
Закачу ещё покруче –
пусть узнает ветерок,
есть иль нет на свете Рок.
Не романс, а вещь под липой,
страсть, спресованная кипой,
вещь в себе или вчерне –
разрешать вопрос не мне,
я ведь только лишь животное,
значит, я вполне невинная
(в пол неневинная),
волочусь я серо-длинная
иль зеленовато-потная.
Впрочем, признаю охотно,
эти липы так велики,
что все лики здесь как типы,
даже я и даже ты,
мы окольные –

Унтер

Мечты? Или дым голубоватый?

Ящерица

Право, я не виновата,
если голубь стал, как вата,
так же скомкан и убог –
пот свой вытер ею Бог,
утомлённый от творенья –
это вам не фунт варенья:
дни и ночи, дни и ночи!
Да, он автор многоточий,
превращающих весь мір
в привлекательный пунктир.
И почище кулака
точки божьих зуботычин,
это лишь для голубка
всюду только облака.
По-иному мір обычен:
широка, ох, широка
многоплывная река,
то есть Зимняя канава,
и налево и направо,
куда хочешь и плыви,
воду мутную лови.

Колокольный звон

Слава, слава, славная канава,
зимняя слава, канавная зима,
славная слава, зима, канава,
канавная слава, канавная канава!

Унтер

Знаю звук твой, дико-дикая,
различаю твои лики я,
разухабисто так ухая,
вторит только тугоухая.
Ах, кого ни спроси я,
что такое –

Колокольный звон

Слава, слава не канава!

Ящерица

Помолчал бы лучше, право!
Вечно ты гремишь некстати.
Этот трепет не забава
ради звуковых объятий,
не трезвон здесь, а трестон,
видишь, как казнится он:
стонет Лизин голубочек
дни и ночи, больше ночи,
и тоскует по былому,
видно, Бог ему был омут,
тонет Лизин голубок,
в нём и в міре одинок,
и кряхтя идёт ко дну,
как ощипанная курица,
ну а Бог, тот только щурится:
видел гибель не одну.
Пролил горький голубочек
лишних слёз немало бочек,
он исходит в жалком плаче,
ну а я совсем иначе:
хоть и с мечтою зыбкою,
но всё же не безумная,
ползу я здесь под липкою,
про пользу, пользу думая,
проползу, проползу,
мечту, мечту
лишь как тёплый тулуп
признаю.
Ютятся в нём по швам,
как платяные вши,
слежавшиеся боги,
и снятся им, не вам –
у вас ведь руки всегда по вшам, –
виновата, неловко
обмолвка не вата, –
ну да я обращаюсь не ко вшам,
не к ковшам, а к вам,
и не жаба я, а ящерица –
у вас ведь руки всегда по швам,
а душа под козырёк –

по-вашему это зовётся Рок?
Да, снятся верно им
дороги иные,
и так они вкусны,
и боги и дороги,
что ты оближешь сны
несбыточной весны.
Сегодня я весёлая,
обегала все сёла я
и города, да, да.
Улыбки и извивы
у липки и у ивы.
Мои не плоски ласки
в плоть
и вплоть до лоска пляски:
полоть, молоть, колоть.
А ну теперь вприсядку,
по-русски, вдрызг,
всмятку
встряску-брызг
с визгом!
Наружу дýшу,
нарушу тýшу,
тушý-душý.
Близко лежу,
Лизку лижу,
рушу в лужу,
дышу, дышу,
дýшу тушý,
тýшу душý
лýжу лужý –

Унтер

Ложь!

Ящерица

Но не сплошь.

2

В этих краях уже не плачут
ни дождиком радости, ни печали –
облака человеческие замолчали,
а ведь любили раньше на панели
отраженьем брызгаться фонарей
среди деревьев, мокрых купальщиц,
чьи пряди, закрывая им лица,
виснут до пояса или даже ниже.
Нет, сравненьем не обижу:
лучше всякого Парижа
город, город мне родной,
создан он мечтой одной,
быть нельзя полней и ближе.
В набегающем тумане
лучшие воспоминанья,
душ минувших очертянья,
может быть, опять увижу?
О нетленное мельканье,
не прощай, а до свиданья,
прежнее очарованье!
Так неочертимой тенью
одному бродить в смятеньи,
но не скользок и не резок
мне асфальта мокрый блеск.
Пляски фонарей по лужам
мы и в сердце обнаружим,
если ж поделиться не с кем,
тем сильней любуясь блеском.
Такой же дождик моросил
чуть-чуть, почти без сил,
когда отчетливо вполне
свою я душу встретил.
Ступая в неземном плаще,
казалось, не была ничьей,
с огромной глубиной очей.
Она слегка кивнула мне
(был день ущербно светел).
–"Осмелюсь ли сопровождать
я барышню прекрасную?"

–"Придётся вам здесь подождать
на набережной ненастной,
я на минутку лишь туда
и мигом ворочусь" –
и тут она рукой в перчатке,
мир словно отвергая шаткий,
мне указала в вышине
на небеса в окне.
В огне?
О нет, закат тогда был тускл,
в молчащей пелене,
и уводил гранитный спуск
безвыходно к воде.
–"Я на минутку лишь туда
и мигом ворочусь" –
Темна минутка, как вода,
огромен миг, как Русь,
с тех пор я в каждый дом стучусь,
до ней не доберусь.

Фокстрот

Помнишь при первой встрече
заметное н о
и вздрогнувшие плечи?
Как это всё давно!
А всё ж освещено
там в вышине окно.

Унтер

Пустынно, пыльно и темно
на этой площади.
Зачем это и для кого
воздвигнут эшафот?
Казните сердце заодно,
я вырву его, вот,
но душу не сумею дать,
её со мною нет,
её внезапный вид
меня же удивит.
Я не имею ничего,
разбит, раздет, разут,

не человек, а труп.

Солдаты
Тра-ля-ляля, тра-ляля.
Елисейские поля!

Унтер
Не знать, не мочь, не сметь…
Мне перехватывает дух
и перерезывает слух
неумолимо-звучных труб
расплавленная медь.

3

Ящерица
Уютен звук у труб,
он мил, он утомил,
труп звука – тишина –
пушиста и нежна.
Н-да, даже трупу любо
побыть внутри тулупа,
внутри сплошной мечты,
где в корчах я и ты.
Подбит тулупчик мехом,
а я, голубчик, смехом,
ну – послужи мне эхом –
всё отдаётся здесь.
Кто отдаётся весь?
Настолько ли ты гибкий
иль только по ошибке
так разлетелся шибко,
что норовишь под липки?

Унтер
Под моё небо!

Ящерица
Но небо небом подменилось
и поочистилось, подмылось,
ведь дождь совсем большое благо

(деляга, флага, влага, фляга),
оно твердит теперь уже об этом,
и только кажется, как будто о том.
Ты слышишь эхо: ртом?
Потеха, право, это эхо!
Иль у стен страх?
Трах, и плен,
прах и тлен,
да, да, да. Еда?
Всеобщий вздох: ах, хлеба мне бы,
достать под небом хлеба где бы,
хватило хлеба чтоб вполне бы.
В пол-неба хлеб – вот аппетитец!
А птиц небесных не боитесь?
Пускай бы небо было им жилищем,
так нет, везде перебивает пищу:
им мало неба, надо хлеба,
а дай им хлеба, надо хлеба,
словом, они совсем как вы,
только почти без головы.
Признаться, птицы мне не любы,
и их налёты и их клювы,
порхает эхо чище птицы
и попусту не суетится.
Вот научиться б ловле мечты
в небесные рты!

Унтер

По ветру мчится золотое слово,
золотое слово т ы !
Ты та –

Ящерица

Рта.

Унтер

Тот –

Ящерица

Рот.

Унтер
Не о том, не о том!
Ящерица
Ртом, ртом
в рты
ты
милость сеешь,
ангел и барич,
ветре-ветрило, к чему, товарищ,
ты веешь?

Унтер
Да как ты смеешь!

Ящерица
Да, смею я молчать,
раз нечего скрывать.
Послушай:
на кухне так уютно,
уютно так на кухне,
и каждый отсвет тухнет
вдоль по кастрюльке смутно,
и там судьбою вечно дан
чаю нечаянный стакан
и в нём утопший таракан.
Как запах пирогов,
готовящихся рядом,
где локти полнотелы,
душа полна богов,
и, чёрненькие, прыг
и лапочками шмыг
и усиками чмык,
как часовое дело,
неясное для взгляда,
и шепчут: полюблю,
улюлю, улюлю.

Унтер
Назад! Мне нечего беречь
нарисованный меч,
водянистые латы,

мнимый шелом
над моим милым челом.

Ящерица

Всуе суёшь
ты меч.
Разве ты меч, меч ты?
Мечты, мечты!
может, я тоже меч,
мечу икру,
эту мою мечту.

Унтер

Не эту, ту мечту, ту!

Ящерица

Рту.

Унтер

О да, я тебя не знаю,
ты это знаешь, Господь.
Во мне без начала и края
душа и зыбкая плоть.
Верёвки вяжут из жил –
я жил или я тужил?
Истоптал я поля босые,
не найду ли живой росы я,
но всё то же, о чём ни спроси я –
мой удел – словеса косые.
Но когда я твержу н е т , н е т ,
выходит почти-что д а,
и брезжит смутный свет
и в этом н е т и в д а .
прощанье ли или свиданье,
дерзанья или терзанья –
ношу я в сердце туман,
плоть льётся моя как мiр –
материя changeant:
то ли синим отливает,
то коричневой бывает,

разложился я, как труп.

Лиза
Получился пёстрый спектр,
разложенье-заблужденье:
люб ли ты или не люб,
то, что для иного труп,
в сущности из медных труб
солнца звонкого рожденье.
О металла пробужденье
у блистательных солдат!

Унтер
Словно ад.

Лиза
Скорее рай.

Унтер
Света край.

Лиза
И светлый сад.

Унтер
Чьё же радужное пенье
я назад к себе зову?
Ослепленье сновиденья!

Лиза
Нету сна, сплошное бденье,
это наше rendez-vous
происходит наяву.

Унтер
Пусть хоть так, не всё равно ли?
Разве в сердце меньше боли?
Всё происходит как-то мимо,
а душа неутомима.

Лиза
Это-то всего ценнее –
ясность глаз твоих синеет.

Унтер
Итак, вся жизнь – лишь ряд видений,
иль лебединых, или синих,
иль в оперениях павлиньих?
Они за мной повсюду гнались,
и смысл – спектральнейший анализ
самомалейших впечатлений?
Он, видно, вправду неминуч,
непостижимый этот луч,
так ослепителен, так ярок –

Фельд
Судьбы сомнительный подарок!

Унтер
Был и тревожен и колюч,
да, был колюч луч, луч колюч был,
луч – лучший ключ
к тому, что мчало
и не молчало, не молчало!

Кучер
Ну, так и знал: опять мочала!

Лиза
Не хочешь ли опять сначала?

Унтер
То есть от сотворения мира
и до введения мундира?
Иль до видения кумира
из солнца и ещё чего-то,
чему ни меры нет, ни счёта.
А преломление лучей?
А этот голос чей был, чей?
Вдруг сердце сладко замолчало,
как-будто очутилось дома,

изнеможение, истома –
всё это смутно предвещало:
печаль и радость, это мало.
Быть радужным и быть простым –

Лиза
Теперь, надеюсь, понял цену?

Унтер
И знать, что сладостный Амур
из пухлых уст бросает пену
на мір, простёртый перед ним?

Лиза
Сей переливчатый намёк
не понял в детстве ты, дружок,
пуская пузыри из мыла?
Их цвет – намёк, но слишком вниз
они чредой тогда неслись
и расплывались без остатка,
тебе тогда бывало сладко?

Унтер
Ужели в этом вся разгадка?
Перебегает резвый зайчик
с окошка на стакан, а вот
край зеркала его берёт
и мне через ничьё пространство
бросает радугу на китель,
как орден неземного братства.
Порхай, нестойкий посетитель,
это не комната, – обитель!

5

Солнце бьёт лучом косым,
насекомых череда,
переливная слюда,
и несётся и мелькает
и неудержимо тает,
сетку меткую творя

неосмысленно и зря.
"О ты, вечерняя заря" –
вверху разучивает кто-то:
там всё забава, не работа,
скользнули скороходы гамм
по розо-облачным снегам,
а здесь, у позлащённых вод,
им подражает хоровод
вполне-бездействующих лиц:
певуча лучшая из Лиз,
воздушен унтер нелюдимый.
В преувеличиннейшем гриме
все, даже кучер-симпатяга.
Буфф или seria – всё благо,
да неспроста бывает дан
и масленичный балаган.
Но где же акт последний, пятый?
Лишь парк кругом, обломки статуй,
а то, что заросли аллеи,
делает парк ещё милее.
Пойдём, пройдёмся, там безлюдно.
Как трудно жить, и всё ж как чудно!
Сквозит приветливая мгла,
в деревьях сок внутри ствола
течёт, не думая о небе.
Он соли горькие земли
до самой кроны подымает,
и горечь в воздухе играет
и просится к тебе в окно.
О как в нём всё отражено!
Оно, закатом быв озарено,
столь обольстительно блистает,
что в город городок бросает,
и невещественный поток
вновь сердце бедное увлёк.
Пронизан город мне родной
мечтой немыслимой одной,
иному, может, неприятной,
но пламенеющей, закатной.
Оно –
что, сердце иль окно?

Не всё ль равно?
Оно светло; светло стекает
и никого не упрекает:
что делать, такова природа,
это существенность, не мода,
если угодно, это Рок.
Да, разыгрался ветерок,
наполнились движеньем травы,
склоняясь влево или вправо,
но ветр бессилен: от земли
неотторжимы их скитанья,
прощанья нет, лишь до свиданья.
И в чаяньи осуществленья
прозрачно и каплеобразно,
словно из ангелов вино,
светло мне падают на дно
ещё не бывшие созданья,
невольно с небом заодно.
Но дождь проходит стороною,
ясное небо надо мною,
оно синеет ненапрасно:
и миновенье, и виденье,
и самый воздух – всё прекрасно,
всё как залог разнообразный,
что будет, будет совпаденье,
нечаянное воплощенье
слов вроде я и ты, и т ы .
Как много стало высоты!
Солнце бьёт лучом косым,
этот от земли отрыв
вечностранникам простым,
внутренне всегда босым,
и не страшен, и не нов,
и не нужен, и не важен,
но зато весьма украшен,
как поток бывалых снов,
заблудившихся средь слов,
смысл которых не погашен.
С л о в и с н о в даёт слонов
появленье среди пашен.
О куда с тобой зашли мы,

в край чужой, на край земли –
всё становится вдали,
даже собственное сердце
или прежняя душа.
Окружились ореолом,
переливчато-весёлым,
и летят, легки, легки
из сердец и душ клубки.

Унтер
И всё далее мчаться
в чистоте простоты,
но к тебе обращаться
мне на вы иль на ты?

Лиза
Неотвратный, неотвратный
я свершаю путь обратный,
чтобы жить среди психей,
не удерживай, друг ратный,
эй, дорогу дай мне, эй!

1933 – 1936

ЕЛИСЕЙСКИЕ РАДОСТИ

Невнятное находит колыханье.
Синеть, сквозить – ни радость, ни страданье.
Когда волнистая меня скрывает мгла,
струясь, мое двоится очертанье.
События, и планы, и дела –
простая тень, которая легла,
вся синяя, на бережку пригожем.
Но сами облака – событие. Приник
прозрачной влажностию этот миг
и отступает, мной отягощенный,
моими душами и запахами кожи,
чтобы дальше течь, сникать, не мочь, не сметь,
и на песочке теплом – замереть.

1933

Как много в мире есть простого
обычным утром в пол-шестого!
Бог, это страшный Бог ночной,
стал как голубь, совсем ручной:
принимает пищу из нашей руки,
будто бывать не бывало былой тоски.
Тикают ходики так умильно,
кушая завтрак свой простой, но обильный.
Для еды, правда, еще рановато –
не везде убралáсь туманная вата,
и трава вся в слезах (твои ли ноги
шли вчера по ней без меня, без дороги?),
и восходит всюду, справа и слева,
то, что всходить должно: солнце и посевы –
и такая свежесть, и так все просто,
будто мы считать умеем всего лишь дó ста.

1947–1955

"О, ангел милый, дорогой,
ты страшных песен сих не пой
и темнотой меня не мучь,
мне этот вечер так тягуч,
и да, и нет – один ответ,
и да, и нет – один конец:
оледенелое окно –
общедоступный леденец.
А был когда-то ранний час,
и были ласковы сугробы,
я шел на рынок, чтоб достать
на три рубля конфеток пять,
о тайнах вечности и гроба
тогда мы рассуждали оба,
мы их изведали в постели
не как-нибудь, а в самом деле,
нет, нет, о, милый, дорогой,
не пой, не пой, не пой, не пой!"
Но ангел вьется, ангел вьется,
под потолком крылами бьется,
и с поколебленной им люстры
срывается граненый сгусток,
с прозрачным звоном упадает,
лежит в тарелке и не тает,
семью цветами отливает.
Как это просто, о-ля-ля,
да будет пухом мне земля,
приятен суп из хрусталя.

Нанюхался я роз российских,
и запахов иных не различаю
и не хочу ни кофею, ни чаю.
Всегдашний сабель блеск и варварство папах,
хоронят ли иль Бога величают
иль в морду мне дают, остервенясь –
скучаю меж соотечественников немусикийских,
но миром тем же мазан и пропах –
кто долго жил среди плакучих роз,
тому весь мир ответ, а не вопрос.

1935

Ты приоткрыл свои уста,
в них оказалась пустота.
Как окаемка золота́
небес! Поспешности фигур.
А между тем уста жуют
былой и небылой уют.
Везде сплошная колыбель,
отсутствие совсем могил.
О милый месяц, неужель,
о неужель ты снова мил!
Плывет святая простота
через места, через уста,
и ряд фигур, тобой волнуем,
рот зажимает поцелуем.

Шорохи в ветвях древесных,
их значенье неизвестно –
мы не верим в бестелесных,
все не может быть иначе.
Набегают, набегают
в зеленеющем движеньи
холодеющие звуки.
Сунул я в карманы руки –
полное пренебреженье
к шорохам, деревьям, звучит?
К этой тайне горько-сладкой?
Я не знаю, кто здесь гадкий,
я иль мир, или мы оба –
все не может быть иначе...
Неужели так до гроба
одиноких дум круженье,
свод небес почти постылый,
если ж Бог, то только с тыла?

1947 – 1955

Благодарение за тихие часы,
за нашей пищи преосуществленье.
Сей миской облекается непрочной
состав заоблачный или кисель молочный.
О жизнь богатая: есть даже молоко.
На цыпочках стоит недалеко
видение двусмысленных полей –
творимый, но не нами, клей,
скрепляющий взаимно лоскутки.
Друг другу мы становимся легки,
уже не мы, а близнецы иные.
Элизиум сочится, дождик лунный,
на лицах блещут капли неземные,
рабочий пот, иль слезы, или слюни –
не разобрать загробнейший удой,
но он становится насущнейшей едой,
и млеком ангельским, и молоком коровьим,
и дружественным сном, и неземным здоровьем.

В тот день, когда меня не станет,
ты утром встанешь и умоешься,
в прозрачной комнате удвоишься
среди пейзажа воздуха и стен:
моей души здесь завалилось зданье,
есть лень и свежесть, нет воспоминанья.

1934

Жать рожь, жать руку. Жну и жму
язык, как жалкую жену –
простоволосая вульгарна
и с каждым шествует попарно,
отвисли до земли сосцы,
их лижут псицы и песцы...
– Воспоминанье о земле,
о том, как там в постель ложатся,
чтоб приблизительно прижаться.

1933

Я живу близ большущей речищи,
где встречается много воды,
много, да, и я мог бы быть чище,
если б я не был я, и не ты.
О играй мне про рай – на гитаре
иль на ангелах или на мне –
понимаешь? ну вот и так дале,
как тот отблеск в далеком окне.

И шейный срез, пахучий и сырой,
от делать нечего он трогает порой,
по слойке круговой закон моей природы
стараясь разгадать, пережитые годы
обводит пальцем он без всякого усилья,
скользит по связкам и по сухожильям,
упорствует в насвистываемом марше:
"О больше тридцати? Так ты меня постарше" –
откинулся, прилег, и лес стоит над ним,
над неказненным, неказистым, никаким.

1934

Что это так, согласен, но
выбор не мал и без запроса –
устойчивое снесено
и предлагает нам земля
заелисейские поля,
туманные, как папироса.
Полный отказ от измерений!
Зато и счастливы же тени,
мои шуты, сержанты, дуры
и им подобные фигуры,
подмигивающие небесам:
"Теперь ты нам подобен сам,
небытие уж стало былью,
все звездною покрылось пылью,
так скидава́й свою мантилью
навстречу ветренным красам."

1936

Я полюбил и раннее вставанье:
чуть обнаруженных вещей
предутреннее очертанье.
Эта испарина полей –
нежнейший межпредметный клей,
почти сквозной, почти что млечный.
Я тоже растекусь, конечно,
смягчающей и смутной дымкой,
прежде чем стану невидимкой.

1947

Будь я из золота, тогда –
и если б был из серебра,
тогда полночная пора
мне б показалась недобра.
Но ты – земля, и я земля
(заелисейские поля),
я на тебе пасусь, пасусь,
тобою от тебя спасусь –
то наслаждение, не старх,
не обращение во прах.
Певучесть длинная в ногах,
из бедер полый небосвод
и впалый, как луна, живот –
чуть только я с тобой возлег,
нет ничего, есть только Бог.

1935

По ветру сердце треплется, как флаг,
и обнажается в небесной синеве,
поодаль и повыше от площадки,
где вечно стукаются шары.
живое многоточие игры.
Так значит есть хозяева в усадьбе,
и есть младой лакей, который утром,
осклабясь весь и на ногу с ноги переминаясь,
напиток аравийский подает.
"–Да как же это, барин..." в нитяных перчатках
дрожит горячего сосуда серебро,
через окошко облака трепещут,
березки парами, кисейные, гуляют
сквозь тень и свет в аллее неземной.
Улегся лев с ягненком, оба – мрамор,
остановилось время, как вода в кадушке
застойная. На стены вызываю
уютный призрак рамочек былых
и гроздья лиц на снимках групповых.
Склевать их сладость мухам недоступно
и, в исступлении, прозрачную преграду
они на память о себе покрыли
лирическим пунктиром извержений.
Так, вместе с временем, застыл и вихрь узорный
метелицы коричневой и черной.

Стоит моя луна высóко,
в пространстве заблуждает око,
в отчизне вздохов я живу,
но есть веселое в весле,
когда с него стекает круг
расплывающихся колец.
Со мной луне не одиноко,
мною волна оживлена,
колеблемая пелена.
Дай, душу я в тебе окуну,
полушай, ну? Луну,
луну я не уберегу
на этом диком берегу.
Здесь угнездился светлый идол,
обломком мрамора сверкая.
Луна ущербная какая!
Такую я еще не видел
иль не предвидел вообще.
Ошибочное изваянье
не в мраморе, а в москвиче,
и не решаясь, изнывая,
луна и в синеве очей.
Да, этот месяц, тощ и худ
в холодочке ранних утр
скромно плетется, неимущий
в расплывающиеся кущи!
Играючи небесный хвост
метет поля сияньем пестрым,
влекут неведомые сестры
на непостигнутый погост,
и пламенем слепимый алым,
покорственно перед стрекалом
влачится подъяремный скот,
но чрез просторы мировые
огромный бог, напрягши выю,
минуя вереницу стад,
бросает неземной канат.
Разве долины это – бездны?
Век золотой, а не железный!

а рядом с оброненной кепкой
опустошенная трава
вся озарилась новым светом,
мечтательным, как человек.
Росой омытые поля
и тополя с их простотою,
они, а не петух, кричат:
рука к руке, нога с ногою!
Идем доро́гой дорого́ю –
какая новая земля,
светящаяся чистотою!
Потоки хлынувшего света,
в него ведет дорога эта,
да, может быть, и все дороги,
а встречные – сплошные боги,
и благозвучен и далек
легкий очерк облаков.
Только стряхни стебелек,
приставший к виску.

1929

Я не просплю
этот июль
его я не потеряю,
и сразу вот
на огород
до чая удираю.
У огурца
большого отца,
приподымаю плети,
и плод двойной
передо мной –
то огурцовы дети.
Для огурца
наши сердца
разверсты хуже могилы.
Так с кожурой
этой жарой
я ем тебя, мой милый.
Земля зелена,

и полна пелена,
что комья сырые греет.
Зверек растет,
как огород:
не знает, зачем он зреет.
Бросаю коту
не всю полноту,
а только хрусткий огрызок.
Он нюх и нюх –
зеленый дух
не то и ему не близок –
такого в рот
кот не берет,
нас отличает это.
Но все ж с ним я
одна семья,
одно зеленое лето.
И хлещет свет,
и смерти нет,
гуляем промежду грядок,
и мне тогда
сплошное "да"
весь этот небесный порядок.

1938

Я не люблю воспоминаний неодетых:
хватает пестрых лоскутков на свете,
но для торжеств, справляемых сейчас
на небесах в прозрачный этот час,
в костюм лазоревый, небесного покроя
невольно облекается былое.
Не для того, чтоб облачною ложью
переиначить золотистость Божью,
но безобразящей не терпят наготы
златовоздушные порывы и мечты,
и молодость небывшая, и ты.

1946

Купола, что грудь, набухли
безысходным молоком,
фонари уже потухли,
не мечтая ни о ком,
он надел ночные туфли,
этот город-городок:
лунный властвует поток.

Высунусь и я в окно:
посребренные луною
шпили облака пронзили
да и душу заодно.

Я не знаю, что с луною –
ей ли, старой, быть иною?
Что это вдали маячит
обращенное спиною?
Не спиною, а спиной,
это ничего не значит,
просто призрак неземной.

1951

Загробный вьется мотылек,
то близок, то почти далек,
с его невзрачного лица
без восклицанья, без исканья
слетает липкая пыльца
на заводи прохладный лак
и на нахально вопиющих
разлегшихся
и не перестающих нукать:
"А ну пригнуть тебе слабб!"

Колени подняты с мольбой:
"О ты, Отец, повсюду сущий,
вы, ангелические кущи,
лечу туда сейчас с обрыва,
мои подошвы видит небо."

1935

Путник замечает ненужное вполне:
лошадиную кость и брошеный сапог,
в ращелине двух ящериц и мох,
и припек более жаркий, чем извне.
Пахнет незатейливостью такой мирок
и пылью, и чтобы сюда спуститься,
совсем маленьким должен сделаться рок,
словно насекомое или птица.
Не отсюда ли вечером возникает мошкара,
когда трубит назойливая детвора:
"пора, пора, пора и тебе смириться".

1933

Центр города, центавры на мосту,
уединенные, как на посту в пустыне.
Но ничего, что ночь сошла с долины
и стынет, длинная, и для меня все те же
прохожие, бестрепетные лани,
ведь я не руки простираю – длани.
Кентавр разнообразием хорош:
лик надоест – косматостью утешит,
как пахнет шерстка сном неодиноким;
и хлебом, и дымящеюся миской,
и хлевом, и божественностью близкой
после зеленой скачки по лугам.

1964

00064771

Озеро на прогалине
вы не встречали, не
замечали в саду?
Ели су-
мрак простерли.
Тлеет костер ли
там иль то фонарик?
Запахом гари
тянет чуть-чуть.
О одинокое озеро
и в охотничьей позе ро-
весник мой... Не хочу,
это не я , а он
по привычке мечтает,
не я, а зеленый склон
в вечере тает.

1950

Как милый потолок смягчает –
какая ночь! – сияние небес.
– Хочешь, еще тебе налью я чаю,
ты с сахаром иль без?
– Не бес я, хватит, отрицаю
(своих небес я не вмещаю).
Какая ночь! Созвездия сухие...
Надпотолочная стихия,
нарядней чая и печальней:
смерть – победительница спальни.
О милый потолок, мерси,
успеем быть на небеси.

1935

Вечер нисходит
прозрачен и юн,
отзвуки вроде
неизведанных струн.
Лениво всплывает
луна, бледна,
все, что не бывает,
сулит она.
Вроде природы
звуки из струн,
неудавшихся струн,
словно на небосводе
множество лун, лун, лун.

1947–1955

"О желтенький собрат, о кенар,
ты над геранию в окне,
и тот же ты в грудях, во мне
поешь, порхаешь тут и тут,
рождаешь востроносый зуд" –
взволнованная восклицает Мавра,
под кофтой ходят груди расписные
размеренно, как маврина икота.
Хозяина ученый сон объемлет,
полдневный сон над иноземной книгой,
там овцы пыльные и люди золотые,
и ходит ходуном пасхальный перезвон.

1938–1941

Колю я на балконе сахар,
воспоминаю Кольку и уста.
Да, сахарны. Колю не Кóлю – сахар.
Такой, как он, едва ли один из ста,
теней и света обреченный пахарь
и провозвестник окрыленных воль.
Гол, как сокол, нисходит месяц в дол
и бражничает там, желанный –
далеко колкий Колька, это странно.

1936

Этот город – раскрашенный переулок
и домишки, что пирогов требуют,
или по крайней мере теплых булок, –
ах, он и всегда-то был на пол-дороге к небу,
хотя локти, ах, локти бывали полнотелы
у хозяйки, розою что у печки рдела.
Так-то, Русь, сядем, с тобой покалякаем
о заутренях вкусных, о парнях – непокойниках,
о парче на покров, теперь поузорчатей –
не по-нынешнему мы когда-то плакали.

1941

Мечтатели уселись, слышат,
как талый снег, сию минуту
замешенный на солнце и вине,
клокочет, булькает у голубей
в коротких горлышках раздутых,
переливаясь через край,
когда про недалекий рай
уверенные голуби воркуют.
Которую весну или какую
творят они? Но солнце голубей
становится, прозрачнее и выше.
Наверное, там хорошо, на крыше.

1933

По тем ступеням, по которым
теперь спускаюсь шагом скорым,
был и подъем по ним ничтожен?
На тех ступенях, на которых
разношуршащий этот ворох
стопою шаткой потревожен?
По тем ступеням, по которым –
ничтожен тоже, ну так что же:
хорош опавших листьев шорох
на тех ступенях, на которых.

1947–1955

В стране советов я живу,
так посоветуйте же мне,
как миновать мне наяву
осуществленное во сне?
Как мне предметы очертить
и знать, что я, а что не я –
плохой путеводитель нить,
бесплотная, как линия.
Действительность скользит из рук,
почти немыслимый предел
мне примерещился и вдруг
вещественностью завладел.
Гоню математичность в дверь,
довольный тем, что окон нет –
невинностью она как зверь
и для меня, и для планет.

1956

За чаепитием воскресным
мне интересны и прелестны
равно и крендель и хозяин.
Одушевленнейших предметов
и речи неодушевленной
благожелательный свидетель,
сижу, простое изваянье,
с наружностию мнимо-грустной,
напиток попиваю вкусный,
и белым голуби пометом
мне плечи твердые марают,
и ветви с ветерком играют.

1933

Для наших русых – русичей иль россов –
среди помойных ям и собственных отбросов
мир оказался тесен, и в ничто
они себя спихнуть старались разом.
Пустые розы на откосе у траншеи,
уже пустой
болтаются, как голова на шее,
и шепотом кивают соловьям,
зиянье ям преображая в песень:
вы, вы вымерли, и мы хотим за вами,
о Боже мой, кто нас сорвет,
кто нас возьмет домой,
в жилище призраков и русых и российских,
убийственных, витийственных и низких?

29–30.IV.1966

Среди тенет неодинокий,
но жизнь так повесть ни о ком –
там нераспутанных клубком
скатались все страницы дней.
тела минувших не-теней,
бреданья юности клубокой,
скитанья в тьме голубоокой.

1964

И неулегшиеся волны
колышат прошлого ковчег,
набитый туго двойниками:
семь пар нечистых, чистых семь –
уединенье! слабый счет
преувеличен зеркалами.
Внутри хозяин – самовар
дает предутреннейший пар,
любимая статуя на диване –
коллекция уюта. Голубок
клюет мои заломленные руки,
оливковая ветвь в окно стучит,
давая знак, что пляшет сельский вид,
и сам ковчег, и все друзья, и други.

В мокром снеге доски прели,
пахло далью и навозом,
под заглавием Беспечность
стала выходить газета,
посвященная вопросам.
О как просто все узнали,
что в сегодняшнем апреле
облака не перестали
размножаться в бесконечность,
чтобы сохранилось это.

1933–1938

ДОВЕСКИ

Наш домик маленький
на краю света.
Домик – маленький
детеныш света,
вопроса и ответа.

От хлопаньев улицы храня покой невинный
безруких полудев, причесанных и чинных,
витринное стекло течет, едва задето
прикосновеньем точек легковейных.
Мельканье это и прохожих лица,
домов окраска, жидкие сугробы –
все в манную преобразилось кашу,
мне сладковаты люди и лошадки,
и, пятилетний, я хочу в кроватку.

Радио-шумная столица
общедоступно веселится,
эфирно простирает ребра
и призывает быть бодрей,
и всем равно стандартный обруч
индустриалит русь кудрей.
Чай в этот час мне что-то кисел –
августа двадцатых чисел

растворились в нем частицы,
ах, почему ты там, в столице.
Но, дорогая голова,
недостижимая, но та же,
ужель тебе не снится даже
ущербный серп и два пирожных,
прибои волн неосторожных,
под нами колкая трава?
И если правда, что сейчас
услужливый радио-чепчик
для развлеченья оковал
лица знакомого овал,
то, злая сталь, качайся легче,
чем лунный и я в тот раз.

1931

Под вечерок, окончив труд,
исполнив честно нужный Pensum
там на лужайке добрый люд
пьет пиво и горланит песни.
Студентов юный, бурный круг –
noch einen Krug – пример народу,
чтоб, шляпу сняв, среди подруг
воспеть и радость и природу
(себя и благость, и натуру,
и прехорошенькую дуру),
а после, возвратясь домой,
в восторгах соблюдая меру,
усесться с свежей головой
за примечания к Гомеру.

1930

Облака вроде пестрой парчи,
пей и не бейся, и криком кричи:
хорошо, что Востока в нас много,
на Востоке всегда больше Бога,
а в сиротстве Европы убогой,
там у дамы всегда узколобой
целованье руки под луною.
Пусть мы скорбны своею судьбою,

о, таилище, о, прельщенье,
к преизбыточному влеченье!

1933

Лежу в объятиях стихов,
качайся утлая кровать,
любимому нельзя сорвать:
да, утром ждет другой мой милый,
мой милый чай, и хлеб, и масло.
Звезда вечерняя погасла,
любвеобильные мечты
из снов и легкой пустоты.

1942

Не в комнате, а в Нем одном
(свет запредельный за окном)
сижу и словно каюсь.

Такой-то час, такой-то день –
в число любое миг одень,
к которому я прикасаюсь.

23.II.1942

"Эриди́се, Эриди́се!"
я фальшивлю, не сердися:
слух остался в преисподней,
мне не по себе сегодня –
всюду в каше люди, груди,
залпы тысячи орудий.
Неужель это не будет,
чтобы мир, не вовсе дикий,
вспомнил об Евридике?

Это не воздух, а настой
из юной зелени,
он крепче чая

00064771

и, истощая, насыщает
метафизической тоской –
так, видно, велено.
Но это разве шестью
строками выразишь?
Чуть трепко пахнущею свежестью
исходит тишь.
Умышленно ее молчание
иль без отчета?
Оно почти как обещание
чего-то.

1952

Приложения

БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЮНОСТЬ

Сцена 1-ая

Канат, дымок и уголь,
мост пахнет детством.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Людей и предметов давкою
еще не замучен,
слежу над Зимнею канавкою
плывущие тучи.
О воды, воды вольные,
вы тесные, фривольные,
а небо, ты, как друг,
это то, что бывает вдруг.
С мне свойственной улыбкою
стою я здесь под липкою,
неведомый, как мир.
Прилег ко мне мундир,
дарованный ошибкою,
в точнейшую обтяжку
материею тесной.

ЛИЗА.

А я, из смутного окна
бываю чуть видна,
и жребий мой нетяжкий
ты заглушаешь песней,
по-твоему нездешней,
весенней, то-есть вешней.
Ты строен и не тучен,
мечтать ты не отучен,
к чему же тучи, воин?
Златые облака
светло тебя пригрели,

найдешь себя в постели
чужой наверняка.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

Слава, слава,
Зимняя канава,
славка, славка,
Зимняя канавка,
мост горбом.

ПРОГУЛКА ПЕРВАЯ.

За морем земля великая,
а у пристани, где лодочка,
дачники, селедка, водочка,
что течет волной безликою
в семикратном разложеньи,
под веселым небосклоном,
синим, красным и зеленым.
Мост горбом внезапных радуг
в воздухе высоком сладок,
но невиннее и проще
воинов купанье в роще.
Говорят на ты, на вы,
под прыгучим водоскатом,
в затенении листвы.
Им берез душистый веник
дан природою без денег.
Преломляется крылатый
свет, плескаемый струей.
Окружились ореолом,
синим, красным и зеленым,
звычно-чистые плевки
и летят, легки, легки.
Так, довольные по горло,
фыркают, полощут горло.
Кто-то должен их рожать,
чтобы нам воображать
брызги с визгом.

СЦЕНА 2-я.

Малые и старые,
вечные, как тины,
льются облака,
зыблются осины ,
гул журчит осиный
вкруг цветущей липы.

ЛЕЙТЕНАНТ.

В скале, вижу, впадина,
идет душок.
Нагадили чада ль
иль нечто другое?
Похоже на падаль,
но только дугою.
О гадина, гадина.

ЯЩЕРИЦА.

Я, лапкой став на сваю,
по сторонам зеваю,
и хлипкая и липкая,
застывшая под липкою.
А ты, ты милость сеешь
заоблачной улыбкою,
мой однокрылый
ангел и барич,
ветре, ветрило,
к чему, товарищ,
ты веешь?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Да как ты смеешь?

ЯЩЕРИЦА.

Да, смею я молчать,
раз нечего скрывать.

На кухне так уютно,
уютно как на кухне,
и всякий отсвет тухнет
вдоль по кастрюльке смутно,
и там судьбою вечно дан
и таракан мне и стакан.
Послушай:
как запах пирогов,
готовящихся рядом,
где локти полнотелы,
душа полна богов,
и, черненькие, прыг,
и лапками тик-тик,
и усиками чмык,
как часовое дело,
неясное для взгляда,
и шупчут: полюби.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Назад. Мне нечего беречь
колчан крылатый,
златые латы,
нарисованный меч.
Ну-ка
стрелу
из лука.

ЯЩЕРИЦА.

Брань и хулу?
Улюлю, улюлю.
Мечта течты,
Всуе ты
суешь меч.
Разве ты меч? Мыч ты?
Может, я тоже меч.
Мечу икру,
мечту, мечту,
мой теплый тулуп,
люблю.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Стрелу
из лука
пущу.
Что это, чу?

ВЕЯНЬЕ ВЕТЕРКА.

По ветру мчится
золотое слово,
золотое слово
ты.

ЯЩЕРИЦА.

Рты, рты.

ПРОГУЛКА ВТОРАЯ.

Этот воздух, он вчерашний,
и соленый и небрежный,
и ведет откос прибрежный
не от печки, а от башки,
в ней отрада суждена,
никого тогда не надо,
лишь бы был судьбою дан
чаю крепкого стакан
из граненого стекла.

Сцена 3-я

ПЛЕЯДЫ.

Ты со мною, я с тобою
мягкою, босой стопою
ходим истово по пляжу,
на песочке после ляжем.

ОРИОН.

Рыхлые везде могилы
нам согреты солнцем милым.

ПЛЕЯДЫ.

Ну, а в городе, там ночь,
и ее не превозмочь.

ОРИОН.

Загораю я на склоне,
шлю приветы и поклоны
в подлежащий Петербург,
связанный из петель пург.

ПЛЕЯДЫ.

Сыплется уже песочек
на песок при каждом шаге
из трухлявых старикашек.

ОРИОН.

До открытья промокашки
в старину так посыпали
лист исписанный бумаги.

ПЛЕЯДЫ.

Измельченных смертных прах
расплодился просто страх.

Сцена 4-я

ЛАБАЗНИК.

Кто-то всходит на чердак,
это так.
Кто-то смотрит на луну,

ну и ну!
Крыш гряда ему видна,
здесь чердак, а здесь луна,
и под нею три окна.

ПСИХЕЯ.

Что за запах, что за небо,
Феба небо, неба Феб,
неба Фебо, феба неб.
Феб, собою опьяненный
и луною озаренный,
ходит неба на краю
то по крыше, то в раю.

ФЕБ.

Сердце нонче
отощало,
а ведь это только начало
единогласья.
что за пенье! Бред во сне
не звонче.
Виснут с темени волосья,
колченого ковыляю,
о, небосвод, умоляю,
так и ты вокруг меня висни, висни
всегда по весне.

ЛИЗА.

То, что чувствует в груди,
он бросает на помойку.
Лучше, призрак, ляг на койку,
не болтай и не блуди.
Из оконного стекла
смотрит ветренная мгла.
Как уверенно мяучат
те, кто нас с тобою учат.
Крыши скользки от лучей,
улица плывет в тумане,

объясни, ты призрак чей,
прошлогоднего ль обмана?
Зябкий дым и зыбкий дом,
одиночество вдвоем,
переплет оконный частый,
ночь, и счастье, и несчастье.

ГОЛОС ИЗ КОМНАТЫ.

Траля-ляля, тра-ляля,
восемь девок, одна я,
е – лисе – эйские поля.

ПРОГУЛКА ТРЕТЬЯ.

Звучало радужное пенье,
он брёл в каком-то упоеньи,
ночному голосу внимал,
а тот привычно обольщал
и часто гладил по щеке,
как ворс любимых покрывал,
мечтающих не о себе ль?
К чему, зачем отчет?
Пронзительно влечет
в небытие истома,
в катящейся реке
побыть приятно дома,
и чтоб человек стал близок,
потолок пусть будет низок
в помещении мансард.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Обман – сад, осман – сад.

Сцена 5-я

ГРАММОФОН.

Мир в себя,
мир в себя

попадает
обломками.
Про себя ведь
никто их,
никто не знает,
как он страдает.
Прощай.

Сцена 6-я

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Бумага есть, она вот, но
гардинами задерните окно
и дайте мне песочницу.
гусиные, очиненные перья.
О ты, российская империя!
В стекле неугасимый свет,
нездешний он и очень длинный
и со глазком павлиньим.

ПЛЕЯДЫ.

Всепоглощающий полон
и расточительные руки.

ОРИОН.

Кругом святые мимолетности.

ПЛЕЯДЫ.

Весьма различной плотности.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Верю в это теперь и я.
о небывшая империя!
прошу подать одеколон,
чтоб освежить виски и руки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОГУЛКИ.

Скатерть, снимки, карт-постали
небеса нам ниспослали
как любителям любвей,
Моськи, ангелы и киски,
хоть уродливы, но близки
и фарфоровейший рог
изобилия залог,
изобилия перин
и подушек, горкой сбитых,
поверх покрывал немытых.
Верно, будешь не один
средь явлений и картин.

Сцена 7-я

ЗЕРКАЛО.

Я прилажено к устам,
но светла моя поверхность.

ЛИЗА.

Уж не дышит,
только слышит.

ТОЛПА.

О Венеры, Купидоны,
вы над пропастью бездонной.

ЛИЗА.

Широка и глубока
моя матушка-река,
то-есть зимняя канава.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

Слава, слава.

ЛИЗА.

Не мешайте,
слушать дайте.
На загробнейшей постели
пусть покоится пока.

Сцена 8-я

КОФЕЙНИЦА.

О наплыв, как мир безмерный,
полумрак и свет неверный,
ток тоски неутолимой,
быть или не быть любимой?

ОКОННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ.

Душа опять тенями неясными
сюда прокрадывается властно.

ДРУГАЯ КОФЕЙНИЦА.

Да, небосвод
себя гнетет
под прессом призрачным.
Да, сердце страждет
и преизбыточного
жаждет.

ДУЭТ, окошко аккомпанирует.

Ну, давайте ваш стакан,
вот миндальное варенье,
как минутно впечатленье,
кофий пролила на платье,
кофий заключить в объятья,
о, услышь мое моленье,
скрытый не заметь обман.

ПОКУПАТЕЛИ КОФЕ.

Так пьем мы кофий впопыхах,
он порошок, мы тоже прах,
не располнел бы только стан
и не обузил бы кафтан.
Мы в полночь ощущаем страх,
а месяц встал на небесах.

Сцена 9-я

Быть может, да,
быть может нет,
в садах, в садах,

ВСТРЕЧНЫЙ.

Плясуньи тут –
живая ртуть,
я таю, таю, таю.

ПОПЕРЕЧНЫЙ.

Тяжелый труд,
ногами сцену так и трут.
До дому я вертаю,
святыней почитаю
огниво лишь да дедов трут.

Сцена 10-я

ЛЕЙТЕНАНТ.

Еще трава густа,
но лист сквозит багряный,
гуляет воздух пряный
порою августа.
Светло меня пригрели
златые облака.
Без плана и без цели
свирель моя легка.

Здесь лягу и послушаю
собственную душу я.

Сцена 11-я

Феб небо приодел
тканию червленной.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Отдохновение от дел
теперь вполне законно.
на утро розовая рань
откроет ряд работ.
тьфу, вечно посреди красот.
мне попадает в рот
какая-нибудь дрянь.
Болезненный укус –
комар, слепень иль овод?
Нет, ящерица повод –
бежала, бросив хвост.
Но смерти сладок вкус,
попить ее бы с чаем.
А этот Феб прохвост
мой несомненный плюс,
что все я замечаю.

ПРОХОЖИЙ.

О крутые взлеты птицы
убывающие зигзаги,
маленькой плоды отваги.
Был ли я иль нет, сейчас не знаю.
Может быть и небо я и птица,
и влечет меня к родному краю –
в безразличность погрузиться.

ЯЩЕРИЦА.

Это то, что только вдруг.
Быть может, жизнь измучила,

а может, просто чучело,
которое твердит об этом,
и только кажется, что будто бы о том.
Ты слышишь эхо: ртом?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Так небо небом подменилось.

ЯЩЕРИЦА.

И поочистилось, подмылось.

ЧУЧЕЛО.

Да, подзаборная, сорная
трава в груди,
но, лейтенант, в неизвестность черную
никого не клади.

ПСИХЕЯ.

Я Психея, хея, хея,
хе-хе-хе, я с бородой.
Заперт мир семью замками,
о преграды, о засовы.
Верными б владеть ключами,
но тогда ужели снова
те же филины и совы
той же самой чередой?

ПРОГУЛКА ЧЕТВЕРТАЯ.

Для жизни новой он почти готов,
но здесь побыть приходится немножко,
среди искусственных садов,
где в воздухе густом запутались дорожки,
а на плодах, прикушенных немножко
следы искусственных зубов.
Здесь глиною обмазаны стволы,
и улеглись на пажитях волы,

и с зеркалом младая обезьяна
повержена у верного фонтана.
Подстать подстриженным деревьям, мерно
подстрижена его печаль.
А сверху старенький амур,
пухлой конечностью хватая облака,
дает понять, что он уж умер.
и смотрит на него через века, века.

Сцена 12-я

ЛИЗА.

В скале, вижу, впадина,
о родина, родина,
дух неистовых лип,
шиповника шип,
яблоков падаль,
облаков даль.
Похоже на падаль,
но только дугою
и очень пестро.
На шляпе перо,
а на лице ссадина,
радугою, радугою
кровоподтек.
Уста засохли,
напрасны меры
юноша дохлый
и запах серы.
Мое подобие –
ему надгробие.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Подобье Лизы,
тот же стан,
но ящерицей облизан
отполированный обман,
и из мертвящих завитков
отвился поясок.

Мое или твое ли тело
в сем мраморе окаменело,
волною благовоний
овеяна под липкою,
с белесою улыбкою
и на зеленом фоне.
Вдали ряд хижин,
а у подножья, словно рубль,
сверкает чей-то юный труп,
приятно неподвижен.
О как он ладен, как он хладен
и статно как окоченел.

ЛИЗА.

Краса – завиднейший удел
цветущих мертвых тел.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Улетучивающуюся исповедь,
не гневаясь и исподволь,
мои щебечут птицы.

Сцена 13-я

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

В лоне вод
вольготно лодкам.
Спуска не дает
молодкам
он, клянуся головой.
Мчит во весь крещеный дух
некрещеных молодух
по исправной мостовой,
им становится щекотно.
Лапа зажимает кнут,
шляпа перьями уткнута,
радужно-павлиньими.

КУЧЕР.

Чью карету?
Фельдмаршала или фельдшерицы?

Сцена 14-я

ВЕЯНЬЕ ВЕТЕРКА.

В уединеннейшей прогулке
в уединенном закоулке,
когда твои шаги так гулки
и грезишь ты о сдобной булке,
споткнуться хорошо о падаль –
через забор ниспавшие плоды.
Заманчивы нездешние сады
с чужим добром богатых яблок.
Вот облака, под ними яблоко,
и если червь сердечный гложет,
оно на ветке быть не может,
ему дано поспешно зреть
и падать ко ступням прохожих.
Такую падаль сладко зреть,
еще отрадней обмануться
и неожиданно наткнуться
на лейтенанта труп пригожий,
на статую весьма похожий,
к нему припасть и умереть,
и в облаках далеких зреть
ряд появлений пестрых лиц,
ничем не связанных друг с другом,
свободой разве да испугом,
да опереньем райских птиц.
Но башни рушатся стремглав
на зарево багряных слав
и посреди минутных стран
недвижен [...] истукан,
на зло воздвигнутый судьбою
всегда меж мною и тобою.
Ты им от ветра заслонен,
своей душою утомлен.

Сцена 15-я

ИСТУКАН.

Природа хороша, но в меру –
всезаглушающие растения,
жесткокрылатые звери
и воздух слишком чистый.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Мне этот воздух свежий
внушал, что новым стану я,
но нет – оковы те же,
и та же тяжесть бытия.

ИСТУКАН.

Растения, звери.
Предпочитаю серу,
предпочитаю тени я
и запертые двери.

ЗЕРКАЛО.

Раз тени я
предпочитаю,
то, значит,
читаю пред
тобою,
тебя же самого.

ЛЕЙТЕНАНТ.

И целый ряд явлений ,
и в том числе себя,
откинув манием руки –

ИСТУКАН.

Ты погасил огонь реки?

ЛЕЙТЕНАНТ.

О нет, гуляю я в огне.

ИСТУКАН.

А Лиза в роковом окне.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

Слава, слава,
Зимняя канава.

Сцена 16-я

ПОДМАСТЕРЬЕ.

Закрыта лавка,
я свободен
средь округленных колоннад.
Они упорнее своден.
Куда сегодня?
Какая давка,
я рад.

Сцена 17-я

Гуляет лейтенант в огне,
а Лиза в роковом окне.
Оно одно еще блистает
и в город городок бросает,
закатом быв озарено.
Всегда и все давным-давно
отражено, повторено.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

Слава, слава,
Зимняя канава.

ЗЕРКАЛО.

Авалс, авалс,
айяньмиз аканак.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

О звук слов!
Небесная мгла
меня облегла,
вижу весы я.
Была Россия
и сплыла.

ЗЕРКАЛО.

Волс кувз о.

ЛИЗА.

В обла-
ках
лейтенант,
он высок, ун-
изан
блесками
и так хорош.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Вобла,
ах,
окунь,
лесками,
ах, ерш.

ЛИЗА.

Утоплюсь.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

это плюс.

ЛИЗА.

Ринусь, ринусь.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Это минус.

ЛИЗА.

Не боюсь.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Это плюс.

ЛИЗА.

Кинусь, кинусь.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Это минус.
Плюс на плюс
дает плюс,
плюс на минус
дает минус.

Сцена 18-я

ЛЕЙТЕНАНТ.

О, да, в преддверьи новом,

колеблемый, как дым,
стоит мой лик багровый.
Нет, было б легче быть седым.

ИСТУКАН.

Тогда-то саван дорогой
мир обовьет ценнейшим снегом,
снежинок вихорь круговой
сравняется с тобою в беге.

ЛЕЙТЕНАНТ.

О истукан, о истукан,
твой мрамор мне природой дан,
взамен судьбы, взамен оков.
Хотел бы цепию молений
тебя обвить, как неземной,
повиснуть в виде завитков
на талии твоей простой
и ниспадать к твоим коленям.

ИСТУКАН.

Средь впечатлений
много тлений,
не правда ли, мой дорогой?

ПРОГУЛКА ПЯТАЯ.

Сады печальные, которых всюду нет,
не ваши ли причуды воплощали,
далеких стран чужие времена?
Нас плавно, на рессорах, мчало
скопленье радости и сна
и, повторенное в непроходимом мире,
вдруг очутилось в рядовом трактире.
Орава свеч дает кругом нагар
и кроет копотью сердечнейший пожар.
При этом пламени задумчивы фигуры.
Все узко: окна, стол, и он, и нос понурый.

Сцена 19-я

ЛЕЙТЕНАНТ.

Есть, знаю, отрочий покров –
то оторочье облаков.
Но смотрит из окошка мгла,
[...] оконного стекла.
Я помню, все оставило
какой-то мне осадок.
О Лизин истукан,
поведай жизни правило,
чтоб вкус ее был сладок,
как поданный стакан.
Еще я помню – таракан
в закатнейших лучах
на чьей-то кухне дох.

ЛИЗА.

Ах, я частенько наряжаюсь
в рубашечку венчальную,
пускай напоминает
она мне жизнь печальную,
которая приснилась.
Пока-то рядом с лавкою,
над зимнею канавкою
я прочно угнездилась
прославленной чернявкою.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Зачем же статуи в саду?

ЛИЗА.

А где ж им быть – в раю, в аду?

ЛЕЙТЕНАНТ.

И вечно льются в облака?

ЛИЗА.

Да, широка и глубока
моя загробная река.
Там на зеленейших брегах
нет невода и нет сетей,
и тщетно блещет чешуя.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Свою поймаю душу я.
Или запретна эта ловля?

ЛИЗА.

Отеческая кровля,
приют несовершенных лет?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Нет, нет,
белесоватый след
перебегает путь.
Его поймаю я.
Послушай.

Сцена 20-я

ЛЕЙТЕНАНТ.

Не сеешь и не пашешь,
платочком только машешь
со свистом улюлю.
Идет по небу крик,
ножом как-будто чик…
Ой, мальчик, мальчик-ежик,
за голенищем ножик,

в небесную дыру
ты тащишь, я умру.
Чего ты ради, для?
Не всюду ли земля,
округлая земля,
зеленая земля?

ПРОГУЛКА ШЕСТАЯ

Стало некуда стремиться,
и запароходный след,
винтовая Гальциона,
жидким гладится пространством.
Свежесть, больше ничего
проплывает, как морщина,
по наследственной душе.

Сцена 21-я

ПЛЕЯДЫ.

Отрок был отцом мужчины,
и изгладились черты
застарелой простоты.

Сцена 22-я

ЛЕЙТЕНАНТ.

Окно, стакан и зеркало,
все трое из стекла.

ЗАЙЧИКИ.

Да, трое, только все дугой
сперва от пункта вверх стремится,
но, неудачливая птица,
полет свершает радугой,
чтоб в пункт урочный опуститься.
Так пункты связаны друг с другом
внезапным радужным испугом,

и семицветье, семицветье
полуокружьем источают,
не думаю, чтобы случайно,
раз их оно объединяет.
Несовершеннейший намек
не понял в детстве ты, дружок,
пуская пузыри из мыла.
Их цвет – пророк, но слишком ввысь
они чредой тогда неслись
и расплывались без остатка.
Тебе бывало мило, сладко.
Но сколь же сладостней амур
из пухлых уст бросает пену
на мир, простертый перед ним.
Быть радужным и быть простым
теперь, надеюсь, понял цену?
Ты к этому теперь готов?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Так вот теория цветов!
Итак, вся жизнь лишь ряд видений,
зеленых, красных или синих,
иль в оперениях павлиньих?
Они за мной в догонку мчались,
и смысл –

ЗАЙЧИКИ.

– спектральнейший анализ
самомалейших впечатлений.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Перебегает быстрый мальчик
с окошка на стакан, а вот
край зеркала его берет.
Порхай, нестойкий посетитель.
Это не комната – обитель!

ПРОГУЛКА СЕДЬМАЯ.

И ветвятся острова,
и по каплям льется вечер,
мимоходом искалечена
придорожная трава
и помяты небеса.
исчезает полоса
лип стесненных и тяжелых,
раздаются голоса
птиц червленных и веселых,
поникает голова,
выпадают волоса.

Сцена 23-я.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

У письменного стола
нет роскошного излишка,
только записная книжка,
да арабикум мой гумми,
да обыденный блокнот.
Государственных среди забот,
вот плоды моих раздумий,
к которым я пришла:
улица, это ряд давок,
рынок, это ряд лавок,
лавка, это прилавок,
ряд цен и ряд булок,
а жизнь – это ряд сцен
и ряд прогулок.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ.

О покой, покой единственный,
ты сковал меня кругом,
незаметный и таинственный.

ЖЕЛАНИЕ.

Обстановочка и дом,

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Текут, текут беспечальные
дни, не радостны, не легки,
близкими стали дальние,
а близкие далеки.
Поседеть еще немножко,
посидеть бы у окошка
и чесать за ухом кошке.
Ты пригрелася так близко
Лиза, Лизочка и Лизка,
киса, кисочка и киска.

КОШКА.

Пятые сутки эти,
сижу ли, гуляю, сплю ль,
все о Лизете, Лизете
лепечет сладкий июль.

ФЕЛЬМАРШАЛ.

Мнимость очей унылых –

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Волос поддельный лен –
раскинутая сеть.

ПАЛАЧ.

Да, мило в ней все, мило,
в хорошенькой веревке.
Намыливайся мыло.
Кому на ней висеть,
на этой на плутовке?

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Божьей коровке.

ПАЛАЧ.

Намыливайся мыло.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

А как она в спектакле
психеею была,
перебирала паклю
у белого стола.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

У моего стола?

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

О нет, она была –

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Ну, это-то общедоступно
и пагубный уклон.
она, она преступна,
а он, о, он влюблен.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Судить нам с вами трупы
не слишком ль будет праздно?

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Огонь, воды, медь и трубы,
все это слишком грязно.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Но надобно пройти.
Все в этом мире сложно,
все в этом мире разно,
и радужны пути.

ФЕЛЬДШЕРИЦА.

Молчите, это ложно.
я знаю непреложно
и требую их казни.

Сцена 24-я

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Мягко мне постель подстлали.
прозябает райский крин
средь подушек и перин.

ТРАМВАЙ.

Благовесту верьте,
идет мудро
сквозь тучи,
искать утро
в смерти
учит.

ФЕЛЬДМАРШАЛ.

Звон, звонок и карт-постали,
тут же вязанная скатерть,
на комоде киски, киски.

СУЩЕСТВО С ТЕМПЕРАМЕНТОМ.

Каски, каски,
полк солдат,
блеск и гром,

к чаю ром.

ФЕЛЬМАРШАЛ.

Бом, бом,
семейный альбом.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН.

Слава, слава,
зимняя канава,
мост горбом.

ФЕЛЬМАРШАЛ.

Уже, должно быть, взошли на паперть.

Сцена 25-я.

КУПАЛЬЩИЦЫ.

Есть ли смысл в слове возмездие?
Разве что-нибудь пропало?

КУПАЛЬЩИКИ.

На пляже
как попало
узорно ляжем,
голые созвездия.

КУПАЛЬЩИЦЫ.

Словно? Славно.

Сцена 26-я.

ЛИЗА У ОКНА.

Косой вечерний луч

в прорыве лишних туч –
поток надежды бесконечной,
там присужденное извечно,
там вековой огонь.
Сегодня воздух зверски чист
однако.

СОЛДАТЫ НА УЛИЦЕ.

Серый день и облака,
как походка нам легка,
Ра-азгова-ариваем.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Зелье сверху пролилось,
я заметил цвет волос,
ра-азгова-ариваем.

Сцена 27-я.

ОН.

Как тепла твоя ладонь.

ОНА.

Ты как вековой огонь.

Сцена 28-я.

ЛИЗА.

Нет, не стану им мешать
оживать и умирать.
пружинная кровать
и на ней младая мать.

ЛЕЙТЕНАНТ.

Да, не стану им мешать,

жребий выпал мне иной,
но какой?
О да, я тебя не знаю,
ты это знаешь, Господь.
Во мне без начала и края
душа и зыбкая плоть.
Забыл я слова простые,
где плоть, где душа забыл.

ЛИЗА.

Добро и зло, как Россия,
и ты воедино слил?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Да, да, да.

ЛИЗА.

И навсегда?

ЛЕЙТЕНАНТ.

Да как когда.
Погляди, на мне мундир
из материи
в сердце я ношу обман,
льется плоть во мне как мир,
то ли синим отливает,
то ли розовой бывает.
Разложился я как труп,
получился пестрый спектр,
все зависит от аспекта,
под каким я стану люб.

ЛИЗА.

Эй, попридержи карман.
Разложенье – заблужденье,
нету сна – сплошное бденье.

Это наше [rendez-vous]
происходит на яву.
Скачет радостно твой лик.
То, что для иного труп,
для меня из ярких труб
солнца медного рожденье,
прыгает звончайший блик,
о металла пробужденье
у воинственных солдат.

СОЛДАТЫ СНОВА.

Серый день и облака,
как походка нам легка,
то ли в лес, я за ним,
то ли в поле – и я с ним
ра-азгова-риваем.

ЛИЗА.

О вступитеся, Плеяды,
ящерица лижет ядом,
всюду светопреставленье,
то-есть света разложенье,
ну, а пресловутый спектр,
это, милый, приведенье.
Своенравно наше зренье,
Ну-ка, парень, за успех,
за высокое паренье.
Что такое воспаренье?
это – парня состоянье,
быть и действовать, как парень.
Парень никому не парен,
он и волк, он и овчарня.
чар нечетных обаянье,
свет высокий, солнца дух,
семикратный, семикратный,
а земля тебе как пух
для перины неотвратной.
Я свершаю путь обратный,
чтобы жить среди психей.

Не удерживай, друг ратный,
эй, дорогу дай мне, эй!

ЛЕЙТЕНАНТ.

Твоим светом разбуженный,
за тобою пойду,
бог, судьбою мне суженый
и в раю и в аду.

ПРОГУЛКА ПОСЛЕДНЯЯ.

Мир воздвигнут и разрушен,
мир разрушен и воздвигнут,
безглагольственные души
не заметят и не пикнут.
Насекомых череда,
переливная слюда,
и несется и мелькает,
сетку мелкую творя
неосмысленно и зря.
Сквозь нее лучем косым
солнце бьет наперерыв.
Этот от земли отрыв
голоштанникам босым
посреди дворцов и башен
и не нужен, и не страшен,
и не важен, и не нов,
но зато весьма украшен,
как поток бывалых снов,
заблудившихся средь слов,
смысл которых не погашен.
Слов и снов – дает слонов
появленье между пашен.
О куда с тобой зашли мы,
в край чужой, на край земли,
все становится вдали.

ХОР ПИЛИГРИМОВ.

Рассыпан я столбами пыли

бываю виден на свету.
Итак, куда б мы не заплыли,
я у тебя всегда во рту.

Сцена последняя.

ВЕЯНЬЕ ВЕТЕРКА.

Я во рту, разноязычный,
в городе или в пустыне,
навеваю по-латыни
ряд местоимений личных,
в том числе второе –

ЯЩЕРИЦА.

Рту, рту.

ВЕЯНЬЕ.

Смысл всему даешь ты узкий,
для тебя не существует
совпадения мечты,
совмещенья я и ты.

ЯЩЕРИЦА.

Разумею я по русски,
этот грозный меч ведь ты,
как эфирное скопленье
всенебесной высоты,
а родимых сов паденье –
результаты впечатленья,
снов и слов и заблужденья
и врожденной пустоты.
Ну, до времени, пока,
до вмещенья я и ты,
когда все не существует.
Только знайте, облака,
я все небо выплакала,
то-то поступь вам легка.

Эй, во все колокола!
Мщенье сов восторжествует,
рты, рты.

--- oooOooo---

1918 и июль 1933

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В "ЕЛИСЕЙСКИЕ РАДОСТИ"

Вот и кончились эти летние услады,
ах, зачем же не вечны вздоры!
Я читал, что увядший листик
загорится золотом в песнопеньи,
так, и наши боренья, паренья,
развлеченья, влеченья, волненья
лишь матерьял для стилистик,
как и вялые на заборе афиши –
найдется потом, кто их опишет,
эти ахи, да охи, вздохи
занимательнейшей, увы, эпохи.

1929

Умею прилечь на ложе из роз,
да и бесхитростны пути,
от сна ко сну я все рос да рос,
чтобы в виденье перейти.
Ну, что же, Морфей, закрой мне глаза,
и, если можешь, навсегда,
я в смерти не смыслю ни аза,
но во сне я знаю толк, о, да.

1930-е гг.(?)

Ольге Николаевне Гильдебрандт

Остановилась умная Анюта
среди лилового пустынного уюта,
а на стене белесоватый след
вещает: "Тетей много, мамы нет".
Ее уста по-взрослому твердят
забытых поздравлений ряд,
но пелериночки висят
благовоспитанно-уныло,
как парусов далеких тлен
над этой местностию милой.

Валерию Сомсу

Давид немножко и Гермес отчасти,
рублевский ангел, византийский лик
не в огненной печи, а в пасти
костюма марсианского возник.

Кровоточат и раны Себастьяна,
но звуки сфер поют в его груди:
святой полет, и юность без изъяна,
и светлое свершенье впереди!

10.VIII.1957

ОТРЫВКИ ИЗ УТРАЧЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Просторный град просторных руин,
простертый перед ним, безмерен.
Задумчиво летит один,
в его огромности затерян.
В подвальном этаже молчит
набор из дерева и струн.
И он здесь жил когда-то юн,
пред тем как обратиться в тип.
. . . .
А эта плоскость так готична,
для нежных чувств она как храм.
Мы время проведем отлично,
пока нас утренней разлукой
не сгонит Феб золоторукий.
. . . .
Тепло ребяческой руки
в его руке не позабыто.
О, много, много было смыто
с тех пор и грима и тоски!

1

... она девичество второе
в себе нежданно застает,

как неземное все земное ...
... и с грацией отреченья,
кладет в сухарницу печенье,
и справедливо и легко
лилейное льет молоко ...
... а деткам под сорок, под тридцать,
они невинны, чтоб сердиться!
Будь умный и расти большой,
и кушай, кушай на здоровье ...
... и чашка, словно грудь, круглится,
набухшая молоком
несостоявшейся любови...
... несостоявшихся подруг –
у каждой завелся супруг.

1935

2

Как яблоками пахнет паста!
Спадает белизна в Амур,
он Яблонов хребет берет
и заполняет чахлый рот,
картины детские плывут,
его не покидая тут:
(ils sont, ils sont pendus au mur).
Свои он вспоминает весны,
и свежестью объяты десны.
Довольно, он решает, баста ...

1932

3

... камни, звери – сплошь Орфеи
. . . .
хорошо, пусть так и будет
. . . .
эти камни, эти весны,
эти люди – сплошь Орфеи ...

4

... еще не ведавшей, что это есть конец,

и что душа сама себя покинет ...

5

... и в позолоченном пространстве
соединенье Аполлона с тетей

. . . .

и утомленное дворянство
глядит на золотую раму ...

6

Товарищи деревья покручивают ус,
союз их многословен, листы и листья – ритмы,
кто боле их пригоден июльской для молитвы?

. . . .

а около трухлявый пенечек – Аполлон ...

7

Как же смеет наглая Филомела
петь про то, чего она знать не смела?
Это наше семейное, а не ее дело.
Разве было когда-нибудь то древо?
Ева, окончив высшие курсы,
признала его измышлением бурсы.

. . . .

8

... вестей ведь столько и
такой рассказ,
что здесь у столика
как раз для нас.

9

... и в этом воздухе застранет
многоглагольных запах зданий,
центавры на мосту в пустыне ...

10

... навсегда с тобой я разделил
в грошовой миске остаток дней ...

11

... небосвод начинает сам себе сниться,
все готово, взойди на него, Денница ...

12

... всё ... вздулось ...
... деревень недужных ...

13

... и хрипы Рюрика
за Юрьевым в скиту ...

14

... в промозглом мае
без добра и песен ...
. . . .
утопленник наядою струится ...

15

... Ихейя – хбхо – охохб –
всадники кличут издалека ...
. . . .
но вместе с всадником ...
конь мне лучше ...

16

... Мечтал ли князь и мелкий и московский
о прикасаньи к [...] океанам ...
. . . .
реален мне и Гедвилас литовский ...

17

... звончей, чем Троицева лавра ...
. . . .
ученый сон – всесладостное иго,
фортуною дарованная льгота,
без времени, без бремени, без счета...
. . . .
там плещется (?) перед ...
. . . .
скитания на осликах под Смирной ...

18

... громада скрипит, поворот страшен ...

19

... с завитками темное ухо ночи ...

20

... отдаленный ... выстрел ...
Бог, мой Бог, – бох, бох – о Боже!

КОММЕНТАРИИ

Настоящее издание включает все известные нам оригинальные произведения А.Н. Егунова, а также отрывки из произведений до нас недошедших. Основная часть текстов, кроме особо оговоренных случаев, печатается впервые по рукописям (или авторизованным машинописным копиям), хранящимся в архиве В.И. Сомсикова (далее сокращенно – *АС*). Важнейшие варианты – печатные, а также содержащиеся в доступных составителям списках – приводятся в примечаниях с указанием источника. В связи с немногочисленностью публикаций из наследия А.Н. Егунова мы сочли необходимым дать максимально полную библиографическую информацию, учитывающую публикации не только в официальной – эмигрантской и отчественной – печати, но и в Самиздате; составители исходили здесь также из принципиального положения о том, что статус издания определяется уровнем публикуемых материалов, а не характером их репродуцирования.

Условные сокращения

Искусство Ленинграда – Андрей Николев, "Стихотворения". Предисловие и публикация Г.А. Морева, *Искусство Ленинграда*, 1990, 6, 76–78.

Континент – Андрей Николев, "Стихотворения". Публикация и предисловие Глеба Морева, *Континент*, 64, 1990, 323–329.

Митин журнал – Андрей Николев, "Стихотворения", Анонимная публикация, приложение к "этюду с комментариями" Василия Кондратьева "Жизнь Андрея Николева", *Митин журнал*, 30, 1989, 156–165. Разъяснения редакции см.: *Митин журнал*, 31, 1990, 308.

ОР ГПБ – автографы стихотворений 1947–1955 г., переданные автором Д.Е. Максимову, Отдел рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ф. 1136 (Д.Е. Максимов). Оп. 1. Ед. хр. 22.

Равноденствие – "Десять стихотворений Андрея Николева". Вступ. заметка и публикация Глеба Морева, *Равноденствие*, 2(3), 1989, без пагинации.

Советская потаенная муза – Андрей Николев, [Стихотворения], *Советская потаенная муза. Из стихов советских поэтов, написанных не для печати.* Под редакцией Б. Филиппова. Мюнхен, 1961, 31–40.

Транспонанс – Андрей Егунов, "Стихотворения" [Публикация и послесловие Татьяны Никольской], *Транспонанс*, 4 (23), 1984, 112–118.

Часть речи – Андрей Николев, [Стихотворения.] Предисловие Геннадия Шмакова, *Часть речи.* Альманах литературы и искусства. Нью-Йорк, 1, 1980, 102–107.

Часы – Андрей Егунов, "Стихотворения", Предисловие Л.Д., *Часы*, 60, 1986, 247–252.

ПО ТУ СТОРОНУ ТУЛЫ

Воспроизводится изд.: Андрей Николев, *По ту сторону Тулы*, Издательство писателей в Ленинграде, [Л., 1931], 204 стр., тираж 3200 экз., обложка худ. М. Кирнарского. Содержащий жанровое определение подзаголовок – "советская пастораль" – вписан рукою автора в один из экземпляров книги (*АС*). По этому же экземпляру ниже приводится список основных опечаток:

страницы	строки	Напечатано	Следует читать
34	11 сверху	копеечки-то	копеечка-то
35	7 снизу	белсе	более
37	3 снизу	"фоксторт"	"фокстрот"
61	7 – 8 сверху	утешиться другим	утешаться другим

70	12 снизу	Иннезилью	Инезилью
76	14, 15 снизу	милому	милóму
94	11 снизу	темно	тёмно
103	6 сверху	обмахиваясь	отмахиваясь
104	7 сверху	- Иван Васильевич	Иван Васильевич
115	12 сверху	монархия	монархиня
116	2 снизу	тв ю	твою
130	2 сверху	ддя	для
130 и	5 снизу	пахнущим мятой и красавицей	пахнущим мятой, с красавицей
132	2 снизу	портах	юртах
133	9 сверху	сердце	сердца
	12 снизу	Сеньер	Сеньёр
150	9 сверху	поцелуй	поцалуй

181	16 снизу	слитого	спитого
185	11 – 12 сверху	шалоша	шалаша
200	11 снизу	– Федор	Федор
	6 снизу	пара	пора
219	5 сверху	в блокноте се сочинено	в блокноте всё сочинено
	10 сверху	– А Федор.	– А, Федор.

Выход романа фактически остался незамеченным критикой. Анализ романа см: *Богдан Косанович*, Затурени или забраньени роман? "С оне стране Туле" Андреја Никольева. – Летопис Матице Српске, 1990, кнь. 445, , св. 6, с. 929–941.

БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЮНОСТЬ

Публикуется по автографу (*АС*). Фрагменты "бездействия третьего" (ч. 3) – *Быть как раз и есть не быть...* до *...особенно ночью* и *Ох уж эти мне прогулки...* до *...Вдоль по Лете по реке* – впервые опубл.: *Митин журнал.* "Бездействие третье" (ч. 5) – *В седьмом часу не щедры зори...* до *...среди твоих минутных тлений*: *Часть речи.* "Бездействие четвертое" (ч. 2). – *В этих краях уже не плачут...* до *...до ней не доберусь: Минит журнал.*

Стр. 224 *...ты заглушаешь песней / весненней, то есть вешней* (в первой редакции: *по-твоему нездешней / весенней, то есть вешней*) – ср. стих. М. Кузмина "О, нездешние..." (1919): *О, нездешние / Вечера! / Злато-вешняя / Зора пора!*

Стр. 226 *...быть может, смоешь ты черты / неустраняемой мечты* (в первой редакции: *и изгладились черты / застарелой простоты*) – ср.

стих. О. Мандельштама "Жизнь упала, как зарница..." (1925): *Так что вспыхнули черты / Неуклюжей красоты.*

Стр. 226 *...хотя хотел бы быть драгун* – ср. стих. А. Пушкина "К портрету Чаадаева" (1820).

Стр. 229 *...Горб-гроб...* – ср. стих. В. Маяковского "Хорошее отношение к лошадям" (1918).

Стр. 229*...лишь бы был судьбою дан / чаю крепкого стакан* (в первой редакции: *и таракан мне и стакан*) – ср. пародирующую "Фантастическую высказку" И. Мятлева (1834) "басню" капитана Лебядкина (Ф. Достоевский, "Бесы", ч. 1, гл. 5, IV) и обращение к этому же тексту в стих. Н. Олейникова "Таракан" (1933).

Стр. 229 *...Не жизнь – малина, вечный праздник: / мужчина я, значит, проказник* – пародийная отсылка к "Евгению Онегину" (гл. 1, XV).

Стр. 230 *...средь Жень, Мань, Тань...* – ср. в ситх. М. Кузмина "Не знаю: блядь ли, сваха ль... (1914): *Мне и Мить, и Вань, и Вась.*

Стр. 235 *...арабикум мой гумми* – гуммиарабик – сорт канцелярского клея.

Стр. 245 *...печаль моя легка* – ср. "печаль моя светла" (А. Пушкин, "На холмах Грузии...", 1829).

Стр. 261 и 263 *...сизый он, как голубок* и *...стонет Лизин голубочек* – ср. стих. И. Дмитриева "Стонет сизый голубочек..." (1792).

Стр. 274 *...О ты, вечерняя заря* – контаминационная цитата из стих. Ф. Тютчева "Последняя любовь" (1851–1854).

ЕЛИСЕЙСКИЕ РАДОСТИ

Публикуется авторизованный машинописный сборник (*АС*); состав и композиция книги определены автором. Все стихотворения, кроме особо оговоренных случаев, публикуются впервые.

Невнятное находит колыханье – Впервые: *Часть речи*, без даты. Ст. 12 – ср. "Беспредметная юность", бездействие 4, ч. 2 (реплика Унтера). Ср. также известную реплику Молчанова (А. Грибоедов, "Горе от ума", действие 3, явл. 3).

Как много в мире есть простого – Автограф (*ОР ГПБ*): ст. 7 – *тикают ходики так умильно.*

О, ангел милый, дорогой – Впервые: *Часть речи*, с пропуском ст. 5 и вариантами ст. 20 (*под потолком*) и 23 (*с прозрачным звоном*).
Ст. 2 – цитата из стих. Ф. Тютчева "О чем ты воешь, ветр ночной?" (1830) – у Тютчева: "О! страшных песен сих не пой..."). В рукописи примечание автора – расшифровка семантической связи: "оледенелое – леденец – конфеты – хрусталь" (*АС*).

Нанюхался я роз российских – Впервые: *Часть речи*, без даты; *Искусство Ленинграда.*

Ты приоткрыл свои уста – Впервые: *Советская потаенная музыка*; *Часы.*

Шорохи в ветвях древесных – Автограф (*ОР ГПБ*): ст. 16 – *одиноких дум крушенье.* Ст. 4 и 14: ср. стих. Г. Иванова "В шуме ветра, в детском плаче..." (1936).

Благодарение за тихие часы – Впервые: *Советская потаенная муза; Часы.*

В тот день, когда меня не станет – Впервые: *Равноденствие; Митин журнал; Континент* (все с датой – 1935).

Жать рожь, жать руку. Жну и жму – Впервые: Wiener Slawistischer Almanach, 1982, Bd. 9, в составе статьи Г.А. Левинтона "Достоевский и "низкие" жанры фольклора- (с указанием "сообщено Т.Л. Никольской").

Я живу близ большущей речищи – Впервые: *Советская потаенная муза*; первые четыре ст. (очевидно, неправильно набранный эпиграф из фольклорных текстов):

> Играй побольше на гитаре,
> А то она испортится,

Что в сердце накидали,
На струны просится.

Большущая речища – Обь, на которой Егунов жил в годы томской ссылки (1933–1936).

И шейный срез, пахучий и сырой – Впервые: *Искусство Ленинграда; Континент.*

Что это не так, согласен, но – Впервые: *Равноденствие; Митин журнал*, без даты; *Континент*; все с пропуском ст. 3 и разночтениями в ст. 4 (*так предлагает*), 7–8 (*Туда, в простор без изменений! / Там эти счастливые тени*) и 11–12 (*твердят бывалым небесам: / Себя достоин будь ты сам*).

Я полюбил и ранее вставанье – Впервые: *Часть речи*, с опущенной в окончательном варианте второй ст.: *отрада страсти моей*; и вариантом ст. 7.: *По миру растекусь...*

По ветру сердце треплется, как флаг – Впервые: *Советская потаенная муза*, с опечаткой в ст. 20: *Оклеивать их сладость. Часы* – то же.

Стоит моя луна высоко – В машинописной копии из архива Г.Г. Шмакова варианты: ст. 3 – *Отчизна вздохов, взмахи рук;* ст. 15 – *луну собою привлекая;* ст. 22 – *купаюсь в синеве очей;* ст. 23–24 – *О, холодочек ранних утр, / Когда месяц, тощ и худ;* ст. 37 – *бросает нам златой канат;* между ст. 37 и 38 – *Расступилась и легла / так покорна, как могла, / разостлала нам земля / верхоплавные облака.* Авторское примечание в рукописи (*АС*) – "Написано в Крыму".

Я не просплю – Впервые: *Советская потаенная муза*, без даты, с вариантами и произвольным делением на строфы. Стр. 4–6 и 31–33 отсутствуют, ст. 18 – *в меня они оба входят*; ст. 27 – *а лишь зеленый объедок*; ст. 30 – *не то, и ему не надо*; ст. 34 – *С котиком я. Часы* – то же.

Я ее люблю воспоминаний неодетых – Впервые: *Часть речи*, без даты.

Купола, что грудь набухли – В автографе (*ОР ГПБ*) стих. заканчивается строками, вошедшими в поэму "Беспердметная юность":

Смелы взлеты крыш и круты до *черпаем и пьем и пьем* (безд. 3, часть 4, монолог верхолазов).

Загробный вьется мотылек – В копии из архива Г.Г. Шмакова варианты: ст. 3 – *с его не важного лица*; ст. 5 – *слетает горькая пыльца*; между ст. 5 и 6 – *на полевой поспелый злак*; ст. 6 – *на заводи смятенный лак*; ст. 7 – *и на купающихся, вопиющих*; ст. 13–14 – *в вас погружаясь / под бытовой и голый вой.*

Путник замечает ненужное вполне – Впервые: *Равноденствие, Митин журнал* (без даты); *Континент.*

Как милый потолок смягчает – В копии из архива Г.Г. Шмакова варианты: между ст. 6 и 7 – *О, да, пожалуйста, мне чаю*; ст. 9 – *покрепче чая и печальней.*

Вечер нисходит – В автографе (*ОР ГПБ*): ст. 8 – *знает она*; ст. 11 отсутствует. В некоторых списках датировано 1951 годом.

О желтенький собрат, о кенар – Впервые: *Советская потаенная муза,* без даты, ст. 2 – *ты под геранию в окне*; ст. 10 – *полдневный сон над греческою книгой. Часы* – то же.

Этот город – раскрашенный переулок – Первоначальный вариант ст. 1 – *Этот Новгород – раскрашенный переулок.*

Мечтатели уселись, слышат – Впервые: *Континент.*

По тем ступеням, по которым – Впервые: *Транспонанс,* без даты; то же – *Часы*; *Искусство Ленинграда,* с датой – 1946. Первоначальный вариант (*Равноденствие*):

По тем ступеням, на которых
сухо-опавших листьев ворох
стопою шаткой потревожен, –
был и подъем по ним ничтожен?
Ужели жалко мы повторим
разношуршащих мнений шорох
на тех ступенях, по которым,
по тем ступеням, на которых?

В стране советов я живу – Впервые: *Часть речи*, без даты.

За чаепитием воскресным – Впервые: *Равноденствие*; *Митин журнал*; *Континент*.

Для наших русых – русичей иль россов – Впервые: *Часть речи*, без даты, с опечаткой в ст. 1: *для наших руссых*; *Равноденствие*, с датой по автографу из архива С.В. Поляковой; *Искусство Ленинграда* – то же.

Среди тенет неодинокий – Впервые: *Транспонанс*, без даты; то же – *Часы*; *Искусство Ленинграда*. Ст. 6 – ср. *Преданья старины глубокой* (А. Пушкин, "Руслан и Людмила", Песнь 1-ая). В рукописи (*АС*) автор привел аллитерационную схему:

тень			
там	тан		сть ни
тал		ска	
тен			сти
тань		ски	

Ср.: "Неологизмы Егунова едва намечены – он заменяет звонкие согласные глухими и получаются "бреданья старины клубокой" – с бредом, клубом и клобуком" (Т. Никольская, Транспонанс, с. 117).

И неулегшиеся волны – Впервые: *Часть речи*; *Равноденствие*, с вариантами ст. 1–2: *По неулегшимся волнам / гарцует прошлого ковчег*; ст. 5 – *всего же сотня! слабый счет*; ст. 13–14 – *и все дружочки и друзья и други / и сам ковчег, и перед нам Давид*. В ранней редакции имелись в виду "ковчег спасенье" (Ноев) и "ковчег завета" (Давидов), соединенные ассоциативной связью. Под влиянием критики своего друга А.И. Доватура, не признавшего права поэта на такую связь, Егунов изменил текст.

В мокром снеге доски прели – Впервые: *Советская потаенная муза*, без даты; то же – *Часы*. В некоторых списках имеет указание на место написания – Сибирь, что позволяет датировать стих. 1933–1938 гг.

От хлопьев улицы – Впервые: *Советская потаенная муза*, объединено со стихотворением: "По ветру сердце...", варианты ст. 1 – *А здесь, от улицы*; ст. 9 – *и, пятилетний, я лежу в кроватке*. *Транспонанс*; *Часы*.

Радио-шумная столица – Ст. 11 – ср. *Молчи, пустая голова*! (А. Пушкин, "Руслан и Людмила", песнь 3-я); ст. 17 – ср. стих. А. Пушкина"Заклинание" (1830; *О, если правда, что в ночи*). *Стандартный обруч, радио-чепчик* – наушники, соединенные полукруглым обручем, заменявшие в 1920–1930-е гг. громкоговорящие динамики в радиоприемниках. *Августа двадцатых чисел* – возможно, намек на гибель Н. Гумилева десятилетием ранее, 24 августа 1921 г.

Облака вроде пестрой парчи – Впервые: *Часть речи*, без даты, ст. 1–2 и 3–4 переставлены, вариант ст. 8 – *Нет, мы скорбны назолой иною.*

Не в комнате, а в Нем одном – Впервые: *Советская потаенная муза*, вариант ст. 1 – *Не в комнате, а в нем одном*; перепечатано в качестве эпиграфа к кн. Б. Филиппова "Миг, к которому я прикасаюсь" (Вашингтон, 1973); *Часы.*

Эридúсе, Эридúсе! – Впервые: *Равноденствие*; *Митин журнал*; *Континент*. Ст. 5–6 – ср. стих. М. Лермонтова "Бородино": *Земля тряслась – как наши груди*; / *Смешались в кучу кони, люди*, / *И залпы тысячи орудий* [...] *Эридúсе, Эридúсе*! – фраза Орфея в опере К.-В.Глюка "Орфей и Эфридика" (1774, франц. редакция). В стих-нии сохранена ритмическая структура арии Орфея (акт 3). *Это не воздух, а настой* – В копии из архива Г.Г. Шмакова вариант ст. 9 – *Чуть терпкой, непонятной свежестью.*

БЕСПРЕДМЕТНАЯ ЮНОСТЬ (редакция 1918–1933 гг.)

Публикуется по машинописному списку – ЦГАЛИ, ф. 232 (М.А. Кузмин), оп. 1, ед. хр. 11, лл. 136–175. "Прогулка четвертая" и "Прогулка последняя" – впервые опубл.: *Континент.*

Стр. 000 *...в подлежащий Петербург*, / *связанный из петель пург* – ср. стих. З. Гиппиус "«Петроград»" (1914): *И в белоперистости вешних пург* [...] / *Прекрасно-страшный Петербург.*

00064771

СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В "ЕЛИСЕЙСКИЕ РАДОСТИ"

Вот и кончились эти летние услады – Впервые: *Равноденствие*; *Митин журнал*; *Континент*. Ст. 3–4 – ср. стих. А. Фета "Поэтам" (1890): *Этот листок, что иссох и свалился / Золотом вечным горит и песнопеньи.* Печ. по автографу (*АС*).

Умею прилечь на ложе из роз – Впервые: *Равноденствие*, без даты, с ошибочным указанием из книги "Елисейские радости"; *Митин журнал* – то же. Стихотворение сохранено и записано по памяти Александром Н. Егуновым, братом А.Н. Егунова (*АС*).

Ольге Николаевне Гильдебранд – Печ. по автографу 1960-х гг. (*АС*). О.Н. Гильдебранд (1897–1980) – художница, жена Ю.И. Юркуна, мемуарист. О ее отношении к А.Н. Егунову подробнее см. в статье о его творчестве (наст. изд., с. 000).

ОТРЫВКИ ИЗ УТРАЧЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Просторный град простых руин – Печ. по автографу в письме Ал. Н. Егунову от 3 сентября 1956 г. (*АС*). Отвечая на просьбу прислать текст поэмы в 4-х песнях "В окрестностях любви", написанной в 1930–1933 гг., Егунов писал: "Из "В окрестн[остях] л[юбви]" ничего не могу припомнить, Разве-что эти вот строки [...]". Ст. 8 – ср. реплику Мечтателя "Извольте, я – тип" и его диалог в Настенькой (Ф. Достоевский, "Белые ночи", ночь вторая).

Двадцать поелдующих отрывкой публикуются по автографу 1960-х гг. – тетради со вписанными автором нумерированными отрывками стихотворений, текст которых он не мог восстановить полностью (*АС*).

С.В. Полякова

А.Н. ЕГУНОВ КАК ПЕРЕВОДЧИК ДРЕВНИХ АВТОРОВ

А.Н. Егунову принадлежит также почетное место в истории передачи на русский язык древних авторов: он первым в начале двадцатых годов осуществил в этой области ставший сейчас обязательным и составляющий отличительную особенность русской переводческой школы принцип исторического подхода к оригиналу, то есть передачу не только смысла текста, чем ограничивались дореволюционные и первые послереволюционные переводы античных поэтов и прозаиков (будучи сам поэтом, А.Н. Егунов переводил как ни странно только древнегреческую прозу), но и своеобразие дикции того или иного автора, а также ввел в культурный обиход русского читателя прежде неизвестные ему произведения, в значительной мере выправлявшие кривизну распространенных представлений о греческой литературе, созданную традиционным отбором переводившихся памятников. За много лет до появления книги "Гомер в русских переводах", где А.Н. Егунов ввел научно-филологический критерий при оценке переводов, определяя степень приближения того или иного переводческого опыта к исторически подлинному автору, он осуществил это требование в своей переводческой практике. Переводы А.Н. Егунова были своеобразной формой познания подлинника, где такие понятия, как стиль, представали в непосредственном художественном воплощении, и перевод оказывался, насколько это вообще достижимо, близнецом оригинала, говорящим на другом языке.

Как переводчика А.Н. Егунова притягивали к себе Платон и позднегреческая повествовательная проза. В "Законах" А.Н. Егунов сумел реабилитировать Платона как художника и показать, что известный по старым дословным переводам косноязычный и неловкий автор не имеет – при точном сохранении смысла каждой фразы – ничего общего с подлинным Платоном, славившимся в древности изящным стилем не менее, чем философскими построениями.

В "Законах" А.Н. Егунов искусно передал дифирамбическую интонацию позднего Платона, воспроизвел его, по определению греческого теоретика стиля Лонгина, "словесный восторг", то есть необузданность метафор, аллегорическую выспренность и своеобразный ритм речи, создававшийся необычным порядком слов.

Этот же подход характеризовал позднейшие переводы из Платона – диалог Федр и "Государство". Обе эти работы знакомят русского чита-

теля с Платоном периода расцвета его творчества, писавшим в более строгой манере, по преимуществу составившей его славу как стилиста. Это осуществленное переводчиком возрождение Платона-писателя было тем более важным, что научная проза в Греции входила в разряд художественной литературы.

Смелым и даже дерзким экспериментом воссоздания стиля оригинала были переводы романов Ахилла Татия и Гелиодора, в каждом из которых А.Н. Егунов переводил по две книги – третью и шестую в романе Ахилла Татия и третью и девятую в "Эфиопике" Гелиодора; он также отредактировал и снабдил этот роман большим предисловием.

Ритмизованная и рифмованная проза этих произведений – греки использовали рифму только в прозе – была отражена в переводе, хотя для русского уха (в этом и состояла дерзость!) подобный стиль ассоциировался, как отмечает А.Н. Егунов в предисловии к первому изданию "Эфиопики", с балаганным раешником, что было проиллюстрировано им примером из Достоевского: "Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Капитан Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг".

Эти работы, появившиеся в середине 20-х и в начале 30-х годов, послужили образцом для всех, кто впоследствии занимался у нас переводами риторически отделанной античной прозы. Подобная попытка создать стилистический эквивалент древней риторической прозы до сих пор нигде не предпринималась, и хотя в других странах переводчику не приходилось опасаться нежелательных стилистических аллюзий, эта группа памятников продолжает до сих пор передаваться методом сглаживания их художественного облика.

Переводы позднегреческой прозы были продолжены А.Н. Егуновым после большого перерыва только в 60-х годах для сборника "Поздняя греческая проза", куда он дал ряд первоклассных переводов из Филостратов, псевдо-Каллифена, Ямвлиха, Марка Аврелия и др. К "Эфиопике" как ее редактор и переводчик он вновь вернулся в 1965 году.

Очень много сделал А.Н. Егунов и как редактор чужих переводов. Он редактировал эпистолографию, Элиана, уже упомянутую "Эфиопику", "Избранные диалоги" Платона и ряд других книг. Работавшие с ним над текстом никогда не забудут ни необычайно тонкой интерпретации им подлинника, ни стилистической безошибочности и вкуса предлагаемых вариантов и исправлений, ни многосторонней эрудиции и особой, присущей А.Н. Егунову дальнозоркости суждений.

Исключительная способность проникать в стилистическую систему переводимого автора и находить способы ее передачи связана, конечно, с

тем, что А.Н. Егунов соединял в себе эрудицию ученого, дарование поэта и прозаика и мастерство переводчика.

Г.А. Морев, В.И. Сомсиков

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЕГУНОВ: ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

"Почти никто не забыт. Почти все вспомнены". В этих словах Анны Ахматовой[1] зафиксированы пафос и направление исследовательсткой работы в России, манифестированные и теоретически обоснованные в начале 1970-х годов[2] и начавшие реализовываться в конце 1960-х, прежде всего, в работе по публикации и комментированию – в самом широком смысле слова – текстов русской культуры (литературы по преимуществу) XX века. Историко-публикационная и исследовательская деятельность, сосредоточившаяся поначалу на творчестве авторов акмеистического круга, а впоследствии охватившая и "периферийные", боковые явления[3], – не в последнюю очередь вдохновлялась соображениями этического характера – стремлением вернуть филологии тот статус, о потере которого с горечью писал Мандельштам в "Четвертой прозе"[4]. Таким "погашением долга" филологии стал ввод в научный и читательский обиход отдельных произведений и даже корпусов текстов, совершенно изменивших представление о литературном процессе 1920-х – 1950-х годов, и, по мере возможности, сообщивших этому представлению необходимую полноту и целостность.

Одним из центральных в ряду "открытий" 1960-х – 1970-х годов стало творчество обэруитов, заставившее говорить о существовании совершенно уникальной петербургско-ленинградской авангардной субкультуры в 1920-е – 1930-е годы. Исследования творчества обэруитов, работа по изданию и комментированию текстов Вагинова, Хармса и Введенского, интерес к их генезису постепенно детализировали представление о культурном контексте обэруитского творчества, об их литературных и человеческих взаимосвязях. Не в последнюю очередь здесь возникло имя М.А. Кузмина[5]. Именно в связи с Кузминым, объединявшим (в частности, в буквальном, жизненно-бытовом значении этого слова) представителей поздней петербургской авангардной культуры, впервые появилось (на страницах мемуарной литературы[6]) имя А н д р е я Н и к о л е в а.

Упоминание о творчестве Николева (ранее, исходя из способа бытования текстов, помещенном в широкий контекст "советской потаенной музы"[7]) в ряду таких явлений как творчество позднего Кузмина, Вагинова и обэриутов позволяет соотнести его к более узким кругом "отреченной" петербургской литературы, рассматривать как часть маргинального ленинградского художественного авангарда конца двадцатых – тридцатых годов.

Наконец, биографические обстоятельства Андрея Николевича Егунова, чьим поэтическим двойником и был Андрей Николев, обстоятельства, которые мы с возможною полнотой старались раскрыть в предлагаемом очерке, заставляют вспомнить еще один – третий – круг явлений, к которому принадлежит творчество Николева: "филологическую поэзию", дань которой отдали многие современники и близкие А.Н. Егунову люди (Д.Е. Максимов, М.С. Альтман, В.А. Мануйлов, В.Г. Адмони и др.). Определение это достаточно формально, но все же сообщает дополнительную полноту характеристике творчества Николева, в частности, ставя его рядом с творчеством Ивана Игнатова (Д.Е. Максимова), значение которого для формирования "«альтернативной» по отношению к господствующим направлениям традиции" было показано В.Н. Топоровым[8].

Принадлежа к обозначенным и последовательно сужающимся контекстам, творчество Николева, впервые собранное под одной обложкой, одновременно вырастает за рамки всех трех, образуя совершенно самостоятельное явление, оценить которое еще предстоит.

1

А.Н. Егунов родился 26 (14 по ст.ст.) сентября 1895 года в городе Ашхабаде[9], где служил его отец, кадровый военный, полковник интендантской службы. Род отца, – Николая Андреевича Егунова (1862–1918), – происходил из Ярославля, из небогатых служилых дворян; семейная память не содержала сведений о владении какими-либо землями, поместьями или другой недвижимостью. До самой революции отец проживал на казенных квартирах, предоставляемых ему военно-морским ведомством. Столь же небогатым был дворянский род его матери – Эрминии Васильевны (урожденной Поповой; 1876–1951). Признаком скромности их средств служит тот факт, что Эрминия Васильевна училась в тифлисском Институте святой Нины на казенный счет (с Кавказом была связана военная служба ее деда, офицера русской службы, и ее отца). С 1903-го года Н.А. Егунов служит в Кронштадте и Петербурге, и здесь мальчик Андрей Егунов поступает учиться (в 1905-м

году) в Тенишевское училище, куда пятью годами ранее поступил О.Э. Мандельштам, и где четырьмя годами позднее стал учиться В.В. Набоков. Допустимо предположить, что все они попадались на глаза друг другу. Одноклассником Егунова был впоследствии известный ленинградский органист И.А. Браудо. Тенишевское училище Егунов закончил в 1913 году[10]. И июле 1913 года он поступил в Петербургский Университет, на классическое отделение Историко-филологического факультета. "Классическое отделение этого факультета [...] переживало в ту пору время своего расцвета и являлось признанным научным центром классической филологии европейского значения. А.Н. Егунов занимался у таких выдающихся ученых, как профессора Ф.Ф. Зелинский, М.И. Ростовцев, А.И. Малеин, Г.Ф. Церетели, С.А. Жебелев. Их лекции и практические занятия, которые он вел под их руководством, позволили А.Н. Егунову стать филологом-классиком, грецистом в первую очередь"[11]. Закончив в январе 1918 года классическое отделение, Егунов в конце года подал прошение о зачислении его на славяно-русское отделение, где проучился с декабря 1918 по ноябрь 1919 года[12]. После окончания университета он был оставлен для приготовления к профессиональному званию и продолжал заниматься у проф. С.А. Жебелева до 1923 года. В 1923 году появилась его первая публикация – перевод "Законов" Платона, вступительная статья и примечания к ним, изданные в "Полном собрании творений" Платона (т. XIII, XIV, Пб., Academia). Тогда же, однако, Егунов вынужден был оставить планы университетской карьеры: разгром высшей школы новой властью в первую очередь коснулся гуманитарного образования, об отношении к которому говорит свидетельство одного из современников: "Вообще, похоже на то, что наука у нас доживает последние дни. Высшая власть разрешает науку лишь постольку, поскольку она приложима к педагогии и технике"[13]. Егунов оставляет университет и в дальнейшем зарабатывает на жизнь преподаванием языков, в основном, немецкого, на Рабфаке Горного института в Ленинграде, в Военно-морском инженерном училище (в здании Адмиралтейства), с 1934-го по 38-й (с перерывом) – в Томском университете (на работу по специальности он вернулся лишь в самом конце 1930-х годов и работал в Ленинградском университете в 1940–41 годах, преподавая греческий язык).

Несмотря на необходимость заниматься педагогической работой, Егунов не оставлял интенсивных занятий классической филологией, приобретших, благодаря условиям времени, подчас "домашний", кружковой характер. В конце 1922 года Егунов и его молодые друзья А.В. Болдырев, А.И. Доватур и А.М. Миханков (позднее к ним присоединился Э.Э. Визель) решили собираться по очереди друг у друга, и заниматься

чтением и переводом древнегреческих авторов, чтобы "приобрести начитанность в древнегреческой литературе"[14]. Так образовалась переводческая группа "АБДЕМ" (аббревиатура состоит из общего инициала их имен и начальных букв фамилий, вхождение Э. Визеля в группу не потребовало изменения аббревиатуры, так как было учтено, что тб, что по-немецки означает "визель" – по латыни звучит "мустелла"). Эта группа собиралась еженедельно в течение восьми лет. Было прочитано, переведено и кратко прокомментировано множество древних авторов. На втором году общения возникла идея (ее инициатором был Егунов) перевести древнегреческий роман. В результате – был переведен и выпущен в свет в 1925 году, в Москве, в издательстве Госиздат ("Всемирная литература") роман "Левкиппа и Клитофонт" Ахилла Татия Александрийского. В 1927 году "эллинисты" по инициативе А. Миханкова познакомились с К. Вагиновым, который одно время принимал участие в занятиях кружка, а с Егуновым "начал заниматься груческим языком, пробовал переводить "Дафниса и Хлою" Лонга и 'Любовные письма' Аристенета"[15]. Знакомство в Вагиновым не было первым "литературным знакомством" для Егунова: раннее вхождение в круг профессиональных переводчиков и филологов сблизило его с литературным миром. В коридорах издательства "Academia" он знакомится с Кузминым, который отмечает встречу с Егуновым – 7 апреля 1924 года – в своем Дневнике[16]. В Дневнике Кузмина находим и первые упоминания о собственном литературном творчестве Егунова: "Приходил [...] утешительный Егунов, оставивший мне совсем хорошие и увлекательные рассказы" (13 января 1926). Рассказы, о которых упоминает Кузмин, не сохранились (возможно, это были "Милетские рассказы", значащиеся в списке утерянных произведений), как не сохранились и ранние стихи Егунова, посланные им в 1920 году А. Блоку и, по позднейшим свидетельствам Андрея Николаевича, одобренные им[17].

Собственное поэтическое творчество А. Егунова началось рано, в "гимназическом " возрасте. Известно, что еще в тенишевские годы он, совместно со своим товарищем по классу Н.Н. Васильевым, сочинил шутливую поэму "Филомела", пародирующую поэзию Сумарокова. Самые ранние из сохранившихся текстов Егунова (летом 1928 года он берет псевдоним Андрей Николев, по позднейшему его признанию, сигнализировавший об интересе к сатирической поэтике XVIII века) датированы 1929 годом.

Это время (1929–1932 гг.) – пик литературной и переводческой деятельности Егунова: написаны первые стихотворения, вошедшие в сборник "Елисейские радости", закончены первая редакция поэмы "Беспредметная юность", несохранившийся роман "Василий остров" и изданный

благоря дружескому участию К. Федина в Издательстве писателей в Ленинграде роман "По ту сторону Тулы" (Л., 1931). Летом 1929 года Егунов гостит в Коктебеле у М. Волошина[18], в Ленинграде тесно общается в Кузминым и Вагиновым. По воспоминаниям подруги Ю.И. Юркуна О.Н. Гильдебрандт-Арбениной "все, что говорил[и] о нем [Егунове. – *Г.М., В.С.*] Кузмин и Юркин было исключительно хорошим, он назывался ими очень редким, симпатичным и умным человеком и прекрасным писателем. С Юрой [Юркуном. – *Г.М., В.С.*] он был на "ты" [...] М.Ал. [Кузмин. – *Г.М., В.С.*] вспоминал Е[гунова] как друга Ал. С.[19] [...] Юра называл Е[гунова] как одного из лучших своих друзей, а К[узмин], которого Е[гунов] очень любил как поэта, с гордостью рассказал мне, передавая эту похвалу, – К. был избалован лестью своих сверстников и не хвастался, а в данном [случае] эта искренняя гордость может быть объяснима только особенной высокой оценкой самого Е[гунова]. Я слов, увы, не помню, но за трогательную дрожь голоса я ручаюсь"[20].

В 1932 году вышел из печати выполненный АБДЕМ'ом еще в середине 1920-х годов перевод (впервые в России – с подлинника) романа Гелиодора "Эфиопика" (М.; Л., Academia). Книга открывалась обширной статьей Егунова "Греческий роман и Гелиодор", им же были подготовлены примечания и осуществлена редактура текста. Это была новаторская работа: впервые в истории переводов древних авторов в России был последовательно осуществлен ставший сейчас обязательным принцип исторического подхода к оригиналу, создан стилистический эквивалент древней риторической прозы (что до тех пор никем не предпринималось), достигнута передача в русском переводе таких стилистических особенностей оригинала, как пародирование в романе древнего автора – современных ему авторов и стилей.

Этому масштабному труду суждено было стать значительнейшей и одновременно трагической вехой научного пути А.Н. Егунова: в последующие 28 лет он не смог опубликовать ни строчки.

В 1933 году Егунов был арестован по делу "об идейно-организационном центре народничества", спровоцированному арестом 2 февраля 1933 года Р.В. Иванова-Разумника. Для ареста самого Егунова оказалось достаточным его присутствия в гостях в доме, в котором находились люди, интересовавшие следствие. По всей видимости, он оказался в числе "десятков (или сотен?) совершенно невинных людей", о вовлечении которых в "дело" вспоминал впоследствии сам Иванов-Разумник[21]. Впрочем, тяжесть "вменяемого" ему была, видимо, относительно небольшая и повлекла за собой лишь трехлетнюю ссылку в Западную Сибирь, в село Подгорное Томской области.

Режим административного надзора за ссылными в 1933–34 годах был сравнительно мягким, и весь 1934 год Егунов жил в Томске, снимая жилье на частной квартире и устроившись преподавать немецкий язык в Томском университете; здесь он, между прочим, виделся с переведенным из Нарымского края ссыльным Н.А. Клюевым. Но в 1935 году, после ужесточения режима ссылки, Егунов провел год в селе Подгорном, не имея возможности заниматься филологической работой. Здесь он в корне переработал свою поэму "Беспредметная юность".

По окончании срока ссылки, которая лишила его права прописки в Ленинграде, Егунов летом ездил в Ленинград, повидал мать и жену, Т.В. Данилову (они поженились в 1930 году), а к августу 1936 года вернулся в Томск, получил место старшего преподавателя кафедры иностранных языков Томского университета и проработал здесь до 1938 года В конце 1938 года он перебирается поближе к Ленинграду, в Новгород, бывший в те годы "средоточием многих бывших заключенных петербужан"[22]. Некоторые подробности новгородского периода жизни Егунова известны из мемуарных свидетельств покойного Б.А. Филиппова, в 1941 году освободившегося из лагеря и жившего в Новгороде. В круг общения Егунова входили ссыльные и прошедшие ссылку ленинградцы: философ С.А. Аскольдов, сестры Т.Н. и Н.Н. Гиппиус, врач и философ И.М. Андреевский[23]. В Новгород к Егунову переехала мать и младший брат Александр (1905–1980), прозаик, публиковавшийся под псевдонимом "Александр Котлин", тоже прошедший через лагеря[24].

В 1940 году Егунов получил часы для преподавания по специальности (латинь и греческий) в Ленинградском университете, и часто приезжал в Ленинград. Некоторые из друзей пытались включить его в работу по изданию научных статей, в подготовку готовящихся коллективных изданий, но постоянное пребывание в Новгороде отнимало у него эту возможность. В 1941 году в работе при Университете было окончательно отказано "из-за отсутствия прописки в Ленинграде".

В Новгороде Егунова застала война и оккупация. В 1942 году он был принудительно вывезен (вместе с матерью и братом) в Германию, в качестве "остарбайтера" и помещен в г. Нейштадте, близ Гамбурга, где работал лаборантом на молокозаводе («Из Новгорода попал в Нейштадт» – каламбурил впоследствии Андрей Николаевич). В 1945 году, после капитуляции Германии, Нейштадт оказался английской зоной оккупации. В городе появились советские офицеры (в погонах, не виданных советскими людьми с 1917 года), содействовавшие репатриации пленных на родину. Егунов с матерью без колебаний переехал в Берлин, в

советскую зону оккупации, где он жил около года, преподавая немецкий язык офицерам советских оккупационных войск. Политика верховной власти в отношении освобожденных пленных в те годы известна, – вместе с множеством людей, разделивших подобную участь, Егунов был осужден на 10 лет заключения в ИТЛ, где и пребывал с весны 1946-го до 1956-го года, – в основном, в Казахстане (но сначала в Сибири, куда он прибыл после длительного тюремного этапа прямо из Берлина).

В апреле 1956 года Егунов был реабилитирован комиссией Верховного Совета, прибывшей в лагерь за несколько дней до истечения его срока (если бы комиссия задержалась хотя бы на неделю, то он покинул бы лагерь, как отбывший свой срок заключения, а это лишило бы его права проживания в Ленинграде). Возвращаться было некуда: "превысив", по его словам, двадцатилетний срок странствий гомеровского Одисея, Егунов пробыл вне родного города 23 года. За время его последнего заключения в Ленинграде умерла его жена. а недалеко от Тернополя (Украина) – мать, Эрминия Васильевна. Кров в Ленинграде предоставила Егунову сестра его соученика (и соавтора!) по Тенишевскому училищу Н.Н. Васильева – А.Н. Гипси, а через четыре года он получил комнату на Васильевской острове.

С осени 1956-го до 1962 года Егунов работал в Пушкинском Доме, в секторе взаимосвязи русской и иностранной литератур, у академика М.П. Алексеева, не раз заявлявшего Андрею Николаевичу, которому так и не пришлось за свою жизнь защитить какую-либо ученую степень: "Мы считаем Вас доктором". Получив, наконец, возможность работать, Егунов занимается, в основном, проблемой рецепции античной культуры в России XVIII–XIX вв., не оставляя, впрочем, переводческого дела[25]. В 1964 году появилась давно подготавливавшаяся им книга "Гомер в русских переводах XVIII–XIX веков" (М.-Л., Наука) – исследование, значение которого для филологической науки трудно переоценить[26].

В это же время Андрей Николаевич, побуждаемый к тому молодыми друзьями, записал все, что сохранила память из ранее написанных стихов (в большинстве своем утраченных вместе с архивом в годы войны). Всего сохранилось: около 50 стихотворений (из примерно ста, написанных за всю жизнь), составивших сборник "Елисейские радости" и поздняя редакция поэмы "Беспредметная юность" (ранний вариант был найден уже после его смерти в архиве М. Кузмина).

В последние годы жизни Андрей Николаевич имел радость общения с друзьями и соратниками своей молодости – А.И. Доватуром, Я.М. Боровским, А.М. Шадриным, с вдовой К. Вагинова – А.И. Вагиновой, с О.Н. Гильдебрандт-Арбениной.

3 октября 1968 года, после скоротечной болезни А.Н. Егунов умер в одной из онкологических больниц Ленинграда и 6 октября, после панихиды в Князь-Владимирском соборе, был похоронен на Северном кладбище в Парголове.

Неизданными остались обширные работы "Гнедич и западно-европейская литература", "Атрибуция и атетеза в классической филологии". Не была закончена и статья о взаимосвязи шубертовского квинтета "Форель" и поэмы Кузмина "Форель разбивает лед".

По рождению и воспитанию А.Н. Егунов принадлежал к последнему поколению петербургских гуманитариев – судьбу этого поколения он в полной мере разделил. Достаточно вспомнить поразительно схожий жизненный путь его ровесника М.М. Бахтина, чтобы понять правоту Г.Г. Шмакова, писавшего об особого рода "тривиальности" этих судеб[27]. Тривиальна в этом смысле и судьба поэтического наследия Егунова – при жизни он увидел свои стихи напечатанными лишь единожды: это была подборка, составленная его новгородским знакомым Б. Филиповым и опубликованная им в сборнике "Советская потаенная муза"; после его смерти они публиковались также лишь благодаря усилиям друзей – в эмиграции и на родине, в Самиздате[28]. Между тем, с обращением в самые последние годы исследователей к "периферийным" явлениям русской поэзии, к младшей, боковой ее линии в XX веке, с постепенным выяснением той роли, которую эти явления сыграли в последующем развитии новейшей русской поэзии, творчесвто Николева, преодолевая обусловленную жестокой эпохой маргинальность, становится в ряд с крупнейшими поэтическими явлениями, которые, по слову того же Кузмина, "не могут не быть современнейшими, иногда заглядывая в будущее"[29].

Примечания

1 См. запись 1964 г., впервые опубликованную Р.Д. Тименчиком: *Родник* (Рига), 5, 1989, 23.

2 См.: Левин Ю.И., Сегал Д.М., Тименчик Р.Д., Топоров В.Н., Цивьян Т.В., "Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма", *Russian Literature*, 7-8, 1974.

3 См., например, Топоров В.Н., "Две главы из истории русской поэзии начала XX века: В. Комаровский и В. Шилейко", *Russian Literature*, VII, 1979.

[4] "Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала – все-терпимость..." – Мандельштам О., *Сочинения*, М., 1990. Т. 2, 94.

[5] Ср.: Cheron G., "Kuzmin and Oberiuty: An oberview", *Wiener Slawistischer Almanach*, 12, 1983.

[6] См.: Петров В. Калиостро. Из "Книги воспоминаний", *Панорама искусств*, Вып. 3 М., 1980. 154. Полностью воспоминания Вс.Н. Петрова опубликованы в 1986 г. Г.Г. Шмаковым (*Новый журнал*, Кн. 163).

[7] См.: *Советская потаенная муза. Из стихов советских поэтов, написанных не для печати*. Под ред. Б. Филиппова. Мюнхен, 1961. На с. 31–40 – единственная прижизненная публикация стихов Николева.

[8] Топоров В.Н., "Стихи Ивана Игнатова. Представление читателю", *Блоковский сборник*, IX. Тарту, 1989, 42.

[9] Сообщение о том, что А.Н. Егунов родился в Риге, содержащееся в некрологе, подписанном М.П. Алексеевым, Ю.Д. Левиным и С.В. Поляковой, неверно (см.: *Русская литература*, 1, 1969, 252).

[10] Аттестат No. 208, выданный А.Н. Егунову 24 мая 1913 года, хранится в его университетском деле: ЦГАОР (Ленинград), ф. 7240, оп. 2, д. 1231; копия: ЦГИА (Ленинград), ф. 176, оп. 3, ед. хр. 14, л. 17–18.

[11] *Русская литература*, 1, 1969, 252.

[12] Свидетельство об окончании Университета см.: ЦГАОР, ф. 7240, оп. 2, д. 1231, л. 17.

[13] Цит. по: Федоров С., "И в частности – о высшей школе", *Память*. Ист. сб. Вып. 5. М., 1981 – Париж, 1982, 422.

[14] Из выступления А.И. Доватура на заседании кафедры классической филологии Ленинградского Университета, посвященном 10-летию со дня смерти А.Н. Егунова, 6 июня 1979 г.

[15] Никольская Т.Л., "К.К. Вагинов (канва биографии и творчества)", *Четвертые тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения*, Рига, 1988, 76. Черты А.Н. Егунова были отражены Вагиновым в герое его последнего романа "Гарпагониана" Локонове.

[16] ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 62, С. 173.

[17] Письмо Егунова Блоку, сохранившееся в архиве адресата с пометой "отвечено", см.: Александр Блок, *Переписка.* Аннотированный каталог. Вып. 2. М., 1979, 224.

[18] Письмо Егунова Волошину от 29 августа 1929 г. с благодарностью за гостеприимство см.: РО ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 533.

[19] Имеется в виду Алексей Алексеевич Степанов (1903–1943?) – искусствовед, с 1925 по 1930 г. помощник хранителя Историко-бытового отдела Русского музея.

[20] Из письма О.Н. Гильдебрандт В.И. Сомсикову от 8 октября 1978 года. В собрании М.С. Лесмана сохранился сборник Кузмина "Нездешние вечера" (Пг., 1921) с дарственной надписью: "Милому Андрюше Егунову, который так дружески и значительно для меня возник посредине (уж не средине, а три четверти) моей жизненной дороги, и, надеюсь, не улетучится из нее. Нежно любящий его М. Кузмин. Июль 1930" (*Книга и рукописи в собрании М.С. Лесмана,* М., 1989, 122).

[21] См.: Иванов-Разумник Р.В., *Тюрьмы и ссылки,* Нью-Йорк, 1953, 136.

[22] Филиппов Б., "Всплывшее в памяти", *Новый журнал,* 171, 1988, 247.

[23] См. подробнее указ. соч. Б. Филиппова, а также его кн.: *Статьи о литературе,* London, 1981, 56–57. Об И.М. Андреевском (1894–1976) см. также: Аскольдов С.А., "Письма к А.А. Золотареву", Вступ. заметка и примечания А.А. Сергеева. Подг. текста А.И. Добкина, *Минувшее. Ист. альманах,* Вып. 9, Paris, 1990, 354, 365–366. Андреевского Егунов мог знать и раньше: в 1923–1928 годах вокруг Андреевского сложился религиозно-философский кружок, получивший название "Космической академии наук" и разгромленный властями весной 1928 года. В кружок Андреевского входил, между прочим, один из АБДЕМ'итов – А.М. Миханков, страдавший психическим расстройством и написавший (под давлением следствия) фантастический трактат "Что бы я сделал, если бы от меня зависела судьба России", "в котором изложил проект государственного устройства монархического характера и раздал всем своим знакомым "правительственные посты" (в частности, недолгому заключению подвергся профессор-эллинист И.И. Толстой, предложенный Миханковым на должность церемониймейстера Двора Его Имп. Величества")" (цит. по комментариям С. Еленина и Ю. Овчинникова в "Воспоминаниям" Н.П. Анциферова, *Память. Ист. сборник,* Вып. 4., 1979 – Париж, 1981, 129; ср. также: Копржива–Лурье Б.Я., *История одной жизни,* Paris, 1987, 136).

[24] Биографический очерк Ал. Н. Егунова см.: ЦГАЛИ, ф. 1348, оп. 7, ед. хр. 23, л. 28–29.

[25] Биографию трудов А.Н. Егунова см.: *Русская литература*, 1. 1969, 254–155. Подробнее о переводческой работе Егунова см. в статье С.В. Поляковой.

[26] См. рецензии С.П. Маркиша (*Вопросы литературы*, 8, 1964) и С.В. Поляковой (*Вестник древней истории*, 3, 1965).

[27] См. Предисловие к публикации стихотворений Андрея Николева, *Часть речи. Альманах литературы и искусства*, 1, Нью-Йорк, 1980, 102.

[28] Список публикаций см. в комментариях к наст. изд.

[29] Кузмин М., *Условности. Статьи об искусстве*, Пг., 1923, 162.

00064771

